

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1974

СОДЕРЖАНИЕ

К 250-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ф. П. Филин (Москва). Об истоках русского литературного языка	3
Ф. М. Березин (Москва). Русское теоретическое языковедение в Академии наук	14
В. И. Кодухов (Ленинград). Развитие лингвистической теории в Академии наук СССР	27
А. Н. Кононов (Ленинград). Тюркское языковедение в Академии наук	38
С. П. Мордовина, Г. Я. Романова (Москва). Об источниках словаря русского языка XI—XVII вв.	52

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. Лопатин, И. С. Улуханов (Москва). Несколько спорных вопросов русского словообразовательной морфологии	57
И. А. Перельмутер (Ленинград). Об оппозиции «переходность — непеходность» в системе индоевропейского глагола	70

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. Х. Ибрагимов (Махачкала). О многоформантности множественного числа имен существительных в восточнокавказских языках	82
И. Г. Меликишвили (Тбилиси). К изучению иерархических отношений единиц фонологического уровня	94
П. Гард (Экс). К истории восточнославянских гласных среднего подъема	106

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Н. С. Гринбаум (Кишинев). Древнегреческая диалектология и проблема «микенского»	116
В. И. Фурашов (Владимир). Проблема второстепенных членов предложения и синтаксическая парадигматика	124

Рецензии

В. В. Акуленко (Харьков). «Проблемы двуязычия и многоязычия»	133
А. Ю. Сабалаяускас (Вильнюс). <i>Chr. S. Stang. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen</i>	138
Э. М. Медникова (Москва). <i>М. М. Маковский. Теория лексической аттракции</i>	140
Н. А. Слюсарева (Москва). <i>E. F. Koerner. Bibliographia Saussureana 1870—1970; e g o ж e , Contribution au débat post-saussurien sur le signe linguistique</i>	145
И. М. Стеблин-Каменский (Ленинград). <i>А. Л. Грюнберг. Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык</i>	150
А. Х. Шарданов (Нальчик). <i>Э. Ю. Кумахова. Развитие адыгских литературных языков</i>	153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	156
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
Б. А. Серебренников, В. М. Солдатов (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Яцева

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55



Ф. П. ФИЛИН

ОБ ИСТОКАХ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Вопрос о начальных истоках русского литературного языка имеет давнюю историю. Еще в эпоху средневековья возникали споры по поводу языковой ситуации на Руси. Н. И. Толстой в своем докладе «Древние представления о диалектной основе церковнославянского языка» в результате анализа высказываний древних писцов и переводчиков пришел к выводу, что «восточные славяне осознавали не только противопоставленность разговорнорусского и церковнославянского языков, но и южнославянское происхождение последнего»¹. Начиная с XVIII в. вплоть до наших дней дискуссии о происхождении русского литературного языка ведутся почти непрерывно, то затухая, то вспыхивая с новой силой. Можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с одной из так называемых вечных проблем русистики и славистики, окончательное решение которой еще не близко².

Новая волна споров поднялась в тридцатых годах в Институте языка и мышления АН СССР в Ленинграде в связи с выступлениями в печати С. П. Обнорского. На многочисленных заседаниях лингвисты разделились на два лагеря: защитников концепции А. А. Шахматова (Л. В. Щерба и его сторонники) и противников этой концепции (С. П. Обнорский, Л. П. Якубинский и др.). К сожалению, стенографических записей дискуссий не велось, не осталось и сколько-нибудь обстоятельных протоколов заседаний, а воспроизводить содержание споров по памяти — дело крайне рискованное. Все же главный предмет дискуссий можно определить точно: сколько литературных языков было в древней Руси: один или два? Согласно господствовавшей до того времени концепции А. А. Шахматова, в древней Руси был один и единый литературный язык, болгарский по своему происхождению, но с течением времени подвергавшийся постепенной русификации. В пользу этой гипотезы говорило многое. Книжность на Руси появляется (по-видимому, в конце IX — начале X в.) в связи с проникновением в восточнославянскую среду христианской религии, массовое распространение которой начинается с конца X в. По известным подсчетам Б. В. Сапунова (конечно, приблизительным), с конца X в. по 1240 г. на восточнославянской территории было построено около 10 000 церковных зданий, для одновременного обслуживания которых нужно было иметь минимум 85 000 церковных книг, а за 250 лет количество этих книг должно исчисляться сотнями тысяч³. По более ранним данным Н. В. Волкова 99% дошедших до нас книг XI—XIV вв. — книги церков-

¹ Хроникальное сообщение см.: ИАН ОЛЯ, 1973, 5, стр. 477.

² Обзор литературы вопроса см. в статье: В. Д. Левин, А. Д. Григорьева, Вопрос о происхождении и начальных этапах русского литературного языка в русской науке, «Уч. зап. МГПИ им. Потемкина», 51, 1956.

³ Б. В. Сапунов, Некоторые соображения о древнерусской книжности XI—XIII вв., «Труды отдела древнерусской литературы», XI, М.—Л., 1955.

но-религиозного характера⁴. Открытие новых древнерусских рукописей в XX в. мало изменило соотношение церковных и светских книг. Разве что, как полагает Л. П. Жуковская, предполагаемое количество книг в древней Руси должно быть удвоено⁵.

Язык канонических и прочих богослужебных книг у всех православных славян (восточных и южных) был единым. Конечно, в него проникали местные особенности и тем самым создавались различные его «редакции», но от этого единство его не разрушалось. Церковнославянский язык разных редакций обслуживал литературные нужды славян вплоть до XVIII в. Перерыва языковых традиций у русских не было, хотя в XVIII в. русский литературный язык претерпел значительные изменения, в частности, под воздействием западноевропейских языков. Что касается одного процента книг XI—XIV вв. светского содержания, то этим процентом можно пренебречь, а преобладание русской народной языковой стихии в таких памятниках, как летописи, светские части сочинений Владимира Мономаха и др., можно объяснять как процесс русификации старославянской (древнеболгарской) языковой основы. Все это как будто решительно свидетельствует в пользу гипотезы А. А. Шахматова.

Противоположную точку зрения выдвинул С. П. Обнорский. Как известно, по С. П. Обнорскому, в древней Руси был не один, а два генетически близких, но самостоятельных литературных языка: собственно древнерусский литературный язык с народно-разговорной основой, который и является непосредственным родоначальником современного русского литературного языка, и древнецерковнославянский литературный язык русской редакции (с древнеболгарской основой), обслуживавший главным образом нужды церкви и всей религиозной культуры, несомненно игравшей очень большую роль в жизни средневекового русского общества. Собственно древнерусский литературный язык возник совершенно независимо от древнецерковнославянского языка (прежде всего, на новгородском севере) и начал испытывать определенное воздействие со стороны последнего лишь с конца XIV в., когда началось так называемое второе южнославянское влияние.

Теория С. П. Обнорского одно время имела большой успех и получила широкое распространение в нашей стране. Однако она подверглась суровой критике со стороны В. В. Виноградова, А. М. Селищева, Б. О. Унбегауна и некоторых других лингвистов. А. М. Селищев, Б. О. Унбегаун и их последователи продолжали развивать идеи А. А. Шахматова. Особенно далеко на этом пути зашел Б. О. Унбегаун, который считал, что в синтаксисе и в очень большой степени в лексике и словообразовании современный русский литературный язык продолжает оставаться церковнославянским, из Болгарии пересаженным на русскую почву. Иную позицию занял В. В. Виноградов. С его точки зрения, в древней Руси существовал один литературный язык с двумя разновидностями или типами: книжнославянским (древнеболгарским в своей основе) и литературно-разговорным (восточнославянским в своей основе), между которыми на протяжении веков происходили сложные процессы взаимодействия; вопрос о том, какому из них принадлежала ведущая роль в этих процессах, однако, не ставится (в самом общем виде им высказывалась, впрочем, мысль, что ведущим был церковнославянский язык).

⁴ Н. В. Волков, Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков и их указатель, «Памятники древнерусской письменности», 123, 1897, стр. 38—40.

⁵ Л. П. Жуковская, Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI—XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их, «Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология», М., 1968, стр. 203.

С моей точки зрения, критики положений С. П. Обнорского во многом правы. В его теории действительно обнаруживаются уязвимые места, о чем в свое время писал и автор настоящих строк⁶. Во-первых, совершенно очевидно, что древнерусская письменность по своему происхождению неотделима от письменности старославянской: попытки доказать ее независимое происхождение не имеют под собой никаких фактических оснований. Само письмо пришло к нам из Болгарии вместе с распространением христианства. Что собою представляли первобытные славянские «черты и резы», о которых упоминает черноризец Храбр, мы не знаем. Во-вторых, аргументация С. П. Обнорского о цельности самобытного древнерусского литературного языка — стройность и выдержанность системы прошедших времен (аориста, имперфекта, перфекта и плюсквамперфекта), тройственного деления форм числа, системы именного склонения, особенности синтаксиса и т. п. — неубедительна, так как все указываемые им языковые черты представлены и в генетически близком старославянском языке. В-третьих, наличие известной доли церковнославянизмов в оригиналах (а не в поздних списках) «Русской Правды» краткой редакции, «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника» и сочинений Владимира Мономаха, на анализе языка которых основывал свою концепцию С. П. Обнорский, тоже не подлежит никакому сомнению. Следовательно, его тезис лишь о позднем воздействии церковнославянского языка на собственно древнерусский литературный язык фактически не подтверждается. И все же теория С. П. Обнорского сыграла свою полезную роль, и сторонникам гипотезы А. А. Шахматова торжествовать рано. Для всех очевидно, что язык «Русской Правды», «Вкладной Варлаама Хутынского монастырю» после 1192 г., «Договора великого князя Александра Ярославича Невского и новгородцев с немецкими послами» (написанного между 1257 и 1263 гг.), «Договора смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ригою и Готским берегом» 1229 г. и многих других документов деловой письменности XI—XIV вв. не тот, что язык канонических и иных богослужебных книг. В основе языка деловой письменности лежит народная древнерусская речь, церковнославянизмы в нем встречаются спорадически, прежде всего в формулах зачина и других торжественных местах. Наличие особого языка деловой литературы никак не укладывается в рамки единого древнерусского литературного языка. Как быть с этим противоречием? Для С. П. Обнорского такого противоречия не существовало: он отрицал единство языка древнерусской письменности, считал, что было два литературных языка, и язык деловых документов объединял с языком «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника» и сочинений Владимира Мономаха в единый собственно древнерусский литературный язык.

А. А. Шахматов, В. В. Виноградов, Б. О. Унбегаун и их последователи поступают иначе: они не считают язык древнерусской деловой письменности литературным, выводят его за пределы литературного языка, полагая, что в деловых документах представлена лишь письменная фиксация особой разновидности древнерусской разговорной речи. И в этом утверждении заключается ахиллесова пята всей на первый взгляд стройной шахматовской концепции. Встает общий вопрос, что же представляет собой литературный язык, каковы его отличия от внелитературных языковых разновидностей. Сторонники А. А. Шахматова и В. В. Виноградова иногда высказывают мысль, что литературный язык — это

⁶ Ф. П. Ф и л и н, Акад. С. П. Обнорский, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, «Вестник ЛГУ», 1947, 10.

язык литературы, предназначенный для чтения, а не для практических нужд жизни, это прежде всего произведения художественные, исторические, научные, публицистические, для древнерусского периода и религиозно-дидактические. «Русская Правда» — это не литература для чтения, то же можно сказать и о новгородских берестяных грамотах⁷. Конечно, далеко не все письменные фиксации речи можно относить к разряду литературного языка. Письма малограмотных древних новгородцев (такие имеются среди берестяных грамот), как и современных малограмотных людей, записи диалектной речи и прочие документы подобного рода никто не будет определять как написанные на литературном языке. Но «Русская Правда», договоры древнерусских князей и прочие аналогичные памятники писались не малограмотными людьми, а профессиональными образованными писцами. Писались они для практических целей? Несомненно. Однако, как указывает современный крупнейший знаток древнерусской литературы Д. С. Лихачев, все виды древнерусской письменности были предназначены для практических целей. «Произведений, предназначавшихся просто для занимательного чтения, было сравнительно немного»⁸. Летописи, например, были важны для внутренней и внешней дипломатии, в которой исторические справки играли очень большую роль. Все канонические и религиозно-дидактические произведения имели сугубо практическое назначение: обслуживание религиозной обрядности, пропаганду и утверждение христианских догматов и идей. Элементы научных знаний о природе и обществе подавались в рамках христианской культуры, предназначались для ее распространения. Само понятие литературы «просто для чтения» крайне неопределенно и расплывчато. Одним из ее внешних признаков может быть распространенность произведения среди читателей. Однако тут мы сталкиваемся с весьма противоречивыми фактами.

Сочинения Владимира Мономаха, принадлежность которых к собственно литературе никто не отрицает, дошли до нас в единственном экземпляре в Лаврентьевском списке летописи 1377 г. Великое произведение древнерусской художественной литературы «Слово о полку Игореве» тоже стало известно по единственному списку XVI в. Мы не знаем, во скольких экземплярах были распространены эти и другие им аналогичные произведения в древней Руси, каков был их «читательский коэффициент». Между тем «Русская Правда» сохранилась в большом количестве списков, ее читали в течение ряда веков. Деловой документ «Уложение» 1649 г. был отпечатан в 2400 экземплярах, и его тираж разошелся за очень короткий срок. Следовательно, критерий «просто для чтения» или «для практических надобностей» совершенно не подходит для определения границ литературного языка. Деловая литература очень широко представлена и в наше время, но ведь никто не будет отрицать, что она написана на нормативном литературном языке, составляет один из его многочисленных жанров. Так обстоит дело теперь, так было и всегда, с тех пор как возникла письменность.

Некоторые лингвисты делят письменные произведения на литературно обработанные, с богатой традицией, и литературно не оформленные, без традиций. Так поступает, например, М. Кравар, который относит к первому разряду церковно-богослужебные произведения, а ко второму «Русскую Правду», все договоры, грамоты (в том числе новгородские

⁷ Ср.: А. И. Горшков, История русского литературного языка, М., 1969, стр. 10.

⁸ Д. С. Лихачев, Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили, Л., 1973, стр. 50.

берестяные), письма и т. п.⁹. Признак обработанности и традиционной преемственности, несомненно, является важным для определения сущности литературного языка. Однако совершенно прав С. И. Котков, который считает, что деловая литература очень разнообразна и ее нельзя рассматривать как нечто безликое, одинаковое в жанровом и лингвистическом отношении¹⁰. «Русская Правда» уходит своими корнями в древнее обычное право, с его многовековой историей, устными традиционными формулами. Язык его был неразрывно связан с диалектами, но в то же время он имел и наддиалектный характер, поскольку нормы устного права были межплеменными. Когда «Русская Правда» была зафиксирована на письме, ее язык был уже традиционен, обработан, заключал в себе многовековую языковую культуру. Конечно, традиции языка богослужебной литературы и языка «Русской Правды», договоров и некоторых других видов деловой письменности были различными, но это уже другой вопрос.

То же можно сказать и о языке фольклора. Функции фольклора в разные исторические эпохи изменялись. Как указывает Д. С. Лихачев, в новое время фольклор — словесное искусство трудового народа. Иным было положение в средние века (и тем более в доклассовом обществе). В средние века фольклор облуживает все слои населения, включая княжеско-боярские верхи. В древней Руси устные музыкальные словесные произведения исполнялись на пирах у князей и вельмож, на похоронах князей («славы» и «плачи»). В ходу были исторические произведения, пословицы и поговорки, произведения шутливые и произведения, связанные с языческими обрядами, весьма вероятно, и сказки. «Фольклор был и остался если не языческим, то по крайней мере не христианским»¹¹. Письменная литература не удовлетворяла всех потребностей общества в художественном слове, в частности, в ней очень слабо отражалась лирика. Почти полное отсутствие в письменности лирики и поэзии пополнялось фольклором. То же можно сказать и о развлекательности. Фольклор и письменность дополняли друг друга, их существование друг без друга было немислимо, хотя они не смешивались между собой. Фольклорные произведения в письменности лишь излагались, перекладывались, но до XVII в. не записывались, так как в их записях не было нужды. В то же время и в письменности, и в фольклоре имеется общее генетическое наследство — в традиционных образах, сравнениях, метафорах, символах. И там и здесь действительность сравнивается с морем, человеческая жизнь с кораблем, житейские волнения с волнами и т. д., и т. п. Фольклорные приемы наличествуют в «Слове о полку Игореве», в летописях, в сочинениях Владимира Мономаха, «Слове о погибели русской земли» и многих других произведениях¹². Иначе говоря, фольклор в древней Руси выполнял многие важные функции современной художественной литературы. Язык его был несомненно обработан и имел весьма длительные традиции. Связанный с диалектами, он включал в себя и много наддиалектных особенностей, что многократно отмечалось его исследователями. Можно ли исключать язык фольклора из понятия литературного языка только на том основании, что он не был письменно оформлен?

Литературный язык — понятие широкое. Его состав и структура в разные исторические периоды неодинаковы. Современный русский литературный язык со времен его основателя А. С. Пушкина формировался

⁹ М. К р а в а р, О двуязычном характере древнерусской письменности, «Симпозиум 1100-годищина од смртта на Кирил Солунски», кн. 1—2, Скопје, 1970.

¹⁰ С. И. К о т к о в, О памятниках народно-разговорного языка, ВЯ, 1972, 1, стр. 44—45.

¹¹ Д. С. Л и х а ч е в, указ. соч., стр. 45.

¹² Там же, стр. 49.

прежде всего в лаборатории художественного творчества. Но и во времена А. С. Пушкина он не сводился только к языку художественной литературы, обслуживая все научные, культурные и государственные нужды русской нации. Во второй половине XIX в. наряду с художественной литературой в его развитии огромную роль начинают играть научные сочинения и публицистика. Современный русский литературный язык имеет весьма сложную структуру и разнообразные связи с другими разновидностями русского языка¹³. В древнерусскую эпоху ситуация была иной, но все же между любыми типами литературного языка должно иметься нечто общее; иначе мы не имеем права употреблять сам термин «литературный язык» применительно к разным временам. Между прочим, к такому выводу и приходят некоторые лингвисты (например, А. В. Исаченко), утверждая, что до XIX в. на Руси вообще не было литературного языка. Литература существовала, а литературного языка не было — такие парадоксы вряд ли можно принимать всерьез. Литературный язык представляет собой объективно существующую (или существовавшую) лингвистическую систему, обычно письменно зафиксированную, обслуживающую политические, идеологические, экономические, эстетические и иные культурные нужды данного общества, имеющую свои нормы и традиции, литературно установленные с началом письменности и противостоящие тенденциям диалектного дробления, заложенным в необработанной обиходно-бытовой речи.

М. М. Гухман считает, что «основными универсальными признаками литературного языка являются обработанность, конвенциональность, известная степень наддиалектности», что «литературный язык — это не только книжно-письменная речь, но и язык устной эпической поэзии, устного народного права»¹⁴. С этим вполне можно согласиться, но с одним существенным дополнением: нельзя вести историю литературного языка с первобытных эпох, когда не было никакого понятия о письменности, а зачатки устной поэзии и устного права уже имелись. Литературный язык начинается со времен возникновения и развития письменности. В древнюю Русь был трансплантирован из Болгарии старославянский (древнеболгарский в своей основе) письменный язык, обслуживавший прежде всего нужды христианской религии. Кирилловская письменность была использована и для фиксации деловых нужд общества. Очень трудно утверждать, что язык Остромирова евангелия и язык «Русской Правды» тождественны, так как различия между ними очевидны. Возникло два письменных литературных языка, близкородственных, но самостоятельных. Письменная литература существенно дополнялась устным обработанным языком народной поэзии, устного права и, вероятно, наддиалектных разговорных языковых койне крупных городских центров. Устные языковые «дополнения» к языку письменности приобретали с введением письменности статус литературности, поскольку древняя Русь не могла обходиться ни без того, ни без другого. В культурном языковом конгломерате появилось два члена противопоставления, без чего не было бы самого конгло-

¹³ Подробно об этом см.: Ф. П. Филин, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2, стр. 3—12.

¹⁴ М. М. Гухман, Соотношение литературного языка и диалекта в донациональный период, «Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений (Ереван, 2—5 октября 1973)», М., 1973, стр. 170.

мерата: письменный и устный литературные языки. До возникновения такого противопоставления вряд ли можно говорить о литературном языке, иначе мы потеряем в его определении всякие границы и будем вынуждены предполагать наличие литературного языка у людей древнекаменного века, которые тоже обладали известной долей творческой фантазии и некоторыми общественными институтами. Таким образом, начало литературного языка следует связывать с моментом возникновения письменности и ее совместного существования с бесписьменной традицией.

Возвращаясь к проблеме языка деловой литературы, мы со всем основанием можем утверждать, что этот язык был языком литературным, поскольку он был обработан, нормирован (конечно, в меньшей степени, чем современный литературный язык), выполнял важные государственные функции. «Русская Правда» была сводом законов для всей древней Руси на протяжении ряда веков. Так называемый «западнорусский» язык XIV—XVI вв. в своей деловой разновидности был государственным языком литовской, молдавской и валашской держав. В литературе Московской Руси формулы деловых документов стали использоваться как приемы художественного изображения. Хорошо известна роль языка московских приказов в формировании норм русского языка, органически вошедших позже в систему норм современного русского литературного языка. Важным исходным материалом современного немецкого литературного языка был язык средневековой немецкой деловой и публицистической литературы. Примеров такого рода можно было бы привести много.

Из сказанного с неизбежностью следует, что древнерусскую деловую письменность нельзя исключать из сферы литературного языка. А это означает, что гипотезы А. А. Шахматова, Б. О. Унбегауна (в древней Руси был один литературный язык, в основе своей древнеболгарский), В. В. Виноградова (был один литературный язык, распадавшийся на книжно-славянскую и народно-разговорную разновидности) и их последователей нуждаются в коренном пересмотре. Прав был С. П. Обнорский с его теорией двух литературных языков в древней Руси: перенесенного из Болгарии старославянского русской редакции и собственно древнерусского литературного языка, в основе своей народно-восточнославянского. К этому следует сделать, однако, ту существенную оговорку, что древнерусский литературный язык имел две разновидности: письменную и устную. Эта концепция подвергается критике со стороны тех лингвистов, которые подчеркивают общность всех славянских языков эпохи древней Руси и считают, что старославянский и древнерусский языки в сущности были не языками, а диалектами одного общеславянского языка, только применявшимися в разных сферах жизни. Р. И. Аванесов считает необходимым различать историко-этнический и функциональный подходы к старославянскому языку. Вкратце упомянув об историко-этническом подходе, он полностью переключает свое исследовательское внимание на функциональную точку зрения.

С этой точки зрения, старославянский язык «в равной степени принадлежит всем южным и восточным славянам (а в раннюю эпоху также и части западных славян) и не может считаться чем-то внешним или чужим по отношению к языку древних восточных славян»¹⁵. Подчеркивается общность старославянской и древнерусской фонетических

¹⁵ Р. И. Аванесов, К вопросам периодизации русского языка, «Славянское языкознание. VII международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации», М., 1973, стр. 6.

и фонологических систем, основного словарного состава, инвентаря словообразовательных морфем, морфологической системы и костяка синтаксической структуры. Если и есть различия между двумя языками, то они малосущественны, поэтому старославянский язык в древней Руси, как и у других славян, был своим, родным языком. Из этого следует вывод, что «специфика роли церковнославянского языка в истории русского литературного языка такова, что равно неприемлемо как утверждение о том, что русский литературный язык — это русифицированный церковнославянский язык (т. е. утверждение о „древнеболгарской“ его основе), так и утверждение о том, что русский литературный язык — это церковнославянизированный русский язык (т. е. утверждение о народной его основе)»¹⁶. Если это так, то различие историко-этнической и функциональной точек зрения излишне: старославянский язык был родным для восточных и южных славян языком.

Близкие к гипотезе Р. И. Аванесова позиции занимает Л. П. Жуковская. По ее мнению, в начальную эпоху древнерусской письменности отдельных славянских языков фактически не существовало, поэтому с уверенностью можно говорить о русском происхождении русского литературного языка. Язык Остромирова и Мстиславова евангелий — народный русский язык, только примененный в культурно-религиозной сфере. Собственно церковнославянский язык на русской почве был искусственно создан в позднее время, а до этого его не существовало¹⁷.

О чем в таком случае спорить? Дискуссии, которые ведутся многими поколениями ученых, оказываются бесполезными. Разве что можно говорить о некоторых диалектных расхождениях (и то незначительных) в языке древнерусской и южнославянской письменности, взятой в целом во всех ее жанрах и разновидностях. Однако действительно ли в IX—XI вв. (и тем более позже) существовали только диалекты общеславянского языка, а самих славянских языков еще не было? Сравнительно-историческое языкознание не подтверждает этой точки зрения. В IX в., т. е. во время возникновения славянской письменности, славянские языки как самостоятельные, хотя и близкородственные, лингвистические единицы уже оформились, причем заметные различия между ними имелись на всех языковых уровнях. Как считает О. Н. Трубачев на основании данных подготавливаемого «Этимологического словаря славянских языков», в праславянском языке, существовавшем до IX в., имелось свыше десяти тысяч слов, производных и непроизводных, из которых большое количество лексических единиц имело локальные ограничения в своем распространении. Независимо от О. Н. Трубачева к тем же выводам пришел Ф. Славский, согласно которому праславянский лексикон тоже имел около десяти тысяч мотивированных и немотивированных слов, причем время существования этих слов им определяется IV—V—VII—VIII веками. Словарных статей «Праславянского словаря» на буквы А — В, уже подготовленных, оказалось 896. Из 896 слов 397 оказалось диалектизмами (44% всего словарного состава)¹⁸. Разумеется, к этим цифрам надо относиться с осторожностью и не придавать им абсолютного значения, но факт остается фактом: около половины лексики в праславянском языке было не общеславянской. Широко развернувшиеся в наше время историко-этимологические исследования приводят к нахождению все новых и новых лексических диалектизмов праславянского языка,

¹⁶ Там же, стр. 9.

¹⁷ Л. П. Жуковская, О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода, ВЯ, 1972, 5, стр. 67.

¹⁸ F. Sławski, Nad pierwszym tomem Słownika prasłowiańskiego, «Rocznik sławistyczny», XXXIV, 1, 1973, стр. 3 и сл.

составлявших сложную сеть лексических изоглосс. Естественно предположить, что в IX—XI вв., не говоря уже о более позднем времени, когда праславянский язык распался, происходило дальнейшее нарастание лексических расхождений на славянской языковой территории.

Создание Кириллом и Мефодием старославянской письменности привело к мощному воздействию на старославянский язык византийской лексики, вовсе чуждой славянской народной речи. По подсчетам Р. М. Цейтлин, в семнадцати исследованных ею памятниках X—XI вв., написанных в юго-западной и восточной Болгарии (т. е. памятниках древнеболгарского извода), оказалось 9616 слов, из них заимствованных из греческого языка 1778 слов, т. е. 18% всего словарного состава¹⁹. Всеми этими фактами нельзя пренебрегать, особенно если учитывать, что содержание передается прежде всего через лексику, лексически значимую часть слов. Язык — средство общения. Русские арготические языки имеют русскую грамматику, но они непонятны для непосвященных, так как их лексика резко отличается от общепринятого русского языка. Вспомним также щербовскую «глокую куздру», в которой мы легко устанавливаем русские грамматические формы, но если бы мы стали объясняться на такого рода искусственно созданных языках, мы не могли бы понять друг друга. Одним словом, при определении различий между языками показания лексики являются очень важными, если не определяющими.

Расхождения между славянскими языками интересующего нас времени в фонетической и грамматической системах были меньшими, чем в лексике, однако и на этих уровнях славянские языки уже проделали значительный путь от первичного праславянского состояния. Все основные изменения в фонетике и грамматике имели различную локальную отнесенность. Фонетические особенности каждого славянского языка и языковых групп (в том числе древнерусского и древнеболгарского) достаточно хорошо известны. Трансформация древних типов именного и местоименного склонения, глагольных классов и других грамматических явлений в различных славянских областях проходила неодинаково и неодновременно еще в дописьменную эпоху. Следовательно, ко времени возникновения письменности у славян единой языковой системы, в которой важнейшие инновации были бы одинаковыми, уже не существовало.

Кроме того, говоря о различиях между такими лингвистическими единицами, как язык и диалект, нельзя не учитывать и внешних обстоятельств. Уже в VI—VII вв. отдельные славянские языковые группы, занимавшие обширнейшие территории от Ильмена на северо-востоке до Лабы и Адриатики на западе и юго-западе, начинали формироваться в отдельные народности с зачатками классового расслоения и государственности. В IX в. эти народности уже сформировались. Как известно, при определении, чем является лингвистическая единица, нельзя ограничиваться только языковыми данными, иначе получится неправомерный отрыв языка от истории. Однако и собственно лингвистических фактов вполне достаточно, чтобы не считать тождественными старославянский (древнеболгарский) и древнерусский языки. Из этого следует вывод, что не зря поколения ученых спорили и спорят об этнических истоках русского литературного языка. И по происхождению, и по своей функции оба указанных языка были неодинаковыми. Иначе обстояло дело в древней Болгарии. Сформировавшийся там литературный язык, конечно, не во всем совпадал с народным, функции письменного и разговорно-народного

¹⁹ Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского языка (опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв.). АДД, М., 1973, стр. 9—10.

языков были неодинаковы (как и на Руси), но генетически оба языка совпадали (в отличие от древней Руси).

Разумеется, старославянский и древнерусский языки, являясь самостоятельными языковыми единицами, сохраняли близкородственные отношения. Близость славянских языков была очень серьезным фактором в деле успешного распространения старославянского языка разных редакций среди южного и восточного славянства. Можно вполне согласиться с Д. С. Лихачевым, который пишет: «...так называемый церковнославянский (я употребляю это название как вошедшее в русский язык и поэтому не могущее быть произвольно измененным) был языком национальным, болгарским по своему происхождению и национальным по своей функции, по выполняемой им роли. Благодаря своей болгарской основе этот язык был понятен повсюду среди славян гораздо лучше, чем латинский, арабский, санскрит, персидский или вэньянь среди объединяемых ими стран»²⁰. Однако решающими условиями для распространения того или иного языка за пределами его бытования являются не собственно языковые (лингвистическая близость или несходство), а историко-культурные обстоятельства. Старославянский язык был заменен латинским у западных славян и в то же время стал литературным языком у молдаван и валахов, где для широких слоев населения он был непонятен. Средневековая латынь распространялась в Западной Европе как степной пожар, оставаясь совершенно чуждой народным массам. История человеческого общества, включая и наше время, полна такого рода примерами.

В то же время очевидно, что книжные люди в древней Руси и в более поздние века свободно владели старославянским (церковнославянским) языком, создавали на этом языке оригинальные произведения различных жанров. Однако они осознавали его южнославянское происхождение. Для неграмотных (и малограмотных) масс древнерусского населения старославянский язык, конечно, был более понятен, чем любой другой неблизкородственный язык. Какова была степень его понятности, нам неизвестно. Во всяком случае, отдельные церковнославянизмы свободно проникали в народную речь. В русских говорах XIX—XX вв. обнаруживается немало церковнославянизмов (например, неполногласных форм), которые отсутствуют в современном литературном языке.

Итак, проблеме начальных истоков русского литературного языка предстоит еще решить, для чего потребуются много усилий. Объявить же ее несуществующей было бы по крайней мере неосмотрительно. Существующие гипотезы нас не удовлетворяют. И все же наиболее вероятным представляется предположение, выдвинутое Г. О. Винокуром²¹ и, независимо от него, автором настоящих строк²². В древней Руси, согласно этому предположению, существовало два письменных литературных языка: церковнославянский (старославянский русской редакции) и собственно древнерусский (главным образом, язык деловой литературы). Между этими языками с самого начала письменности происходят сложные процессы взаимодействия. В «Повести временных лет» и иных летописях, в «Слове о полку Игореве», «Молении Даниила Заточника», многих житиях оригинального происхождения, воинских повестях и некоторых иных произведениях происходит интенсивное смешивание древнерусизмов и церковнославянизмов, закладываются начала нового типа литературного языка, в котором происходит сплав разных языковых стихий. Эта языковая тенденция, то усиливаясь

²⁰ Д. С. Л и х а ч е в, указ. соч., стр. 41.

²¹ Г. О. В и н о к у р, История русского литературного языка, в его кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1959, стр. 44 и сл.

²² Ф. П. Ф и л и н, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей), «Уч. зап. [ЛГПИ им. Герцена]», 80, 1949, стр. 167—181.

то затухая, проходит красной чертой в языковой деятельности наших предков с X—XI по XVIII в. и подготавливает почву для современного русского литературного языка. Г. О. Винокур выделяет даже третий «тип» литературного языка, который создавался в результате взаимодействия церковнославянского и русского языков. Близкой точки зрения придерживаются Г. Хютль-Ворт²³, М. Кравар²⁴ и некоторые другие современные исследователи. Расхождения между ними заключаются в том, что они по-разному определяют роль двух языковых источников: русского и церковнославянского.

Представляется, что спор этот мог бы быть решен при помощи сравнения конечных результатов языкового развития. Существуют современный русский литературный язык, народные говоры (в записях XVIII—XX вв. — речь неграмотных масс населения, в наши дни — речь масс, успешно овладевающих литературным языком) и церковнославянский язык (если в XVIII в. он перестает быть литературным языком, то как церковный жаргон он сохраняется и теперь). К чему в своей основе (с вычетом многочисленных западноевропейских заимствований) современный литературный язык ближе, к диалектной речи (в ее архаической форме) или к церковнославянскому языку? Следует провести капитальные исследования в этой области. Однако даже поверхностное сравнение указанных лингвистических единиц ясно показывает, что главной определяющей основой современного русского литературного языка является русская народная речь, а церковнославянский язык был весьма существенным, но все же только дополнительным источником.

²³ Г. Х ю т л ь - В о р т, Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период, «Wiener slavistisches Jahrbuch», Achtzehnter Band, Wien, 1973.

²⁴ М. К р а в а р, указ. соч.

Ф. М. БЕРЕЗИН

РУССКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
В АКАДЕМИИ НАУК

В принятом ЦК КПСС постановлении «О 250-летнем юбилее Академии наук СССР» отмечается, что создание Академии явилось крупным событием в истории развития науки, образования и культуры нашей страны. С деятельностью Академии многое связано в летописи нашей Родины и в истории мировой науки. Будучи центром исследований в ведущих отраслях знания, Академия и ее члены прославили отчизну выдающимися научными достижениями.

Советские ученые, отмечая юбилей Академии наук как смотр достижений советской науки, вместе с тем подводят итог деятельности Академии за предшествующий период, воздают должное тем ее членам, которые, работая без широкой государственной и общественной поддержки, не только добились выдающихся научных достижений, но и создали новые направления в различных областях науки и техники.

К числу таких направлений относится и теоретическое языкознание в России, представители которого в своих трудах добыли и обобщили много фактического материала, выдвинули ряд положений, которые представляют собой не только исторический интерес, но влияние которых продолжает ощущаться и на современном состоянии науки о языке.

При анализе лингвотеоретического наследия выдающихся русских языковедов могут быть установлены общие принципы, определяемые их мировоззрением. Эти мировоззренческие взгляды, детерминируемые уровнем развития философских и социологических идей соответствующего периода, отразились прежде всего на определении самой сущности науки о языке, на понимании отношения языка и общества.

Начиная с деятельности М. В. Ломоносова, первого русского академика, который не только стоял на уровне тогдашней науки, но в ряде случаев во многом определил ее развитие, характерной особенностью русского языкознания в освещении общезыковедческой проблематики была ее философская направленность, идея материального единства мира.

Не занимаясь специально философией, Ломоносов постоянно стремился к широкому философским обобщениям, и его труды положили начало русской материалистической философии. На естественнонаучной базе материализма были основаны его работы по натурфилософии, т. е. учении о материи, движении и их законов. Натурфилософский подход к языку в филологических работах Ломоносова во многом определил дальнейшее развитие лингвистической мысли в России. Характерной особенностью этого подхода было прежде всего синтетическое понимание языкознания как науки. Язык рассматривается Ломоносовым как органически цельное явление во всех своих аспектах: в строении, функционально (язык служит «для сообщения с другими своих мыслей»¹) и он нужен «для согласного общих дел течения»¹) и исторически («так-то невдруг переменяются языки! Так-то непостоянно!»²).

¹ М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., 7, М.—Л., 1952, стр. 394.

² Там же, стр. 658.

В материалистических взглядах Ломоносова применительно к языку следует выделить принцип историзма. Он не только говорит о развитии языка вообще, но и намечает последовательность такого развития. Важность этих замечаний Ломоносова легко понять, если иметь в виду, что метафизическая наука того времени отстаивала представление об абсолютной неизменчивости явлений природы.

В своем синтетическом подходе к языку Ломоносов не допускал разрыва между уровнем эмпирического наблюдения и уровнем интерпретации, раскрытия существенных свойств языка, ибо синтез для него обязательно предполагал предварительный анализ, вскрывающий всю сложность такого явления, каким является язык. Его обширные «Материалы к трудам по филологии» (1744—1757) содержат огромное количество конкретных примеров из русского языка, отличаются тонкостью грамматических наблюдений.

Синтетико-аналитические приемы исследования, философская проблема взаимоотношения языка и мышления, принцип историзма в развитии языка — все это придает лингвистической концепции Ломоносова цельный характер; ее фундаментальные положения тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться в этой взаимосвязи.

Автор фундаментальной академической нормативной грамматики русского языка, реформатор в области теории и практики стиха, основоположник сравнительно-исторического языкознания, — Ломоносов не только стоял на уровне тогдашней науки, но и до сих пор продолжает оказывать влияние на ход развития отечественного языкознания. Ломоносовский призыв употреблять при изучении явлений языка «общефилософское понятие о человеческом слове», которое открывает «безмерно широкое поле или лучше сказать едва пределы имеющее море»³, в той или иной мере дает себя знать почти у каждого русского языковеда.

Для Ломоносова характерным был генетический подход к языку, вернее, генетическая интерпретация языковых фактов. В рапорте о своих трудах за 1755 г. Ломоносов упоминает, что «сочинил письмо о сходстве и переменнах языков», «о сродных языках российскому и о нынешних диалектах». А в росписи трудов за 1764 г. Ломоносов добавляет, что им «собраны речи разных языков, между собой сходные»⁴. В черновых материалах к «Российской грамматике» Ломоносов говорит о языках сродственных, куда он относит языки русский, греческий, латинские, немецкий и подтверждает их родство этимологически надежным сравнением числительных от одного до десяти, и языках неродственных, включающих в себя языки финский, мексиканский и китайский. Он же четко устанавливал семью славянских языков, предугадывая деление их на юго-восточную и северо-западную группы, отмечая большое сходство русского языка с «живущими за Дунаем народами словенского поколения»⁵.

Связанная со времени своего появления с именем Ломоносова сравнительно-историческая проблематика первоначально включала в себя изучение родственных отношений русского языка с другими языками, причем попытки установления таких отношений основывались в большинстве случаев на этимологически надежном языковом материале.

Принцип историзма был развит акад. А. Х. Востоковым, для которого идея языковой закономерности проявлялась в звуковых соответствиях между различными этапами в развитии языка. Ориентированная на генетическое объяснение языковых явлений, лингвистическая система Востоко-

³ Там же, стр. 394.

⁴ Там же, стр. 944.

⁵ Там же, стр. 590.

ва утверждала в качестве строго научной только историческую грамматику. Генетические связи Востоков устанавливал, прежде всего, между звуковыми единицами, и на основе этих связей он делал выводы методологического характера. Так, используя результаты сравнительно-исторического анализа звукового состава славянских языков, в частности анализа юсов, Востоков попытался не только определить особенности взаимоотношения славянских языков между собой и различную степень их близости к общеславянскому литературному языку, но и выдвинул идею восстановления праславянского языка путем сравнения сохранившихся славянских диалектов. В этом исследовании Востоков показал, что церковнославянский язык занимает такое же место в славянском языкознании, какое санскрит — в индоевропейском. Определив особенности церковнославянского, его место в системе других славянских языков, Востоков фактически пришел к утверждению, что церковнославянский язык является тем связующим звеном, который соединяет славянские языки с другими индоевропейскими.

Глубокая интерпретация фактов языка позволила Востокову перейти к широким обобщениям, к постановке важных лингвистических проблем, особенно в «Сокращенной русской грамматике для употребления в низших учебных заведениях» (1831) и «Русской грамматике, по начертанию сокращенной грамматики полнее изложенной» (1831). В последней работе он выступает против господствовавшего тогда формально-логического подхода к рассмотрению грамматических явлений. Востоков впервые в истории синтаксических учений устанавливает, что для русского языка характерным является преобладание двучленного построения предложения. Установление этого факта не могло не отразиться на объяснении категории глагола, а также кратких форм имен прилагательных и предикативных наречий.

30—60-е годы XIX в. в истории Академии наук характеризуются постановкой крупных теоретических проблем. В этот период утверждаются принципы сравнительно-исторического метода, выдвигаются грамматические концепции, которые оказывают большое влияние на становление теоретических основ русского языкознания, созревает как научная дисциплина историческая грамматика русского языка.

Стремление к философскому осмыслению лингвистических вопросов ощущается в «Опыте общесравнительной грамматики русского языка» (1852) акад. И. И. Давыдова, книге, носящей на себе определенное влияние работы К. Беккера «Организм языка». Важнейшим исходным постулатом давыдовской теории является положение о тождестве языка и мышления («слово не иное что как мысль в явлении; они в сущности одно и то же», — говорил Давыдов⁶). отождествление языка и мышления, неправомерное с современной точки зрения, приводит Давыдова к важному выводу об органической природе языка, позднее повторенному Ф. И. Буслаевым. «Идея организма, объемлющая слово и проникающая его во всех отношениях, — писал Давыдов в предисловии к своей книге, — должна быть путеводной идеей всякого языкознания»⁷. Практически понятие организма языка у Давыдова заменяет понятие системности языка, к которому приближался Давыдов, утверждая, что «в языке нет ничего отдельного» и язык «представляет во всех своих частях и отношениях особый организм»⁸. Давыдов интерпретирует систему языка с точки зрения выполняемых ею функций, определяя язык как «одно из отправления (functio) или необхо-

⁶ И. И. Д а в ы д о в, Опыт общесравнительной грамматики русского языка, Спб., 1853, стр. 2.

⁷ Там же, стр. III—IV.

⁸ Там же, стр. 6, 11.

димых условий человеческой жизни»⁹. Истинное знание языка, по его словам, есть не что иное, как знание его органических отношений, ибо «отношения есть существенные элементы в мысли»¹⁰. Такое понимание языка очень близко современному, несмотря на определение его через мифический «организм». Давыдов утверждает единый предмет исследования — язык под углом зрения существующих в нем отношений: «со стороны логической язык выражает различные отношения понятий, а со стороны фонетической — различные отношения звуков»¹¹. Различая три типа языковых явлений — звук, понятие и отношение, Давыдов в известной мере предвосхищает некоторые идеи последующего развития языкознания. Поэтому трудно согласиться с мнением акад. В. В. Виноградова, который хотя и признавал заслуги Давыдова в применении сравнительного (сопоставительного) метода, тем не менее писал, что «опыт общесравнительной грамматики русского языка» «обращен целиком к прошлому» и он будто бы не содержит «никаких зародышей и звеньев будущего»¹².

Напротив, через шесть лет акад. Ф. И. Буслаев в своем «Опыте исторической грамматики русского языка» (1858) вновь возвращается к «органическому» определению языка, подчеркивая взаимоотношение в языке категорий единичного и всеобщего и вытекающий из этого взаимоотношения системный характер языка: «Все построения языка, от отдельного звука до предложения и сочетания предложений, представляют нам живую связь отдельных членов, дополняющих друг друга и образующих одно целое, которое в свою очередь дает смысл и значение каждому из этих членов. Такое взаимное отношение между частями и целым именуется организмом языка»¹³.

Книга акад. И. И. Срезневского «Мысли об истории русского языка» (1849) в истории русского языкознания воспринималась как программа по историческому изучению русского языка, а по богатству идей и широких обобщений представляла собой один из главнейших этапов в развитии теоретического языкознания в России.

Срезневский следующим образом формулирует задачи сравнительно-исторического изучения русского языка. Необходимо, полагает он, изучить лексику, грамматику каждого древнего памятника языка, описать каждое наречие и каждый местный говор русского языка, научно описать в грамматическом, лексическом и стилистическом отношении современный русский язык и язык писателей, а затем уже изучать русский язык в сравнении с другими славянскими языками. Только на основе всех этих изучений возможно создание полной истории русского языка. На основе сравнения родственных славянских языков и диалектов Срезневский ставит задачу восстановления первобытного русского языка во всем его строе и составе, со всеми его формами и словами.

Важное значение Срезневский придавал лексике как наиболее подвижной части языка, отражающей в своем развитии разнообразные изменения в жизни народа. Результаты своих исследований древнерусской лексики Срезневский оформил в виде трехтомных «Материалов для словаря древнерусского языка», которые до сих пор являются единственным систематическим исследованием древнерусского словарного состава.

⁹ Там же, стр. 6.

¹⁰ Там же, стр. 13.

¹¹ Там же, стр. 26.

¹² В. В. Виноградов, Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958, стр. 221.

¹³ Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 21—22.

В «Мыслях» Срезневского содержится одно из важных положений сравнительно-исторической грамматики. Для определения степени расхождения родственных языков, говорит Срезневский, нужно взять древние состояния нескольких языков и сравнивать их между собой, затем сравнивать эти же языки в нынешнем их состоянии. Такой подход, по мнению Срезневского, дает картину исторического изменения языка. Это положение было одним из первых требований соблюдения относительной хронологии в изучении родственных языков, позднее развитое В. А. Богородицким.

В работе Срезневского ставится также вопрос о внешних и внутренних причинах, которые воздействуют на язык и изменяют его. Внешние обстоятельства, как полагает Срезневский, включают в себя «связи народа промышленные, умственные, политические, религиозные, кровнородственные с другими народами»¹⁴, а внутренние обстоятельства имеют дело с выявлением действующих в языке противоречий. Эти противоречия в языке, проявляющиеся в постоянном «борении, постоянных уступках старины новизне»¹⁵, определяют, по словам Срезневского, развитие языка. Такое понимание процесса развития языка отличает концепцию Срезневского от широко распространенной в то время натурфилософской теории двух периодов в развитии языка.

В силу неравномерности развития («в одном и том же языке не все превращается равномерно, иное скорее, иное медленнее»¹⁶) язык, по мысли Срезневского, представляет собой напластование различных слов, «разновремено образованных, древних и новых». Неравномерность развития языка, наличие в нем старых и новых элементов определяют, по мнению Срезневского, постепенное развитие языка, которое проявляется в изменении его структуры.

На развитие языка, его изменение оказывает влияние также его взаимоотношение с другими языками. В этой связи Срезневский затрагивает проблему языковых контактов. «Сроднение» народа с народом, говорит он, может привести их языки к полному изменению, и в результате таких контактов «может образоваться новый язык, по формам своим и похожий и непохожий на те, от которых он произошел»¹⁷.

Тщательное описание диалектов русского языка, собрание материалов о географическом распространении фонетических и грамматических особенностей русского языка [см. его статьи «Замечания о материалах для географии русского языка» (1851), «Этнографическая карта Европы и пояснительная статья к ней» (1849), «Русь угорская, отрывок из опыта географии русского языка» (1852) и др.] с полным основанием дают право называть Срезневского одним из основоположников лингвистической географии в языкознании.

Многие положения И. И. Срезневского были развиты в книге акад. Ф. И. Буслаева «Историческая грамматика русского языка» (1858). Благодаря богатству собранного исторического материала, теоретическому его осмыслению эта книга пролагала новые пути для развития теоретического языкознания в России. Буслаев выдвигает и успешно разрабатывает тезис о необходимости изучения истории конкретного языка в связи с историей его носителя — народа, который создал этот язык. Язык, утверждал Буслаев, является выражением не только мыслительности народной, но и всего быта, нравов и истории народа.

Понимая язык как непрерывный творческий процесс, Буслаев, тем не менее, не мог избавиться от романтико-философских построений истории

¹⁴ И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М., 1959, стр. 20.

¹⁵ Там же, стр. 26.

¹⁶ Там же, стр. 21.

¹⁷ Там же.

человеческого языка, выделяя в нем два периода — древнейший и позднейший. Вместе с тем он более правильно подходил к пониманию вопроса о развитии языка, чем, например, Я. Гримм, влияние романтической концепции которого Буслаев сильно ощущал. Гримм полагал, что языки не развиваются, а регрессируют, вырождаются, доказывая этот тезис падением флексий в германских языках. Буслаеву были чужды идеи Гримма о языковом регрессе. Прогресс языков он видел в историческом развитии народа.

Переноса представление о двух периодах в жизни языка и на русский язык, Буслаев выдвигает идею двустороннего подхода к изучению языка — исторического и логического. Историческое исследование предполагает изучение древнего периода в жизни языка. В более же позднюю эпоху, когда язык подчиняется отвлеченной логике, более уместен логический принцип в изучении языка, с помощью которого исследуется современное состояние языка. Эти два метода исследования языка взаимосвязаны: «...история языка состоит в теснейшей связи с современным его состоянием, ибо восстанавливает и объясняет то, что теперь употребляется бессознательно»¹⁸. В русском языкознании, начиная с Буслаева, утверждается положение о тесной связи двух аспектов в изучении языка, которые в дальнейшем получают разное терминологическое обозначение (этимология и синтаксис у Потебни, динамика и статика у Бодуэна де Куртене, диахрония и синхрония — в более поздний период).

Касаясь проблем исторического изучения русского языка, Буслаев отмечает, что историческое изучение русского языка должно быть тесно связано со сравнительным. Только сравнительное изучение языков может дать истинное и ясное понимание законов языка, только историческое исследование генетически объясняет то или иное употребление данной формы.

Буслаев убежден, что русский язык как целое может быть понят и изучен только в сравнении с другими индоевропейскими языками. Сравнительная грамматика, по мнению Буслаева, имеет своей целью воссоздание далекой доисторической жизни различных индоевропейских языков, соединение которых позволило бы реконструировать организм праязыка.

Буслаев говорит о необходимости ввести сравнительную грамматику в изучение истории русского языка, цель которой состоит в том, чтобы решить, чем отличается русский язык от других славянских и индоевропейских языков. Изучение истории русского языка, по мнению Буслаева, должно начинаться сравнительной грамматикой, потому что только она покажет общую всем индоевропейским языкам форму и позволит проследить постепенное падение и видоизменение этой формы в русском языке. Одним из важных требований Буслаева к сравнительно-историческим исследованиям является его указание на необходимость учета строгих фонетических соответствий в родственных языках и характера отношений между сравниваемыми языками.

История языка позволяет вскрыть и «уразуметь» законы языка. Она имеет и практическое приложение — позволяет осмысленно употреблять формы современного языка.

Буслаев показал, что историческое изучение русского языка не должно ограничиваться только литературным языком. Поскольку «господствующее, центральное наречие не могло оставаться чуждым влияния областных», то Буслаев и говорит о необходимости «исследования провинциализмов»¹⁹. История диалектов, по мнению Буслаева, также находится в связи

¹⁸ Ф. И. Б у с л а е в, [рец. на кн:] И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, СПб., 1850 (отд. отт.), стр. 45.

¹⁹ Ф. И. Б у с л а е в, О преподавании отечественного языка, Л., 1941, стр. 170.

с историей народа. Впервые в истории русского языкознания Буслаев обращает внимание на изучение диалектов и тем самым дает толчок к развитию русской диалектологии.

Труды Буслаева появились в то время, когда он не имел предшественников по созданию исторической грамматики русского языка. Он дал программу сравнительно-исторического изучения русского языка, которая надолго определила содержание работ по компаративистике в России.

Начиная с 70-х годов XIX в. в русском языкознании наряду с продолжающимся бурным расцветом сравнительно-исторического языкознания происходит постепенное превращение языкознания в самостоятельную науку, направленную на изучение определенного предмета — языка. Известную роль в таком превращении сыграл бурный рост естественных наук, и наиболее прямое влияние здесь оказала психология. «В успешном развитии русской психологии сыграла определенную роль и русская филология в трудах Потебни, Шахматова»²⁰.

Русские языковеды конца XIX в. опирались на психологию, поскольку психология по своему предмету и положению среди наук того времени была тем идейным плацдармом, на котором соприкасались философия и естествознание, история и языкознание. Психология помогала языковедам последовательнее, глубже понять и выявить лингвистическое содержание их теорий.

На постановку в России психолингвистической проблематики значительное влияние оказали работы чл.-корр. Академии наук А. А. Потебни, с именем которого в русском языкознании связывается постановка в широкой степени тех проблем, которые составляют содержание так называемой «философии языка».

В линво-философской концепции Потебни следует отметить некоторые материалистические тенденции, в какой-то мере совпадающие с рядом положений, выдвигаемых русскими революционерами-демократами. Единственным реальным миром Чернышевский, например, признавал природу как единство всех ее качеств и свойств, указывая, что «никакого дуализма в человеке не видно» и что «на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру»²¹. Потебня также утверждал, что дуалистический подход к объективной действительности так или иначе связан с религиозным мировоззрением. «О противоположности человека природе, — указывал он, — можно говорить разве только тогда, когда, например, так или иначе действовали на мысль теории религиозные и иные — теории дуализма (бога и черта, духа и материи и проч.)»²².

Определенный интерес представляет сопоставление следующих высказываний А. И. Герцена и А. А. Потебни. Герцен был глубоко убежден, что природа, являясь первичной, существует вечно и не может быть уничтожена: «Ничего существующего, — писал он, — нельзя уничтожить, а можно только изменить... Все, что делается в природе, — только перемена вечного, готового материала»²³. Точно так же и Потебня, критикуя идеалистические учения, выводящие мир из чистого разума, божественного промысла, почти дословно повторяет Герцена: «Мы не можем себе представить создание из ничего, — пишет он. — Все, что человек делает, есть преобразование существующего»²⁴.

²⁰ Б. Г. А н а н ь е в, Очерки развития истории русской психологии XVIII и XIX вв., М., 1947, стр. 11.

²¹ Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й, Избр. философ. соч., 3, М., 1951, стр. 251.

²² А. А. П о т е б н я, Психология поэтического и прозаического мышления, «Вопросы теории и психологии творчества», 11, 2, Харьков, 1910, стр. 108.

²³ А. И. Г е р ц е н, Собр. соч. в 30 томах, 13, М., 1956, стр. 55.

²⁴ А. А. П о т е б н я, Из лекций по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 129.

В философских взглядах Потебни заслуживает внимания тезис о единстве теории и практики. Этот тезис также в какой-то мере связан с философией русских революционеров-демократов. Чернышевский высказал глубокую мысль, что практика действительной жизни является «критерием всех спорных вопросов... не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли»²⁵. Аналогичные мысли развивает и Потебня. «Практика и теория (в широком смысле), — пишет он, — стороны, различные только мыслью, а в действительности тесно связанные...»²⁶.

Уже здесь заметим, что в лингвистической концепции чл.-корр. Академии наук И. А. Бодуэна де Куртенэ также проявляется стремление к монизму, ибо дуализм, по его словам, находится в противоречии с монистическим направлением естественных наук. В лингвопсихологических построениях акад. Ф. Ф. Фортунатова явственно ощущается влияние великого материалиста И. М. Сеченова, с точки зрения которого познание развивается от чувственного восприятия к предметному мышлению.

Несомненно, что философия революционных демократов, которая прочно укрепляется в сознании передовой части русского общества как единственно совместимая с научным познанием человека и его психической деятельностью, не могла не оказать влияния на формирование материалистического мировоззрения русских языковедов. Этот вопрос заслуживает самого тщательного исследования в историографии русского языкознания.

Характерно, что общефилософская направленность свойственна языковедческой мысли Потебни даже в собственно грамматическом исследовании. Большое философское значение имеет учение Потебни об исторической изменчивости синтаксических категорий, отразившееся в его стадийной концепции языка. Характерная для раннего этапа конкретность восприятия предметов и явлений объективной действительности, без расчленения их на признаки и качества, находила свое выражение в именном строе языка. Усиление глагольности Потебня ставил в прямую связь со сменой миросозерцания первобытных людей, начинавших видеть в окружающем их мире не субстанциональность, а процессуальность. Грамматическим категориям существительного и прилагательного соответствовали, по мнению Потебни, гносеологические категории субстанции и качества. На материале развития этих грамматических категорий он стремился проследить, как развивалась способность человека к абстрактному мышлению.

Потебня ввел в языкознание принцип историзма в осмыслении синтаксических категорий. Предложенная Потебней схема исторического развития частей речи и соответствующих им членов предложения содержала в себе попытку вскрыть исторические закономерности развития индоевропейского предложения на различных стадиях его развития.

Потебня проводил четкое различие между фундаментальными для теории языкознания понятиями — языком и речью. Для языка в широком его смысле характерно то большее, то меньшее число явлений, а речь отличается от языка наличием многочисленных отношений одних явлений к другим.

С именем Потебни связывается идея лексической относительности, заключающаяся в том, что слово приобретает значение лишь в предложении, проявляя свои свойства только в окружении других слов, в отношении к ним. Исходя из реляционных свойств слова, Потебня подходит к выводу о деривационном характере связи между значениями. На основе противопоставленности как частного случая отношений Потебня утверждает принцип системности грамматических форм.

²⁵ Н. Г. Чернышевский, Избр. философ. соч., 1, М., 1950, стр. 180.

²⁶ А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 1.

Теория системности грамматических форм в сочетании с идеей лексической относительности привела Потебню к утверждению системного характера языка вообще: «Язык, система,— говорил Потебня,— есть нечто упорядоченное, всякое явление его находится в связи с другими. Задача языкознания и состоит именно в уловлении этой связи, которая лишь в немногих случаях очевидна»²⁷.

Изучая внутреннюю синтаксическую структуру русского языка, Потебня сравнивает не отдельные синтаксические факты, а определенные синтаксические тенденции в родственных славянских языках.

Этот новый путь исторического и сравнительно-типологического изучения русского синтаксиса был развит акад. Ф. Е. Коршем в работе «Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса» (1877). Не отрицая возможности сопоставления синтаксических явлений в близкородственных языках, Корш особое значение придает изучению однородных синтаксических конструкций в языках разных типов, ибо такой путь исследования, по твердому убеждению Корша, «с большой ясностью и обстоятельностью» объясняет «развившееся данное употребление».

Наметившаяся в работах Потебни тенденция к становлению теоретического языкознания в России утверждается и развивается замечательными лингвистами-теоретиками — акад. Ф. Ф. Фортунатовым и чл.-корр. Академии наук И. А. Бодуэном де Куртенэ, которые вместе с Потебней были, по словам акад. Л. В. Щербы, «вождями лингвистической мысли у себя на родине»²⁸.

В общелингвистической теории Фортунатова следует отметить сложное взаимодействие исторической концепции и общей теории на психологической основе. Антилогическая направленность его теории приобретает вид психологизма и формализма. Психологизм Фортунатова, сложившийся под влиянием сеченовского понимания ассоциации как совокупности рефлексов, — тесно связанных с конкретным раздражителем и обусловленных суммой прежних воздействий, может быть понят как рефлексологический психологизм, в котором каждая предыдущая стадия восприятия есть психологический субъект для последующей, являющейся психологическим предикатом, т. е. определением предшествующей. Психологизм у Фортунатова проявляется в понимании речи; психологическое суждение, по Фортунатову, выражающееся в психологическом предложении, является психологическим актом коммуникации, а не языковой структурой. Когда же предложение грамматически оформлено, т. е. отношения между его компонентами выражены формально, оно становится языковым (по Фортунатову, грамматическим) предложением. Именно формы слов делают предложение полным грамматическим предложением. Синтаксическая концепция Фортунатова зиждется на учении о форме слова и вытекающем отсюда учении о форме словосочетания.

Форма слова выделяется Фортунатовым путем двойного сравнения, или противопоставления основных и формальных принадлежностей слова. Учение о форме слова позволило Фортунатову представить формо- и словообразовательные категории как микросистемы грамматической структуры. Выявление Фортунатовым формы слова и словосочетания из соотнесенности членов грамматической парадигмы, указание на необходимость принимать во внимание существующие в языке отношения, понятие нулевой флексии было тем новым в лингвистике, что отличало взгляды Фортунатова от предшествующей лингвистической традиции.

²⁷ А. А. Потебня, Психология поэтического и прозаического мышления, стр. 108.

²⁸ Л. В. Щерба, Ф. Ф. Фортунатов в истории науки о языке, ВЯ, 1963, 5, стр. 89.

Продолжая традиционную для русского языкознания тему взаимосвязи истории языка и истории общества, Фортунатов выдвинул тезис о связи истории общества с внешней и внутренней историей языка. Внешняя история, по мнению Фортунатова, определяется той тесной связью, которая существует между языком и обществом, а внутренняя история языка присуща индивидууму.

Сравнительно-историческое языкознание обязано Фортунатову разработкой важнейшего закона об акцентных соотношениях в индоевропейских языках, стимулировавшего исследования европейских языковедов в этой области. На материале балто-славянских языков Фортунатов установил наличие двух форм долгот — длительной и прерывистой, влияющих на тот или иной тип ударения. В работах Фортунатова «О сравнительной акцентологии литво-славянских языков» (1880), «Об ударении и долготе в балтийских языках» (1895) получила свое оформление классическая теория общеславянского и общеиндоевропейского ударения, характеризующаяся определенными соответствиями в балто-славянских и общеиндоевропейском языке: была установлена связь между дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями индоевропейского праязыка с краткими сонантами и циркумфлексной интонацией в балтийских и славянских языках.

По мнению Фортунатова, «сравнительное исследование по отношению к общему происхождению и историческое изучение тех же языков и их ветвей в отдельном существовании так неразлучно связаны между собою, что полное научное исследование индоевропейских языков может быть только сравнительно-историческим их исследованием»²⁹.

Этот впервые провозглашенный Фортунатовым синтез сравнительного и исторического изучения родственных языков положил конец господствовавшему до того времени сравнительному исследованию и явился определяющим в становлении сравнительно-исторического языкознания.

В исследовательской практике Фортунатова как компаративиста этот синтез проявился в том, что он обращал большое внимание на разработку методики реконструкции индоевропейского праязыка, изучение его звукового состава в историческом развитии, выявление и сравнение древнейших эпох в их развитии, первых моментов его обособления, а затем его состояния накануне распада на крупные диалектные группы.

Учение Фортунатова о внешней истории языка и социальной обусловленности его дифференциации нашло свое продолжение в работах акад. А. А. Шахматова, научно-исследовательская деятельность которого в области истории русского языка, современного русского языка, диалектологии была подчинена цели познания исторического процесса появления русского языка и народности.

Восприняв от Фортунатова принципы сравнительно-исторического изучения языка, Шахматов в своих фундаментальных «Исследованиях в области русской фонетики» (1894), «К истории звуков русского языка» (1903), особенно в «Очерке древнейшего периода истории русского языка» (1915), посвященного вопросам фонетики, пытается воссоздать общерусский праязык во всех его фонетических подробностях путем сравнительно-исторического сопоставления данных древних и современных русских диалектов, с привлечением данных других славянских языков.

Жизнь языка, говорил Шахматов, протекает параллельно и согласно с другими явлениями в жизни народной. Этот принцип отразился в работах Шахматова, посвященных проблеме возникновения русского народа и

²⁹ Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение. Литографический курс лекций, читанных в 1883/84 уч. г., стр. 43—44.

культуры в отражении языка и письменности, особенно в «Древнейших судьбах русского племени» (1919), где Шахматов прослеживает миграцию славянских племен, ее пути и т. д.

Рассмотрение культурно-исторических процессов развития русского народа в тесной связи с историей русского языка позволило Шахматову внести определенные коррективы в представления о политической жизни древней Руси.

Культуроведческий и сравнительно-исторический подход сочетался у Шахматова с интересом к общезыковедческим проблемам. В исследованиях по вопросу образования русского племени Шахматов выступает как социолог языка, исследующий язык в связи с социальными преобразованиями в обществе.

Синтаксическая концепция Шахматова, наиболее полно выраженная в «Синтаксисе русского языка» (1925), покоится на коммуниктивно-психологической теории. При общей психологической установке «Синтаксиса» Шахматова не удовлетворяет учение о психологических субъекте и предикате. В своей теории он исходит из того, что лингвистической реальностью является речевая деятельность, имеющая целью «сообщение другим людям состоявшегося в мышлении сочетания представлений»³⁰. А речевая деятельность в ее коммуникативной функции осуществляется в предложениях, являющимся первоосновой языка.

Теория «психологической коммуникации» Шахматова, при общем признании взаимосвязи языка и мышления, направлена на поиски той единицы мышления, которой соответствует предложение.

Одна из знаменательных страниц в истории русского языкознания конца XIX в. была написана чл.-корр. Академии наук И. А. Бодуэном де Куртенэ. «Он был одним из пионеров языкознания как науки в России, — писал о нем А. А. Шахматов. — Ему принадлежит приоритет в открытии, перевернувшем ход развития науки о языке, и имя его в иностранных учебниках цитируется как имя одного из основателей русской школы лингвистов»³¹.

К интерпретации языковых фактов Бодуэн де Куртенэ в ряде случаев подходил со стихийно-материалистических позиций. Бодуэн де Куртенэ определяет сущность языка с функциональной точки зрения, видя эту сущность в речевой деятельности, в речевом функционировании. Эта идея в дальнейшем была разработана пражскими лингвистами.

Развивая положение В. Гумбольдта о том, что язык как функциональная реальность является энергией, а не эргоном, в 1870 г. во вступительной лекции в Санкт-Петербургском университете («Некоторые общие замечания о языковедении и языке») Бодуэн де Куртенэ предложил выделить «речь человеческую вообще», отдельный язык и индивидуальный язык отдельного человека. Общеизвестно, что у Бодуэна де Куртенэ не было постоянного и единообразного понимания соотношения между языком и речью, но необходимо подчеркнуть, что язык и речь он рассматривал в тесном, взаимопроникающем единстве.

Бодуэн не только рассматривает язык как социальное явление (эта концепция в русском языкознании достаточно прочно закрепилась в конце XIX в.), но впервые обращает внимание на социальную дифференциацию языка, всячески подчеркивая тот факт, что существующие в обществе социальные связи обуславливают существование языка. По его мнению, языкознание как наука психологично-социологическая должно иметь не только теоретический, но и прикладной характер.

³⁰ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 19.

³¹ ЛО АН СССР, ф. 134, оп. 1, д. 429, л. 37.

Стремление раскрыть внутреннюю, содержательную сторону привело Бодуэна де Куртенэ к пониманию системы языка на основе принципа релятивности. Все части языка, по утверждению Бодуэна де Куртенэ, связаны между собой отношениями значения, формы, звучания. Бодуэн рассматривает систему языка как исторически изменчивую категорию, выделяя в языке микро- и макросистемы на различных уровнях языка. Понятие системности языка у Бодуэна де Куртенэ тесным образом связано с понятием языка как системы знаков, как совокупности «множества случайных символов, связанных самым различным образом»³².

Всю концепцию Бодуэна де Куртенэ пронизывает идея «эволюционного» подхода к языку, которое должно стать «основой лингвистического мышления». Вместе с тем для Бодуэна важно и изучение языка в данный момент его существования. К пониманию взаимоотношения динамики и статики Бодуэн де Куртенэ подходит диалектически: статика для него есть частный случай динамики.

Непримиримый к догматизму и всему рутинному, Бодуэн де Куртенэ впервые подвергает сомнению господствовавший в XIX в. сравнительно-исторический метод как единственный метод лингвистического исследования. Он требует также заменить морфологическую классификацию и выдвигает иные классификационные требования, которые основывались бы не на предвзятой, «сомнительной» идее об исторической последовательности языковых морфологических типов, а на выяснении сходства и различия в родственных и неродственных языках. Такой подход, по его словам, позволит обнаружить функциональные и структурно общие черты и различия в области фонетики и морфологии в родственных и неродственных языках. Бодуэна де Куртенэ с полным основанием можно назвать основоположником типологического изучения языков в России.

Его исследование в области фонологии во многом предопределили пути развития современных фонологических теорий, а комплекс рассмотренных им общелингвистических проблем нашел свое место в общем языкознании как теоретической дисциплине.

Типологические идеи Бодуэна де Куртенэ были продолжены его учеником — чл.-корр. Академии наук В. А. Богородицким, который наряду с генетическим сравнением языков выдвинул тезис об «аналогическом» их изучении, т. е. сравнении одинаковых явлений и в неродственных языках. Сравнение языковых явлений в родственных индоевропейских языках имело своей целью выяснение соответствий между этими языками; «аналогическое» же сравнение, по словам Богородицкого, заключается в систематическом и углубленном сравнении морфологических и синтаксических структур языков, принадлежащих к разным семьям. Богородицкий выступил против разобщенного изучения исторического развития и типологических исследований и стремился, как и Бодуэн де Куртенэ, к их объединению. Эта линия развития русского языкознания впоследствии была продолжена представителями пражского лингвистического кружка.

Свежие идеи Богородицкий внес и в, казалось бы, разработанную область компаративистики. Искусственность реконструируемых форм языка, плоскостной характер реконструкции побудили его заняться определением хронологической последовательности развития языковых фактов и их сравнением в отдельных группах языков в определенные моменты их исторического развития.

Приведенный выше по необходимости краткий обзор развития русского теоретического языкознания, в разработку которого внесли большой вклад

³² И. А. Бодуэн де Куртенэ. Избр. труды по общему языкознанию, 1, М., 1963, стр. 209.

выдающиеся отечественные деятели Академии, позволяет сделать некоторые общие выводы. Прежде всего, характерной особенностью русского языкознания в освещении общезыковедческой проблематики является философская направленность, которая предопределила синтезирующий подход к исследованию языка. При различном понимании роли индуктивных и дедуктивных методов исследования языка общим для всех русских лингвистов был подход к языку как деятельности. Существование языка русские языковеды мыслили как его развитие. Дихотомия статики и динамики пронизывала все их концепции. Язык определялся как один из феноменов, входящих в психическую деятельность человека. Поскольку человек является существом социальным, язык рассматривался с точки зрения выполняемой им коммуникативной функции. Понимание функциональной значимости языка приводило к членению его на непосредственно данную «речь» и «язык», т. е. систему правил языкотворчества, основанную на релятивных свойствах единиц языка.

Сравнительно-историческое изучение языков у русских языковедов связывалось с изучением собственно лингвистических, социальных, культурно-исторических и других явлений. Вопросы развития русского языка были неотделимы от вопросов появления русского народа. Истоки важнейших моментов лингвистической концепции современной теории языка — понимание языка как системы, его знакового характера, социальной обусловленности языка, разработка структурной типологии родственных и разнотемных языков, принцип историзма — прослеживаются уже в классическом русском языкознании XIX в.

Многосторонняя ориентация русских лингвистов, связанных с деятельностью Академии, находит свое продолжение в трудах советских языковедов уже на иной философской базе — теории марксизма-ленинизма, помогающей глубже исследовать «вечные» проблемы языка.

В. И. КОДУХОВ

РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В АКАДЕМИИ НАУК СССР

Развитие теории советского языкознания развертывалось, прежде всего, на базе лингвистических учреждений АН СССР. В первые годы советской власти ученые-языковеды работали в комиссиях Второго отделения Российской АН (особенно активны были словарная и диалектологическая комиссии), в Азиатском музее и в Яфетическом институте, организованном в 1921 г. акад. Н. Я. Марром. На их основе были созданы в 1930 г. Институт востоковедения АН СССР и в 1931 г. Институт языка и мышления (в его состав вошли Яфетический институт и Комиссия по изучению русского языка, с 1938 г. — Ленинградское отделение Института языка и письменности народов СССР). Позднее были образованы современные общесоюзные институты: Институт русского языка (1944), Институт славяноведения (1947)¹ и Институт языкознания (1950) АН СССР. В общесоюзных лингвистических институтах, в институтах и отделах союзных академий и филиалах академий автономных республик объединены крупнейшие специалисты различных лингвистических профилей.

Теория советского языкознания базируется на прочных марксистско-ленинских философских основах и на практике языкового строительства в нашей стране. Единство теории и практики — характерная особенность развития не только языкознания, но и советской науки вообще. Так, уже итоги работы первого года Академии наук СССР содержали вывод: «Основная задача правильно поставленной научной работы, это — найти равнодействующую между теорией и практикой; яркое отражение этого течения мы видим в работах наших членов, причем временами в них преобладает теория, временами — практика»².

Теория языка строится как обобщение богатейшего материала более или менее изученных и ранее почти не изученных языков нашей Родины. Следует при этом подчеркнуть, что теория советского языкознания в значительной степени возникла как продолжение традиций отечественного языкознания, опирающегося прежде всего на материалы русского и других славянских языков. Это — семасиологическая и грамматическая концепция А. А. Потебни, историко-сравнительные и грамматические исследования Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова и А. М. Пешковского, общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртене.

Более 100 языков народов СССР стали объектом лингвистических исследований. Накоплен и систематизирован богатейший фактографический материал русистики, который характеризует русский язык с разных сторон и который послужил основанием для широких теоретических построений и практических рекомендаций. Бурно развивается украинистика; значительны успехи советских языковедов в изучении белорусского языка. Несомненные достижения в области исследования других индоевропейских

¹ С 1968 г. — Институт славяноведения и балканистики АН СССР.

² «Отчет о деятельности АН СССР за 1926 год», Л., 1927, стр. III.

языков, распространенных на территории СССР, а также тюркских, кавказских, финно-угорских, палеоазиатских, тунгусо-маньчжурских, монгольских языков. Основой для теоретических обобщений послужило также исследование языков, которые распространены за пределами Советского Союза; в частности, развившаяся после Октябрьской революции германистика стала одним из ведущих разделов советского языкознания; получили освещение и другие индоевропейские языки, прежде всего романские и славянские, а также албанский язык. Вовлекались в орбиту исследований и теоретического обобщения материалы разнообразных языков, которые традиционно считались предметом востоковедения как комплексной науки.

Опора на разнообразный языковой материал и связь лингвистических исследований с задачами культурного строительства сделали теоретическое советское языкознание многоаспектным, сочетающим решение лингвистических вопросов с их широким социально-политическим и философским освещением.

Отличительной чертой теории советского языкознания является признание общественной природы языка, постановка и разработка проблем социолингвистики. В развитии социолингвистической теории большую роль сыграли работы Л. П. Якубинского, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, Н. Я. Марра, И. И. Мещанинова, Р. И. Аванесова, Р. А. Будагова, Ф. П. Филина, А. В. Десницкой, М. М. Гухман, Б. А. Серебrenникова, В. Н. Ярцевой, И. К. Белодеда, Ю. Д. Дешериева, И. Ф. Протченко и др.

Если, например, в американском языкознании социолингвистика приобрела права гражданства лишь в последние десятилетия и до сих пор несет на себе следы своего антропологического и бихевиористского происхождения, то советское теоретическое языкознание начиналось именно как социология языка, как социальная лингвистика. Ведущая роль социолингвистического аспекта в советском языкознании обусловлена не только самим пониманием природы языка и языкового феномена, но и связью лингвистической теории с насущными задачами культурного строительства, признанием активной роли науки в социалистическом обществе. Так, в первый год существования Института языка и мышления (он состоял тогда из трех отделов: научно-исследовательского, словарного и педагогического) была выработана программа деятельности, охватывающая как вопросы методологии лингвистики и истории языка, так и проблемы языкового строительства (в частности, вопросы терминологии, орфографии и лексикографии)³.

Круг проблем и задач, которые были поставлены и решены в советской социологии языка более чем за пятидесятилетний период, достаточно широк — начиная от установления предмета, разработки методологии и методики исследования и кончая вопросами преподавания языка. И хотя у советских ученых можно отметить различие в выборе проблем, аспектов разрабатываемых теорий и решении частных практических задач, следует, думается, утверждать как несомненный факт, что существует особое, советское социолингвистическое направление, оказывающее заметное влияние на развитие мирового языкознания, что не раз признавалось и признается зарубежными лингвистами.

Одной из важных и сильных сторон советской социолингвистики является создание и развитие теории языковой нормы и литературного языка. Литературный язык, как известно, в младограмматических и сосюррианских концепциях рассматривался как явление искусственное, противостоя-

³ См.: «Отчет о деятельности АН СССР в 1932 году», Л., 1934, стр. 203.

щее естественности народно-разговорных форм. Хотя идеи классовости и искусственности литературного языка и получили некоторое распространение среди советских языковедов, понимание литературного языка как главной языковой нормы и формы национальной культуры было ведущим в советском языкознании. Общекультурное значение имела борьба А. М. Горького за чистоту литературного языка как высшей формы общенародного языка, обработанного мастерами художественного слова.

Литературные языки народов Советского Союза стали не только предметом детального и глубокого изучения, но и кодификации. Реформируется, а для многих языков впервые создается письменность; публикуются нормативные грамматики и нормативно-толковые словари. Созданы нормативные грамматики не только русского, украинского и белорусского, грузинского и литовского языков, но и таких младописьменных языков, как нанайский, нивхский, чукотский, юкагирский, эскимосский и корякский. Почти для всех тюркских языков были созданы нормативные грамматики; это касается не только таких языков с большим числом их носителей, как узбекский, татарский, азербайджанский, казахский, чувашский, башкирский, туркменский, киргизский, но и языков с меньшим числом говорящих на них — якутского, тувинского, каракалпакского, уйгурского, кумыкского, карачаево-балкарского, гагаузского, а также ногайского, хакасского, алтайского, шорского, караимского.

Важную роль в нормализации литературных языков играют словари различных типов. В 1934—1940 гг. вышел в свет «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова; на его основе С. И. Ожегов составил однотомный словарь, систематически переиздававшийся; в 1957—1961 гг. публикуется «Словарь русского языка» (в четырех томах), а в 1948—1965 гг. — семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка». Изданы толковые словари ряда языков народов СССР — украинского, белорусского, чувашского, татарского, башкирского, казахского, туркменского, грузинского, латышского и некоторых других языков. Особенно богата советская лексикография двуязычными словарями (русско-национальными и национально-русскими). Широко издаются также специальные словари — терминологические, синонимические, фразеологические.

Опыт развития различных литературных языков в Советском Союзе и разработка теории литературного языка имеет большое теоретическое и практическое международное значение. В советской теории литературного языка была подчеркнута не только общелингвистическая, но и общественно-политическая значимость проблемы литературной нормы и культуры речи, показано многообразие путей формирования литературных языков и их стилей, взаимозависимость форм социальной общности людей и социальных типов языка, особенно языка народности и национального языка.

Советские языковеды на материале разных языков развили и углубили положение В. И. Ленина о том, что единство языка, его беспрепятственное развитие и закрепление в литературе является существенным условием формирования нации⁴. Было показано, что национальный язык может возникать на своей собственной, индивидуальной основе — как дальнейшее развитие и совершенствование языка народности, а также на базе общего для ряда народностей и наций языка. Этот путь образования национальных языков как вариантов общей языковой основы со своей функционально-стилевой системой для каждого и особыми взаимоотношениями с местными языками и диалектами так же естествен, как возникновение род-

⁴ См.: В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 25, стр. 258.

ственных языков или создание письменности при опоре на общую для ряда языков графику.

Было показано, что формирование литературного языка обуславливается, с одной стороны, традициями письменного языка и развитием его полифункциональности, а с другой стороны — связями литературно-книжного языка с разговорной речью. Оба этих аспекта получили достаточное освещение в теории языка. Различные типы соотношения новых литературных языков с письменной традицией, с языком художественной литературы и деловой письменности, роль мастеров культуры в развитии и совершенствовании литературного языка — все это и многое другое стало предметом новой лингвистической дисциплины — истории литературного языка; были разработаны принципы и методика исследования в этой области знаний; созданы очерки истории литературного языка ряда народов нашей страны.

Стали предметом фактологического и теоретического исследования разговорная речь, интердиалекты и диалекты, профессиональные и терминологические лексические системы. Особенно значительны успехи советской диалектологии. Созданы обобщающие труды по диалектологии многих языков, вышли в свет многочисленные монографические описания групп говоров и отдельных диалектных явлений, создан ряд диалектологических атласов и словарей. Так, опубликован «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (ч. 1—2, М., 1957), «Диалектологический атлас белорусского языка» (ч. 1—2, Минск, 1963), «Лингвистический атлас украинских народных говоров Закарпатской области УССР» (ч. 1—2, Ужгород, 1958—1960). Ведутся работы по составлению сводного лексического атласа русского языка, пробного общетюркского диалектологического атласа и национальных атласов тюркских языков СССР. Началась публикация сводного «Словаря русских народных говоров» (вып. 1—9, М.—Л., 1965—1972), издан ряд областных словарей русского, украинского языков, а также диалектологические словари башкирского, татарского, уйгурского, казахского, узбекского, азербайджанского и других языков.

Интенсивно и разносторонне в советской социолингвистике разрабатывается теория двуязычия как формы функционирования и развития языка. Обращается внимание не только на психофизические механизмы при двуязычии, но и на общественно-идеологический характер современного двуязычия, когда двуязычьи являются большие группы людей и целые народы. Эта проблема приобрела исключительную не только общелингвистическую, но и общественно-политическую актуальность в связи с возникновением новой исторической общности людей — советского народа и превращением русского языка в общий язык межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР. Изучение русского языка за рубежом нашей Родины выдвинуло страноведческий аспект в преподавании русского языка, разрабатываемый В. Г. Костомаровым и его коллегами, не только как проблему лингвопедагогики, но и социолингвистики. Вопросы интерференции получили в советском языкознании не только теоретическое освещение, но и практическое решение при составлении учебников русского языка как неродного и иностранного языка, сопоставительных грамматик и особенно двуязычных словарей.

Разносторонне представлен в советском языкознании содержательный (менталингвистический) аспект теории языка, исследование языка как действительного практического сознания, рассмотрение связей языка с мышлением, психической деятельностью, культурой. В разработке менталингвистической проблематики большая роль принадлежит работам В. Н. Волошинова, В. В. Виноградова; И. И. Мещанинова, В. И. Абаева,

С. Д. Кацнельсона, В. З. Панфилова; А. А. Леонтьева. Развитие менталингвистического аспекта теории языка осуществлялось в содружестве лингвистики с литературоведением и психологией, теорией познания и логикой, семиотикой и информатикой.

Теория эстетической цельности художественного текста сочеталась с учением о слове как идеологическом знаке. Язык художественного произведения исследовался не только как средоточие историко-культурных традиций, не только в плане связи стиля речи со стилями языка, но и как форма выражения идеологии, эстетического отражения действительности и эмоционального воздействия, как форма отражения личности автора.

Речевой акт изучался с точки зрения психофизических механизмов речи, целенаправленности и комплексности речевой деятельности, порождения и восприятия контекста (речевого отрезка). Структура речевого акта, имеющего обычно форму диалога, включает не только говорящего и собеседника, установление контактов между ними, но также и отношение их к передаваемой информации и ситуации речи. Все эти компоненты речевого акта и средства их выражения были подвергнуты специальному изучению. Было установлено, что процесс порождения речи начинается с семантического компонента, который влечет за собой формирование грамматической структуры высказывания и воплощение словоформ в звучащую цепь; процесс восприятия речи начинается, напротив, с восприятия звуков и форм. Особенно важным было установление того факта, что коммуникативный акт носит не только физиолого-психологический, но и социальный характер, так как говорящим и собеседником оказываются не некие идеальные индивидуумы, а реальные « типовые » говорящий и собеседник, владеющие общим языком с его стилевыми разновидностями и общей структурой передаваемых сообщений и контекстом культуры, которые принадлежат содержательной стороне языка и лишь реализуются в конкретной ситуации речи.

Интенсивно изучалась логическая природа лексического значения, семантики предложения и грамматической категории, членов предложения и частей речи. Исследование отношения лексического значения слова к понятию как форме мысли, к познанию и конкретному смыслу привело к выводу о том, что лексическое значение является логико-предметным и формальным содержанием слова (в смысле Потебни), отличным от его грамматического значения и того конкретного смысла, который возникает у слова в конкретных условиях речи, контекста и мыслительной деятельности. Языковая и конситуативная семантика стала предметом специального рассмотрения.

Семантика предложения в советском языкознании изучалась, с одной стороны, с точки зрения семантических функций частей речи и их форм, а с другой стороны — с точки зрения признания самостоятельности предложения как организационного центра грамматики. Позиционная структура предложения, его синтаксическая модель, обращена как к формам мысли, так и к формам языка, в том числе к морфологическим формам.

Семантика предложения сложна и многомерна. В ее состав входит: выражение цели высказывания (коммуникативной установки), включающей предложение в акт коммуникации; оценка содержания высказывания (с этим связаны модальные характеристики предложения); соотнесение с основной формой мысли — суждением (пропозицией); смысловая характеристика содержания высказывания (последнее связано не только с наличием морфологических форм языка, но и с группировками словарного состава языка по лексико-семантическим разрядам и группам).

Особенно детально и глубоко рассматриванию было подвергнуто логико-грамматическое содержание предложения. Было установлено, что

субъектно-предикатная основа предложения может быть вербализованной и невербализованной, свернутой и развернутой, при этом порождая двусоставные и односоставные предложения, одночленные фразы и распространенные предложения, которые обнаруживают иерархическую организацию. Несовпадение формально-грамматического, логико-грамматического и смыслового членения предложения стало, с одной стороны, предметом изучения при рассмотрении актуального членения предложения, а с другой стороны — предметом синтаксической типологии и синтаксиса текста.

В советском языкознании на большом фактическом материале разных языков продолжает разрабатываться морфологическая классификация языков; описаны флективный, агглютинативный, изолирующий и инкорпорирующий типы языков; уточнена и углублена сама теория агглютинации и инкорпорирования. Вместе с тем созданы основы типологии языков, опирающейся на семантические координаты.

Если стадияльно-типологическая характеристика языков Н. Я. Марра была поиском семантико-этимологических универсалий и универсальных артикуляционных моделей слогов, не подкрепленных достаточным фактическим материалом, то семантико-синтаксическая типология И. И. Мещанинова опиралась на признание универсальности субъектно-предикатных отношений при различной конкретно-морфологической выраженности их. Детальный анализ способов их выражения имел в итоге выделение трех последовательных стадий (посессивной, эргативной и номинативной) и последовательных путей трансформации, прослеживаемых на материале различных языков Советского Союза. В последних работах И. И. Мещанинов обратился к проблемам синхронной типологии, опирающейся на соотношение логики и грамматики, понятийных категорий и категорий языка, членов предложения и частей речи. С концепцией синтаксической типологии И. И. Мещанинова связаны прежде всего работы его учеников (В. З. Панфилова, П. Я. Скорика, Г. А. Меновщикова, О. П. Суника) и германистов С. Д. Кацнельсона, М. М. Гухман, А. В. Десницкой, В. Н. Ярцевой.

Существенным аспектом советского языкознания является разработка теории системы языка и развитие лингвистических дисциплин, изучающих ее. Были предприняты попытки создать теорию внутренней структуры языка на основе семиотических, уровневых, иерархических и общих системных представлений (А. А. Реформатский, В. М. Солнцев, С. К. Шаумян, Ю. С. Маслов, Т. В. Булыгина, Н. Д. Арутюнова, Г. А. Климов). Наряду с этим развивалась созданная Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым теория системы языка как единства ее компонентов, раскрывались особенности каждого компонента (яруса) системы языка, были открыты межъярусные связи, что привело, в частности, к выделению словообразования и фразеологии в качестве самостоятельных разделов лингвистики.

Слово как основная единица языка получило в теории языка многоаспектное истолкование с учетом присущих ему семантической и морфологической структур (т. е. как лексема и семантема, как форма слова и словообразовательная модель). Были обнаружены разносторонние связи слова с категориями мышления (а в плане номинативных функций — и с реалиями предметного мира), со стилями языка и сферами использования. Если в первые десятилетия послеоктябрьского периода преобладало социологическое и семантико-идеологическое изучение слов и их истории, то с конца 50-х годов на передний план выдвигается исследование внутриязыковых связей. Так, фразеологические единицы, сначала изучавшиеся как особенности «языка революционной эпохи» и языка отдельных писателей, благодаря работам В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, С. И. Ожегова, А. М. Бабкина и многих других языковедов стали исследоваться как особые лингвистические объекты, и фразеология превратилась в самостоятельную отрасль

знаний об аналитической номинации и семантической сочетаемости слов; было уточнено и углублено понимание фразеологизма и идиоматики, выявлены виды аналитических (составных) наименований, типы устойчивости составных единиц языка, мера их идиоматичности, описан фразеологический состав ряда языков.

Разрабатывается теория синонимии, полисемии, лексико-семантического варьирования слова, изучаются семантическая структура слова, лексико-семантические группы и разряды слов, распределение слов в тексте, устанавливаются вероятностно-статистические характеристики групп и классов слов. В работах В. В. Виноградова, Ф. П. Филина, А. А. Уфимцевой, Д. Н. Шмелева рассматривается статус лексико-семантической системы языка.

Понимание слова как основной единицы языка активизировало не только исследование функционирования форм слова в предложении и словосочетании, но и анализ внутреннего строения слова, его морфемного состава и морфологической структуры. Разработана методика морфемного анализа, создана типология морфем, выявлены типы основ слова (прежде всего — флективных языков). Особое внимание было уделено изучению словообразования, его места в системе языка, его средств и категорий — словообразовательных моделей, типов и гнезд. В развитии словообразовательной теории и практики словообразовательного анализа приняли участие В. В. Виноградов, Е. А. Земская, Э. В. Севортян, Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, В. В. Лопатин и И. С. Улуханов, П. А. Соболева.

Проделана большая теоретическая работа по фонологии. Значительный вклад в теорию фонемы и звукового строя языка внесли В. А. Богородицкий, Н. Ф. Яковлев, Л. В. Щерба, С. И. Бернштейн, Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский и др. Развитие общefonетической теории опиралось на многочисленные экспериментальные исследования современных языков и разработку вопросов исторической и сравнительно-исторической фонетики; достигнуты успехи в теории слога, ударения, интонации. Различное истолкование фонетических, функциональных и синтагматических сторон фонемы и звукового строя, выразившееся в спорах между ленинградской и московской фонологическими школами, не может заслонить главного — общих успехов, которые были достигнуты советскими учеными в разработке фонологической теории и в фонетических исследованиях.

Интенсивно развивалась грамматическая теория. Составление нормативных и исторических грамматик, с одной стороны, а с другой — общепhilosophическая направленность исследований и обоснование разных типов грамматик — все это сделало грамматическую теорию ареной острых теоретических дискуссий и все новых и новых поисков, принесших многие несомненные теоретические успехи. Исходя из разнообразия явлений и категорий грамматического строя языков различных систем, современная теория грамматики требует многоаспектного (многомерного) исследования формальных, семантических и функциональных свойств единиц грамматического строя. Одномерные и формализованные концепции, получившие некоторое распространение в советском языкознании, решают частные задачи, стоящие перед наукой о языке, и потому занимают в общей теории языка подчиненное место. Значительное влияние на развитие грамматической теории оказали труды А. А. Шахматова и А. М. Пешковского, Л. В. Щербы и В. В. Виноградова, И. И. Мещанинова, Н. К. Дмитриева, А. И. Смирницкого, В. Г. Адмони, Т. П. Ломтева, Н. С. Поспелова, Н. Ю. Шведовой. В последние десятилетия выполнен целый ряд исследований, анализирующих на высоком теоретическом уровне грамматические категории и конструкции разных языков.

В морфологической теории, кроме морфемного состава и структуры слова, получили дальнейшее освещение части речи и грамматические категории; предметом особого внимания языковедов стали глагол и местоимение. Попытки выделить в слове отдельные его стороны (фонетическую, семантическую, морфологическую, синтаксическую) как самостоятельные единицы и приурочить группировку слов по частям речи к одному определенному ярусу языка, усматривая сущность части речи или в словоизменительной парадигме или в синтаксических свойствах класса слов, хотя и внесли ряд уточнений в теорию частей речи, не изменили ее сути. При помощи частей речи, трактуемых как лексико-грамматические ряды слов, объединяемые на функциональной основе, лексика языка классифицируется по ряду признаков, причем набор этих признаков различен для разных языков и разных частей речи. Любое слово, оставаясь самим собой, принадлежит целиком той или иной части речи — знаменательной или служебной. Как представитель той или иной части речи слово, сохраняя свои конкретные свойства, включается в систему языка, отражая его периферийные или переходные особенности.

Неоднородность частей речи, представляющих собой открытые динамические микросистемы, объясняется не только различием в их назначении и набором свойственных им категорий, но и неоднородностью таких категорий (ср. категорию лица у существительных, местоимений и глаголов или категорию рода у существительных, прилагательных и личных глаголов в русском языке). Еще А. А. Шахматов и А. М. Пешковский отметили неоднородность грамматических категорий, свойственных нескольким частям речи. В дальнейшем было теоретически обосновано и аргументировано путем анализа многих категорий разных языков деление грамматических категорий, с одной стороны, на морфологические, синтаксические, лексико-грамматические, словообразовательные, а с другой стороны — на грамматические категории словоизменительного и классификационного типа. Получила теоретическое освещение семантическая структура категорий языка, строение морфологических парадигм; обнаружен «полевой» характер частей речи и их категорий; подверглось анализу взаимодействие морфологических, синтаксических и лексических средств при функционировании языка; возникло учение о лексико-грамматических полях и взаимодействии ярусов языка.

Центральным предметом синтаксической теории остается теория предложения. Наряду с изучением коммуникативно-содержательной стороны предложения, о чем уже шла речь, формально-конструктивная сторона предложения была подвергнута теоретическому исследованию, была проведена систематизация типов предложений. Были рассмотрены теории двувёршинной и одновёршинной основы предложения, варьирование и распространение основы и модели предложения, соотношение словоформ и позиций предложения (его членов); особое внимание было уделено связи предложения и словосочетания, как и самой теории словосочетания. Предметом разностороннего рассмотрения стало осложнение простого предложения и сложное предложение; сложное предложение, особенно сложноподчиненное предложение, исследовалось в теоретическом, историческом и сравнительно-историческом аспектах; были предприняты попытки количественно-статистического и стилистического изучения сложного предложения. Была открыта и подвергнута исследованию единица более широкая, чем сложное предложение, — сверхфразовое единство (сложное синтаксическое целое). Соотношение языковой единицы и текста приобрело большую теоретическую значимость.

Исторический аспект лингвистической теории предполагал разработку самого принципа историзма, включающего рассмотрение факторов и при-

чин варьирования и трансформации языковых норм, социальной обусловленности истории языка, общих и частных законов развития языка. Общими законами были признаны такие общие свойства языков, как наличие последовательных исторических форм языка, представляющих собой совершенствование и развертывание предшествующей основы; несоответствие материальной и идеальной (содержательной) сторон языка, причем именно содержательная сторона единиц и категорий языка исторически и функционально соотносена с мышлением и сознанием; сохранение трех основных типов единиц языка (звуков, слов и предложений) и в связи с этим различные закономерностей и темпов изменения отдельных ярусов языковой системы, их историческое взаимодействие.

Наряду с историческим пониманием общих законов развития языка в теоретическом языкознании получила распространение логическая интерпретация их. В этом случае общее понимается как некий инвариант, абстрактный язык-эталон, универсальная модель естественных языков, представляющая собой набор универсальных характеристик языка, систематизированных и логически упорядоченных. Развитие понимается при этом как варьирование и реализация универсальных свойств языка; типовые модификации и составляют общие законы развития, причем лингвистика универсалий интересуется не только общими (тривиальными), но и единичными случаями, исключениями из универсальных закономерностей.

Историческое и логическое понимание общих законов развития было распространено не только на историю конкретных языков, но и на их современное функционирование, на описание порождения речи и реализацию абстрактных образцов в контексте.

Однако частные внутренние законы понимались и понимаются не столько как конкретные реализации, проявление общего в частном, сколько как формулы исторического развития отдельных ярусов языковой системы, характеризующие отдельные языки и группы родственных языков. Созданы исторические грамматики ряда языков.

Новой отраслью знаний стала дешифровка памятников, представленная, например, работой Н. А. Невского «Тангутская филология» (кн. 1—2, М., 1960); развивается лингвистическое источниковедение. Ведутся работы по составлению и публикации этимологических словарей ряда языков (восточнославянских, картвельских, осетинского, тюркских и чувашского, в частности, коми и некоторых других).

Ведущим разделом сравнительно-исторического языкознания является индоевропеистика, а внутри нее — славистика и германистика. Советское сравнительно-историческое славянское языкознание обязано своими успехами прежде всего А. М. Селищеву, Г. А. Ильинскому, Е. Ф. Карскому, Л. А. Булаховскому, С. П. Обнорскому, Б. А. Ларину, П. С. Кузнецову, Т. П. Ломтеву, Р. И. Аванесову, С. Б. Бернштейну, В. И. Борковскому, Ф. П. Филину, О. Н. Трубачеву, А. С. Мельничуку, В. В. Иванову. В развитии сравнительно-исторического германского языкознания большая роль принадлежит работам В. М. Жирмунского, М. М. Гухман, А. В. Десницкой, С. Д. Кацнельсона, Э. А. Макаева, М. И. Стеблин-Каменского, В. Н. Ярцевой.

Несомненным достижением сравнительно-исторического языкознания является вовлечение в сферу исследования все новых и новых языков, новых семей и групп родственных языков — финно-угорских, кавказских, тюркских, а также тунгусо-маньчжурских и монгольских. Существенные изменения претерпела сама теория и методика сравнительно-исторических исследований. Пересматривается структура индоевропейского корня, стали предметом изучения синтаксис и лексика — не столько корнеслов сам по себе, сколько целостные лексико-семантические группы и словообразо-

вательные модели и гнезда. Все более и более внедряется принцип историзма в сравнительно-исторические исследования, которые в то же время сближаются с ареальными и типологическими исследованиями. Разрабатывается проблематика диалектного членения и периодизации праязыка, проблема языковых союзов. Исследование связей между большими языковыми семьями, обнаруживающими типологическое и материальное сходство, а следовательно, возможно, и родство, ставит проблему ностратических языков.

Значительное место в развитии советского теоретического языкознания занимала проблематика метаязыка и методов лингвистического анализа. Философская сторона проблемы состояла в рассмотрении взаимоотношений между объектом и субъектом познания, между предметными (онтологическими) и методическими (операциональными) знаниями, индуктивной и дедуктивной теорией, между процессом экстраполяции представлений разных наук и спецификой лингвистической теории. Было выяснено, что эмпирические и теоретические знания дополняют друг друга и не могут входить в конфликт друг с другом без разрушения статуса данной науки, что методические (операциональные) знания необходимы не сами по себе, а только постольку, поскольку они помогают более глубоко и эффективно познать изучаемый объект. Всякий конкретный прием исследования имеет границы своего эффективного применения, поскольку научно-исследовательский метод и методический прием определяются спецификой объекта и целью исследования. Лингвистика располагает системой научно-исследовательских методов, приемов и методик, позволяющих широко и глубоко познавать такое сложное явление, как язык.

Теоретическое рассмотрение проблемы методов лингвистики сопровождалось развитием и совершенствованием приемов и методик лингвистического исследования и описания языка. С одной стороны, развивались методики описательного и сравнительно-исторического метода, базирующиеся на предметных представлениях, моделях-образцах; сама методическая процедура была усовершенствована, логически уточнена и впитала в себя различные методики теории парадигм и синтагм, преобразований и количественных характеристик.

С другой стороны, получили развитие методики исследования и описания языка, опирающиеся на абстрактно-логические представления, модели-конструкты; сама методическая процедура стала включать символику математической логики, алгебраические и статистические формулы, а также геометрическую наглядность в виде таблиц (матриц), векторных диаграмм (графов), кубических чертежей и различных графиков.

Языковая система в этих исследованиях предстает как различные уровни абстрагирования, интегрирования и трансформирования, а языковая семантика — как логическая или знаковая ситуация. Так, аппликативная порождающая модель Шаумяна — Соболевой исходит из понимания языка как логико-математической системы, построенной посредством гипотетико-дедуктивного метода и формализованной трансформационной методики; сама аппликация понимается как бинарная операция в смысле комбинаторной математической логики Х. Б. Карри и Р. Фейса.

Внесение в лингвистику логико-математических, статистических и семиотических идей и методик ставит не только вопросы разумного обогащения лингвистической методики, но и проблему статуса математической лингвистики и лингвосемиотики. Эта проблема остается дискуссионной, и ее решение зависит от развития лингвистической теории и практики лингвистических исследований. Во всяком случае, утверждение, что язык есть знаковая система, еще не определяет предмета лингвосемиотики. Во-первых, из этого утверждения иногда делается вывод, что лингвистика яв-

ляется частью семиотики, и это лишает самостоятельности не только лингвосемиотику, но и саму лингвистику. Во-вторых, добавление, что естественный язык является знаковой системой особого рода, хотя и правильно обособляет лингвосемиотику от общей семиотики, все-таки не определяет предмета и метода лингвосемиотики, поскольку в термины «знак», «система», «особый род» вкладывается разный, иногда противоположный смысл, ввиду чего не представляется возможности объединить разные точки зрения в пределах одной школы как представляющие одну научную дисциплину, которая имеет свой предмет изучения и свои общие исходные основания.

Возникновение новой методической проблематики вызвано также появлением инженерной лингвистики, в ведение которой входит инструментальная фонетика, обучающие машины, использование ЭВМ для нужд автоматического перевода и составление частотных словарей и вообще вопросы автоматизации лингвистических работ и создания поисковых информационных систем. В этой области знаний уже получены некоторые теоретические и практические результаты, однако они в свою очередь породили новые задачи, решение которых зависит не только от анализа методических и технических вопросов, но и более глубокого рассмотрения самой лингвистической теории.

Так, машинный перевод является научным поиском, охватывающим три разных аспекта: теоретико-лингвистический, логико-математический и инженерно-технический. Теоретические проблемы, вызванные МП, не могут изменить общей теории языка, поскольку являются для нее частными. Решение задачи «текст — смысл» как проблемы преобразования текстовых показателей в логически упорядоченные единицы и категории, интерпретированные при помощи той или иной логико-математической системы и доведенные до уровня технической логики, обеспечивающей то или иное программирование и ввод в машину, исключает из исследования языковую норму как средство общения, заменяя ее логическим языком. Понимание языка как логической схемы, а текста как логического контекста помогает решать лишь вопросы перекодирования и не снимает проблемы порождения текста и понимания его.

Возникают трудности и иного, технического порядка, упирающиеся в возможности техники и различие машинного и человеческого языка⁵. Остается лишь пожелать, чтобы трудности семантического автоматического перевода и машинного перевода скорее были преодолены совместными усилиями, а инженерная лингвистика из периода мысленного и лабораторного эксперимента вступила в период производственный.

В обзорной статье не представляется возможным рассмотреть все важнейшие проблемы теории языка и тем более осветить своеобразие концепций отдельных ученых и целых лингвистических школ. Подчеркнем лишь, что при всей многоаспектности советского теоретического языкознания и наличии исследовательского своеобразия отдельных ученых и лингвистических школ советское языкознание едино по своим философским основаниям, по вниманию к социальному аспекту и разнообразию конкретного материала, по интересу к содержательной и функциональной стороне языка при учете его формальных и системных особенностей, по постоянным поискам доказательных и эффективных приемов и методик исследования.

⁵ См., например: Р. Г. П и о т р о в с к и й, Машинный перевод, сб. «Проблемы структурной лингвистики. 1971», М., 1972, стр. 525.

А. Н. КОНОНОВ

ТЮРКСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В АКАДЕМИИ НАУК

Значение тюркского языкознания и других тюркологических дисциплин для советской науки определяется важными, государственного значения, факторами: тюркские языки в СССР по численности говорящего на них населения занимают второе место после славянских языков; по данным Всесоюзной переписи населения 1970 г., в Советском Союзе представлено 25 тюркских языков, на которых говорят 32,4 млн. человек¹.

Тюркские языки являются родными для коренного населения пяти союзных республик (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан), шести автономных республик (Башкирия, Каракалпакия, Татария, Тува, Чувашия, Якутия), двух автономных областей (Горно-Алтайская, Хакасская). Часть населения Дагестанской АССР (кумыки, ногайцы), Кабардино-Балкарской АССР, Карачаево-Черкесской автономной области (балкары, карачаевцы, ногайцы), Ставропольского края (ногайцы, трухмены), Молдавской ССР (гагаузы), Нахичеванской АССР (азербайджанцы), а также караимы (Литовская ССР, Украинская ССР), урумы (Донецкая обл., Грузинская ССР), крымчаки (Крым и др.) говорят на тюркских языках.

Научному изучению тюркских языков в России предшествовал многовековой период практического освоения тюркских языков, что нашло яркое выражение в общеупотребительной лексике, хозяйственной терминологии (животноводство, соколиная охота и т. п.)², а также в некоторых деталях быта, обычаев, посольского церемониала и т. п.³

Первые поселения печенегов, торков и берендеев на русской земле датируются 1080—1097 гг.⁴; эти тюркские племенные объединения позднее входили в состав Киевского государства на правах его граждан⁵. Постепенно возникали смешанные русско-тюркские поселения, что естественно приводило к приобщению тюрок к христианской вере⁶ и заключению смешанных браков. В русских летописях сохранились многочисленные свидетельства как мирных, союзнических связей, так и остро

¹ Всего в мире 36 тюркоязычных народов общей численностью 62 448 000 чел. («Население мира», М., 1965, стр. 240).

² Иностранные слова, в том числе и тюркские, в русском языке издавна были предметом пытливого внимания русских людей, см.: М. П. Алексеев, Словари иностранных языков в русском азбучковнике XVII века, Л., 1968. Тема «Тюркизмы в русском языке» с давних пор является традиционной в русской тюркологии.

³ Н. И. Веселовский, Пережитки некоторых татарских обычаев у русских, «Живая старина», 1912, кн. I, стр. 27—38; е го ж е, Татарское влияние на русский посольский церемониал в Московский период русской истории, СПб., 1911. А. К. Толстой в трагедии «Царь Борис», описывая придворный церемониал, отмечает: «... державы христианской Азийский блеск».

⁴ Д. А. Р а с о в с к и й, Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии, «Seminarium Kondakovianum», VI, Прага, 1933, стр. 10—11.

⁵ Б. Д. Греков, Киевская Русь, М., 1949, стр. 466.

⁶ С. А. П л е т н е в а, Печенеги, тюрки и половцы в южнорусских степях, «Материалы и исследования по археологии СССР», 62, 1958, стр. 194, 205. В опере А. П. Бородина «Князь Игорь», в соответствии с исторической действительностью, выведен «Овлур, крещенный половчанин».

враждебных отношений между русскими и тюрками⁷. Многовековое взаимодействие русских и тюрков оставило заметный след в лексике, обычаях и культуре тех и других народов.

Практическое знание тюркских языков и этнографии тюркских народов, возникновение во второй половине XIII в. новой профессии — устных переводчиков с тюркских языков, толмачей (< др.-тюрк. *тылмачы*; ср. чув. *тӓлмач*), явилось одним из устоев, на котором позднее развилась новая научная дисциплина — тюркология.

Зарождение научного востоковедения, в том числе одного из его разделов — тюркологии, связано с энергичной деятельностью Петра I⁸, который в 1716 г. отправил молодых людей в Персию «для учения языкам турецкому, арабскому и персидскому»⁹; в 1724 г. была отобрана вторая группа из четырех человек «для посылки в Царьград ради обучения турецкого языка»¹⁰. 28 января 1724 г. Петр I «указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатым художествам и переводили б книги»¹¹.

В составе первых российских академиков был востоковед Г.-З. Байер (1694—1738), который по обычаю того времени занимался многими восточными языками: китайским, монгольским, маньчжурским, тибетским, санскритом, сирийским¹².

Г.-З. Байер с его вниманием к восточным языкам не мог пройти мимо языков тюркской семьи, широко представленных в границах России. Ему принадлежит первый опыт перевода на латинский язык отрывка из широко известного теперь труда Абу-л-Гази (1603—1664) «Родословная тюрков»¹³. Имя Байера упоминается также в истории изучения тюркских рунических надписей, открытых в бассейне верхнего Енисея¹⁴.

В связи с собиранием и публикацией енисейских рунических памятников должен быть упомянут также профессор естественной истории, академик (с 1767 г.) П. С. Паллас (1741—1811), издавший несколько рунических памятников¹⁵ и вошедший в историю русской лексикографии как редактор первого издания «Сравнительных словарей всех языков и наречий».

Академия наук, стремившаяся использовать знания и опыт ученых, не состоявших в ее штате, в 1735 г. пригласила для разбора, описания и составления каталога хранившихся в Кунсткамере «татарских»¹⁶ монет Г. Я. Кера (1692—1740), переводчика Коллегии иностранных дел, которому было вменено в обязанность обучать русских молодых людей «ориентальным языкам», в связи с чем ему было присвоено звание «император-

⁷ Подробнее об этом см.: А. Н. К о н о н о в, История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период, Л., 1972, стр. 11—14.

⁸ Подробнее см.: С. К. Б у л и ч, Очерки истории языкознания в России, I (XIII в. — 1825 г.), СПб., 1904, стр. 190—203.

⁹ «Полн. собр. законов Российской империи с 1649 г.», V, № 2978.

¹⁰ П. И в а н о в, Дополнительные сведения о распоряжениях Петра Великого для обучения русских восточным языкам, «Вестн. Русск. географич. об-ва», 1853, ч. 8, стр. 170—171.

¹¹ Г. А. К н я з е в, А. В. К о л ь ц о в, Краткий очерк истории Академии наук СССР, М.—Л., 1957, стр. 10.

¹² С. К. Б у л и ч, указ. соч., стр. 219—220; П. П. П е к а р с к и й, История имп. Академии наук в Петербурге, I, СПб., 1870, стр. 186.

¹³ Подробнее см.: А. Н. К о н о н о в, указ. соч., стр. 58—69.

¹⁴ А. Н. Б е р н ш т а м, Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрков VI—VIII веков, М.—Л., 1946, стр. 13.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Об этом термине см.: Г. Ф. Б л а г о в а, О русском наименовании тюрков и тюркских языков, «Советская тюркология», 1973, 4.

ский профессор восточных языков». Г. Я. Кер, добросовестно выполнивший указанное поручение Академии наук¹⁷, принимал деятельное участие в ее научной жизни, выступая с докладами.

В истории тюркологии Г. Я. Кер оставил по себе благодарную память тем, что собственноручно снял копию с не дошедшего до нашего времени списка 1714 г. известного сочинения основателя династии Великих Моголов Захир ад-дина Бабура (1482—1530), «Бабур-наме — Записки Бабур-на»; эта керовская копия была использована Н. И. Ильминским при типографском издании этого важного исторического памятника¹⁸. Не прошло мимо внимания пытливого Кера и другое важное историческое сочинение — «Родословная тюрков»; архивы сохранили рукописную копию этого сочинения, принадлежащую перу Кера (ЦГАДА, ф. 181, № 1459) и его перевод на немецкий язык (Архив востоковедов ЛО ИВ АН СССР).

Г. Я. Кер точно определил задачи, стоявшие в то время перед русским востоковедением, о чем со всей очевидностью свидетельствует составленный им проект «Академии, или Общества восточных наук и языков на благо и во славу Российской Империи»¹⁹.

После того, как скончались один за другим востоковеды Г.-З. Байер (1738) и Г. Я. Кер (1740), в Академии наук «ни одного азиатским языкам искусного человека не осталось»²⁰. Новый «Регламент имп. Академии наук и художеств в Санктпетербурге» от 24 июля 1747 г., согласно которому гуманитарные науки из Академии наук переводились в Академический университет, надолго лишил русское востоковедение права быть представленным в высшем научном учреждении страны.

В течение XVIII в. Академия наук снарядила, снабдила инструкциями и отправила в Сибирь, Поволжье и на Кавказ ряд экспедиций с целью всестороннего научного обследования этих районов; в инструкциях стоявшим во главе этих экспедиций ученым-натуралистам в качестве обязательных заданий предписывалось собирать лингвистического, этнографического и археологического материалов, благодаря чему был собран большой материал по разным языкам, в том числе и тюркским.

Пионером сопоставительного языковедения в России первой половины XVIII столетия, инициатором составления «Российско-татарско-калмыцкого словаря» (находится в Рукописном отделе Библиотеки АН СССР, Ленинград), основателем Татарско-калмыцкой школы в Оренбурге с целью «приготовления переводчиков этих языков», составителем выдающегося лексикографического труда «Лексикон Российский исторический, географический, политический и гражданский» (А — К, СПб., 1793), автором «Истории Российской» и трактата «Разговор о пользе наук и училищ» был В. Н. Татищев (1686—1750)²¹, выдающийся государственный деятель и ученый.

«Лексикон» В. Н. Татищева, являющийся по сути дела энциклопедией, представляет исключительный тюркологический интерес своим объяснением многих восточных, преимущественно тюркских этнонимов, топонимов, географических, исторических, этнографических терминов; это обстоятельство, равно как и проявленное В. Н. Татищевым внимание

¹⁷ В. Г. Тизенгаузен, Обзор совершенных в России трудов по восточной нумизматике, СПб., 1878, стр. 3—4, 17.

¹⁸ Подробнее см.: Г. Ф. Б л а г о в а, К истории изучения *Бабур-наме* в России, «Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А. Н. Кононова», М., 1966.

¹⁹ См.: А. Н. К о н о н о в, указ. соч., стр. 37—45.

²⁰ И. Ю. К р а ч к о в с к и й, Очерки по истории русской арабистики, М.—Л., 1950, стр. 49.

²¹ О филологических воззрениях В. Н. Татищева см.: А. П. А в е р ь я н о в а, В. Н. Татищев как филолог, «Вестник ЛГУ», 1950, 7, стр. 45—57.

к «Родословной тюрк» Абу-л-Гази²², дает основание считать его одним из первых русских историков и филологов, обладавшим солидными познаниями и в специальных областях тюркологии. Практическая и научная деятельность В. Н. Татищева, лингвистические идеи М. В. Ломоносова (1711—1765), автора «Российской грамматики», оказали глубокое влияние на весь ход изучения как русского, так и других языков тогдашней России.

Екатерина II проявляла интерес к составлению «Всеобщего словаря», в связи с чем собиранию лексического материала по языкам народов России был придан официальный характер. 26 августа 1784 г. во все епархии Российской империи был разослан указ, предписывающий составлять «словари языков инородческих народов, обитающих в каждой данной епархии»; соответствующие инструкции были направлены также и за границу, в русские дипломатические миссии.

В результате усилий многих корреспондентов и выдающейся научно-организационной деятельности академика-натуралиста П. С. Палласа был издан труд, носивший по обычаю того времени замысловатое название: «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей особы. Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки. Часть первая, в Санктпетербурге, 1787 года». Словник Словаря содержит 285 русских слов, переведенных на 200 языков: европейских — 51, азиатских — 149. Часть вторая (СПб., 1789) содержит лексику африканских и американских языков. В первой части представлен лексический материал девятнадцати тюркских языков и диалектов.

Непрерывно поступающий лексический материал дал возможность быстро подготовить новое издание Словаря, осуществленное по иному плану под редакцией Ф. И. Янковича де Мириево: «Сравнительный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку расположенный» (4 части. СПб., 1790—1791). Это издание содержит материал 279 языков: азиатских — 171, европейских — 55, африканских — 30, американских — 23. К тюркским языкам и наречиям добавлены «татарский в Таврической области, кумыцкий в Дагестане, койбальский, моторский и чувашский» (последний в Словаре Палласа ошибочно назван в числе финских языков). Эти два словаря сыграли важную роль в развитии сопоставительного языкознания в России и в Западной Европе, в частности, они были использованы в известной работе по общему языкознанию И. Хр. Аделунга²³.

Собирание лексических материалов для названных выше словарей явилось стимулом для составления на местах тюркско-русских и русско-тюркских лексиконов. К числу крупнейших лексикографических опытов, непосредственно связанных с подготовкой и сбором материалов для словарей Палласа и Янковича де Мириево, является известный тюркологам «Словарь языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих, имянно Россиян, Татар, Чувашей, Мордвы и Черемис... под присмотром преосвященного Дамаскина, епископа Нижегородского и Алаторского, сочиненной 1785 года». Сохранилось два рукописных экземпляра этого словаря²⁴. Тем же 1785 г. датируется еще два рукописных лексикона: «Русско-татарский словарь» Сагита Хальфина, первого учителя татарско-

²² Подробнее см.: А. Н. К о н о н о в, указ соч., стр. 62—63.

²³ J. Ch. Adelung, Mithridates oder allgemeine Sprachkunde ..., I. Thl., Berlin, 1806 (о тюркских языках см. раздел: «Turkisch-tatarischen Sprach-und Völkerstamm», стр. 453—497).

²⁴ См.: М. И. З е в а к и н, А. К. И м я р е к о в, Пятиязычный «инородческий» словарь 1785 г., ИАН ОЛЯ, 1949, 5.

го языка в Казанской гимназии, и анонимный «Словарь языка чувашского».

25 июля 1803 г. был утвержден новый «Регламент имп. Академии наук», по которому изъяты из ведения Академии наук по Регламенту 1747 г. гуманитарные науки — «история, статистика и экономия политическая» — вновь заняли там подобающее им место.

На основании нового Регламента, хотя в нем ни слова не было сказано о востоковедении, в число адъюнктов Академии наук был зачислен с 1 сентября 1804 г. (с 1807 г. — экстраординарный академик) немецкий ориенталист Г.-Ю. Клапрот (1783—1835), который за свое семилетнее пребывание в России собрал и опубликовал, в числе прочего, материалы по этнографии и языкам ряда тюркских народов; однако его деятельность в русском востоковедении не оставила сколько-нибудь заметного следа.

Чрезвычайно любопытной фигурой в истории отечественной тюркологии является первый член-корреспондент Академии наук по разряду восточной словесности и древностей, избранный в 1810 г., «чиновник горной службы в Барнауле» Г. И. Спасский (1783—1864). Историк Сибири и Черноморского края, тюрколог-автодидакт, собиравший лексический материал по ряду тюркских языков Сибири (теперь опубликованный), он был автором статьи «Древности Сибири», сыгравшей важную роль в истории изучения тюркских рунических памятников; издателем журналов «Сибирский Вестник» (СПб., 1818—1824), «Азиатский Вестник» (СПб., 1825—1827).

Особое место в истории востоковедения в России занимает Азиатский музей Академии наук (1818—1930)²⁵. Первым директором его был ординарный академик по разряду восточных древностей (с 24 сентября 1817 г.) Х. Д. Френ (1782—1851)²⁶, арабист, оставивший заметный след в истории тюркологии систематизацией и описанием тюркских рукописей и нумизматического материала, рядом статей по истории тюркских народов и изданием в содружестве с Ибрагимом Хальфиным оригинального текста известного сочинения Абу-л-Гази «Родословная тюрков».

Первым адъюнктом по тюркским языкам в Академии наук (с июня 1818 г. по июль 1819 г.) был ученик Х. Д. Френа Я. О. Ярцов (1792—1861), молодой тюрколог, подававший большие надежды, но сменивший тернистый путь ученого на карьеру драгомана МИД.

На основании Дополнительных пунктов (от 30 января 1830 г.) к Регламенту 1803 г. для «истории и словесности азиатских народов» было выделено два места в Академии, а в «Уставе имп. Санктпетербургской Академии наук» (от 8 января 1836 г.) в числе наук, «усовершенствованием коих Академия должна заниматься», значатся «восточная словесность и древности» (§ 4).

Востоковедение в XVIII в. в силу специфичности исследовательского материала и слабой его изученности должно было быть уделом филологов-энциклопедистов, владевших рядом восточных языков и работавших в обширной области «восточной словесности и древностей», т. е. занимавшихся исследованием языков, литератур, истории и этнографии народов Востока.

Примерно с середины XIX в. в Академии, а также и за ее пределами, в русском востоковедении в недрах все развивающейся восточной филологии зарождается новая самостоятельная дисциплина — восточное языко-

²⁵ См.: «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР», М., 1972.

²⁶ Литературу о Френе см.: «Очерки по истории русского востоковедения», сб. II, М., 1956, стр. 506—507.

знание, наиболее яркими представителями которой были О. Н. Бётлингк, М. А. Кастрен, А. А. Шифнер, В. В. Радлов, К. Г. Залеман, П. М. Мелиоранский.

Первым русским тюркологом-лингвистом был И. И. Гиганов (ум. в 1800 г.). Его труд «Грамматика татарского языка... в Санктпетербурге при имп. Академии наук, 1801 года» (188 стр.), отмеченный благотворным влиянием «Российской грамматики» М. В. Ломоносова, является первым опытом сопоставительного анализа грамматического строя татарского языка (тобольское наречие) с привлечением данных киргизского и турецкого языков. В ближайшие десятилетия за этой книгой последовали ряд грамматик и словарей татарского, чувашского и турецкого языков, однако ни одна из них не превзошла труда И. И. Гиганова.

Новым этапом в истории тюркского языкознания явилась удостоенная Демидовской премии «Общая грамматика турецко-татарского языка» (Казань, 1846) Мирзы А. Казем-Бека (1802—1870)²⁷, члена-корреспондента Академии наук; это — второе издание, «исправленное и обогащенное многими новыми филологическими исследованиями автора», ранее опубликованной им книги «Грамматика турецко-татарского языка» (Казань, 1839).

«Общая грамматика» Казем-Бека является сравнительной грамматикой турецкого и «татарских» языков, т. е. ряда тюркских языков: казанско-татарского, азербайджанского и некоторых других; более того, автор нередко прибегает к аналогиям из монгольского языка, используя для этого известную грамматику монгольского языка О. Ковалевского.

Многими изучавшими научное творчество М. А. Казем-Бека отмечалось, что он соединял в себе европейскую ученость с ученостью восточной, арабской по языку. Это сложное переплетение научных традиций и исследовательских приемов, пожалуй, наиболее полно воплотилось в его «Общей грамматике», в которой отчетливо ощущается влияние лингвистических идей М. В. Ломоносова, причудливо сочетающихся с латинской схемой турецкой грамматики француза А. Жобера (1779—1847)²⁸, которая, по словам самого Казем-Бека, явилась основой его труда в первом издании. Если к этому добавить привычную ему со школьных лет арабскую грамматическую схему²⁹, то получится довольно полное представление о грамматической эрудиции и навыках Казем-Бека.

«Общая грамматика» М. А. Казем-Бека, получившая многочисленные, в общем, одобрительные отзывы (И. Н. Березин, В. В. Григорьев, Б. А. Дорн, О. Н. Бётлингк и др.) и переведенная на немецкий язык Ю.-Т. Ценкером (Лейпциг, 1848), надолго стала основным пособием для изучения турецкого языка как в России, так и в Западной Европе.

Особая страница в истории тюркологии в России должна быть отведена знаменитому санскритологу и выдающемуся тюркологу академику О. Н. Бётлингку (1815—1904), автору исследования «Über die Sprache der Jakuten» (St.-Pb., 1851), сохранившего свое значение и поныне³⁰.

Труд Бётлингка, опирающийся на все известные в ту пору исследования по тюркскому и монгольскому языкознанию, базируется на прочных основаниях передовых лингвистических воззрений того времени. Несмотря

²⁷ См.: А. Р з а е в, Мирза Казем-Бек, Баку, 1965.

²⁸ A. P. J a u b e r t, *Éléments de la grammaire turque...*, Paris, 1823 (2. éd.—Paris, 1833).

²⁹ М. А. Казем-Бек пользовался арабской грамматической терминологией; в русскую практику, вероятно, он первый ввел арабский термин *izâfâ* «изафет» («Общая грамматика ...», стр. 374, § 54).

³⁰ Подробнее см.: сб. «О. Н. Бётлингк и его труд „О языке якутов“», Якутск, 1973

ря на свое, как теперь все признают, выдающееся научное значение, Якутская грамматика Бётлингга оказала весьма незначительное влияние на развитие общей тюркологии в России в сравнении с тем преобладающим воздействием, которое она произвела на якутское языкознание³¹.

Общелингвистические идеи О. Н. Бётлингга, изложенные в Якутской грамматике, в применении к тюркологическому материалу нашли отражение в трудах В. В. Радлова, среди которых в этой связи следует в первую очередь назвать его «Phonetik der nördlichen Türksprachen» (Leipzig, 1882) и «Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen» (St.-Pb., 1908).

В этих условиях показательным признанием составителей известной, до сих пор сохраняющей в определенной степени свое значение «Грамматики алтайского языка» (Казань, 1869): «Для разъяснения внутреннего значения форм весьма полезным и единственным (разрядка наша. — А. К.) пособием служила нам Грамматика монгольско-калмыцкого языка Бобровникова» (стр. VII), которая была издана в 1849 г. в Казани.

П. М. Мелиоранский (1868—1906), тонкий лингвист, с детства владевший немецким языком, не воспользовался ни трудом Бётлингга, ни грамматикой Казем-Бека; в предисловии к своей «Краткой грамматике казак-киргизского языка. Часть II. Синтаксис» (СПб., 1897) он писал: «При составлении Киргизского синтаксиса мне послужила весьма полезным пособием „Грамматика алтайского языка“... Я пользовался ею и как планом... и как источником при изложении многих частных синтаксических правил» (стр. V—VI). От «Краткой грамматики» Мелиоранского идет линия влияния к «Опыту краткой крымско-татарской грамматики» (Пг., 1916) А. Н. Самойловича, ученика П. М. Мелиоранского.

Таким образом, четко намечаются три параллельные линии развития грамматической мысли в русской тюркологии XIX — начала XX вв.: 1) через монголиста А. Бобровникова к тюркологам — авторам «Алтайской грамматики» и от них — к П. М. Мелиоранскому и А. Н. Самойловичу; 2) О. Н. Бётлингг — якутоведы и В. В. Радлов; 3) М. А. Казем-Бек своей «Общей грамматикой» оказал преимущественное влияние на составителей пособий по азербайджанскому языку (Т. Макаров, Л. Будагов, А. Везиров, Л. Лазарев и др.)³².

До сих пор не получила освещения многогранная деятельность учено-полиглотта, академика А. А. Шифнера (1817—1879)³³, оставившего по себе добрую память как редактор и издатель двенадцатитомного научного наследия финского ученого и путешественника М. А. Кастрена (1813—1852), совершившего путешествие по Сибири (1845—1849) на средства Академии наук и по ее инструкции³⁴. 11-й том собрания сочинений Кастрена представляет собой первый опыт изучения грамматики койбальского и карагасского языков.

В научной жизни Академии наук эпизодически принимал участие арабист и тюрколог, первый профессор турецкого языка в Петербургском университете, член-корреспондент АН О. И. Сенковский (1800—1858), весьма колоритная фигура русской журналистики и русского востокове-

³¹ См., например: С. В. Ястребский, Грамматика якутского языка, Иркутск, 1900; 2-е изд. — М., 1938. Подробнее см.: Е. И. Убрятова, Труды О. Н. Бётлингга «Über die Sprache der Jakuten» 120 лет!, сб. «О. Н. Бётлингг и его труд „О языке якутов“», стр. 7—44.

³² См.: А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 204—205.

³³ Литературу о нем см.: «Очерки по истории русского востоковедения», сб. II, стр. 508.

³⁴ «История АН СССР», II, М. — Л., 1964, стр. 225.

дения первой половины прошлого века³⁵. О. И. Сенковский издал первое в России оригинальное пособие «Основные правила турецкого разговорного языка» (СПб., 1829, 76 стр.)³⁶.

Четвертым тюркологом (после Спасского, Казем-Бека, Сенковского) членом-корреспондентом АН (с 1870 г.) был Н. И. Ильминский (1822—1891), ученик М. А. Казем-Бека, выдающийся этнограф и языковед, положивший начало изучению казахского языка, издавший в оригинальных текстах «Бабур-наме» (Казань, 1857) и «Кысас Рабгузи» (Казань, 1859), один из авторов и редактор «Грамматики алтайского языка».

В истории тюркской лексикографии в России навсегда сохранятся имена историка и филолога, востоковеда-автодидакта, академика В. В. Вельяминова-Зернова (1830—1904)³⁷, издавшего «Словарь джагатайско-турецкий» (СПб., 1868—1869), и скромного доцента факультета восточных языков Петербургского университета и драгомана I класса при Азиатском департаменте МИД Л. З. Будагова (1812—1878), составившего «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» (СПб., т. I—II, 1869—1871).

Новая эпоха в истории отечественной и мировой тюркологии связана с именем академика В. В. Радлова (1837—1918)³⁸. Тюркология как дисциплина в трудах В. В. Радлова приобрела новое качество, чему способствовало многолетнее собирание и накопление фактического материала («Образцы народной литературы тюркских племен», 10 томов, СПб., 1866—1907), на основе которого был создан его знаменитый «Опыт словаря тюркских наречий» (24 выпуска, объединенных в четыре тома, СПб., 1893—1914), а также изучение фонетики и грамматики целого ряда живых тюркских языков, обследование и издание почти всех основных памятников рунического, уйгурского и отчасти арабского письма.

Последнее шестидесятилетие перед Октябрьской революцией прошло под знаком весьма плодотворной деятельности В. В. Радлова, оставившего неизгладимый след в истории мировой и отечественной тюркологии как своей исследовательской деятельностью, так и своими выдающимися учениками (В. А. Богородицкий, Н. Ф. Катанов, П. М. Мелиоранский, С. Е. Малов, А. Н. Самойлович).

Одновременно с В. В. Радловым в Академии наук состоял К. Г. Залеман (1849—1916)³⁹, иранист-лингвист по своей основной специальности, уделявший значительное внимание тюркологическим исследованиям. Среди его тюркологических работ в первую очередь следует назвать исследование о «Сельджукских стихах» поэта-мистика Султана Велета (1226—1312). Эта работа, основанная на обнаруженном ученым в Азиатском музее АН неизвестном ранее списке, явилась продолжением изучения этого важного памятника по истории анатолийско-тюркского языка и литературы на нем, начатого В. В. Радловым по списку Венской библиотеки. В круг научных интересов академика К. Г. Залемана входил живой казанско-татарский язык, орхонские рунические памятники, памятник караханидского периода («Кутадгу билиг») и сочинения на так называемом

³⁵ Подробнее см.: П. С. С а в е л ь е в, О жизни и трудах О. И. Сенковского, «Собр. соч. О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса)», I, СПб., 1858; В. К а в е р и н, О. И. Сенковский (Барон Брамбеус). Жизнь и деятельность, «Собр. соч.», VI, М., 1966, стр. 233—477.

³⁶ Переведенная с французского языка «Турецкая грамматика» Гольдермана была издана дважды: СПб., 1766; М., 1777.

³⁷ Литературу о нем см.: «Очерки по истории русского востоковедения», сб. II, стр. 496.

³⁸ См.: Н. А. Д у л и н а, Хронологический перечень трудов В. В. Радлова и литературы о нем, «Тюркологический сборник. 1971», М., 1972, стр. 261—279.

³⁹ См.: А. Г. П е р и х а н я н, Карл Генрихович Залеман, «Очерки по истории русского востоковедения», сб. IV, М., 1959.

«чагатайском» языке («Легенда про Хаким-ата»); в его архиве сохранились материалы к сравнительной грамматике алтайских языков.

Одно из значительных мест в истории тюркской лексикографии в России занимает Э. К. Пекарский (1858—1934)⁴⁰, член-корреспондент АН (1927), почетный академик (1931), в прошлом политический ссыльный, проживший в якутской ссылке почти двадцать пять лет (до 1905 г.), глубоко изучивший язык, фольклор и этнографию якутов. Делом всей жизни Пекарского явился «Словарь якутского языка», составленный им при ближайшем участии Д. Д. Попова и В. М. Ионова (СПб., 1907—Л., 1930). Словарь Э. К. Пекарского получил самые лестные отзывы В. В. Радлова, К. Г. Залемана; современные якутоведы разделяют сложившееся ранее мнение об этом словаре⁴¹.

Тюркология в Академии наук пришла к Великой Октябрьской социалистической революции с большими, всеми признанными достижениями во всех областях тюркского языкознания: фонетический и грамматический строй, диалектография и диалектология, изучение памятников тюркской письменности, в том числе труднейших из них — рунических надписей.

*

Октябрьская революция поставила перед тюркологией, как и перед всей наукой в целом, новые задачи. Тюркское языкознание приобрело значение дисциплины государственной важности: претворение ленинской национальной политики на Советском Востоке выдвинуло на первый план одну из важнейших проблем культурной революции — проблему новой письменности: замену арабского алфавита более совершенной азбукой, создание новых алфавитов для бесписьменных языков. В течение 20—30-х годов советские тюркологи были заняты разработкой фонологических графических, полиграфических, орфографических основ новых алфавитов. Одновременно производились исследования фонетики, грамматического строя и лексики мало или вовсе не изученных языков, разрабатывалась и упорядочивалась общественно-политическая и научно-техническая терминология, создавались учебные пособия по языку для тюркоязычных школ всех ступеней. Академия наук в лице С. Ф. Ольденбурга, Н. Я. Марра, В. В. Бартольда, А. Н. Самойловича, С. Е. Малова, Б. Я. Владимирцова, Е. Э. Бертельса проводила большую исследовательскую и научно-организационную работу, направленную на удовлетворение насущных нужд культурной революции на Советском Востоке.

А. Н. Самойлович⁴², энергичный организатор и руководитель работ в области тюркологии того времени, в 1923 г. выступил со статьей «Нужен тюркологический съезд». В начале 1924 г. А. Н. Самойлович прочитал на заседании Радловского кружка (функционировал в 1918—1930 гг.) доклад о проектах применения латинского алфавита к тюркским языкам. В большой работе по реформе алфавита для тюркских языков активно участвовал С. Е. Малов. В результате кропотливых изысканий и длительных дискуссий на специальных совещаниях тюркологов были выработаны соответствующие рекомендации⁴³.

⁴⁰ См.: Е. И. У б р я т о в а, Очерк истории изучения якутского языка, Якутск, 1945, стр. 21—25; сб. «Эдуард Карлович Пекарский. К столетию со дня рождения», Якутск, 1958.

⁴¹ Л. Н. Х а р и т о н о в, Словарь якутского языка Э. К. Пекарского и его значение, сб. «Эдуард Карлович Пекарский», стр. 8—15.

⁴² См.: Ф. Д. А ш н и н, Александр Николаевич Самойлович (1880—1938), «Народы Азии и Африки», 1963, 2.

⁴³ См.: «Сводный протокол совещания по вопросу о приспособлении латинского алфавита к турецким языкам», «Изв. Российск. Акад. наук», VI серия, 12—28, 1924, стр. 653—662.

Инициатива А. Н. Самойловича (необходимость созыва Тюркологического съезда) была поддержана востоковедами Академии наук и директивными инстанциями: 26 февраля — 6 марта 1926 г. в Баку состоялся I Всесоюзный тюркологический съезд, оказавший решительное влияние на замену арабской азбуки латиницей, на развитие тюркологических исследований в тюркоязычных республиках и областях.

Задачи, вставшие перед тюркским языкознанием, а также развитие научных изысканий в области тюркских языков в республиках сделали настоятельно необходимой координацию усилий в области тюркологических исследований во всесоюзном масштабе. В апреле 1927 г. В. В. Бартольдом была составлена для СНК СССР одобренная Президиумом АН СССР «Записка об учреждении Тюркологического института для систематизации и объединения тюркологических работ самой Академии и тех учреждений, которые пожелают объединить с нею свои тюркологические исследования»⁴⁴. Плодом этой инициативы явился Тюркологический кабинет (1928—1930)⁴⁵, объединивший под председательством В. В. Бартольда всех ленинградских тюркологов, число которых во второй половине 20-х годов пополнилось Н. К. Дмитриевым, К. К. Юдахиным, А. Л. Троицкой, Н. П. Дыренковой.

1929 и 1930 гг. явились началом новой эпохи в истории высшего научного учреждения Советского Союза: Академия наук получила новый устав (29 мая 1930 г.) и пополнила (в 1929 г.) свои ряды новыми членами⁴⁶.

4 апреля 1930 г. Общее собрание АН СССР утвердило решение о слиянии Азиатского музея, Коллегии востоковедов, Института буддийской культуры, Тюркологического кабинета в Институт востоковедения АН СССР⁴⁷, первым директором которого стал последний директор Азиатского музея академик С. Ф. Ольденбург (1863—1934).

Тюркологические исторические и лингвистико-литературоведческие исследования в ИВ АН СССР были сосредоточены в двух ячейках: Среднеазиатском кабинете и Турецком кабинете, которыми руководил А. Н. Самойлович, директор ИВ АН СССР с 1934 по 1937 г. В планах обоих тюркологических кабинетов, особенно в течение первых десяти лет, преобладали исторические темы с преимущественным вниманием к новому и отчасти — новейшему времени⁴⁸; это объясняется тем обстоятельством, что названным темам в старом востоковедении уделялось явно недостаточное внимание. Из языковедческих тем могут быть названы: К. К. Юдахин, Киргизско-русский словарь (план 1932 г.)⁴⁹, А. К. Боровков, Грамматика узбекского языка (план 1938 г.), А. Н. Кононов, Грамматика турецкого языка (план 1940 г.).

Во время Великой Отечественной войны тюркологи ИВ АН СССР, как и другие ученые, были эвакуированы в г. Ташкент, а тюркологи ИЯМ АН СССР (С. Е. Малов, Е. И. Убрятова) — в г. Алма-Ату, где работали рука об руку с узбекскими и казахскими учеными, преподавали в высших учебных заведениях названных городов.

После реорганизации ИВ АН СССР (1950) и создания ЛО ИВ АН СССР (1956) немногочисленные тюркологи и монголисты были объединены в Тюрко-монгольском кабинете (в настоящее время — зав. С. Г. Кляшторный), тюркологи которого занимались двумя главными темами: описа-

⁴⁴ См.: «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР», стр. 413.

⁴⁵ О программе работ Тюркологического кабинета см.: там же, стр. 413—414.

⁴⁶ Там же, стр. 44.

⁴⁷ Там же, стр. 48.

⁴⁸ Там же, стр. 414—420.

⁴⁹ См. его «Киргизско-русский словарь», М., 1940 и М., 1965.

нием тюркских рукописей собрания ИВ АН СССР⁵⁰ и составлением «Библиографического словаря отечественных тюркологов» (В. Г. Гузев⁵¹, Н. А. Дулина, А. Н. Кононов, Ю. А. Ли; М., 1974). Грамматики современных литературных турецкого (М.—Л., 1956) и узбекского (М.—Л., 1960) языков созданы А. Н. Кононовым; его же перу принадлежит историко-лингвистическая монография «Родословная туркмен» (М.—Л., 1958).

Тюркологи Сектора Турции ИВ АН СССР (Москва), первым руководителем которого был В. А. Гордлевский, последние примерно десять лет занимались составлением большого (150 печ. л.) «Турецко-русского словаря» (А. Н. Баскаков, А. А. Кямилава, Ф. А. Салимзянова, К. М. Любимов, Р. Р. Юсипова и др., редактор Л. Н. Старостин). Историко-лингвистическая тематика успешно разрабатывается Э. Н. Наджином⁵².

В Институте этнографии АН СССР всегда велась большая работа по различным проблемам этнографии тюркских народов; в трудах этнографов — А. А. Попова, Л. Э. Корунской, Л. П. Потапова, С. М. Абрамзон и др. — нередко освещались чисто лингвистические вопросы. Этнограф по основной специальности Н. П. Дыренкова (род. в 1899 г. — погибла в Ленинграде 28 октября 1941) с успехом работала и как языковед, ею составлены «Грамматика ойротского (т. е. горноалтайского. — А. К.) языка» (М.—Л., 1940), «Грамматика шорского языка» (М.—Л., 1941), «Грамматика хакасского языка» (Абакан, 1948) и написана статья «Тофаларский язык» («Туркологические исследования», М.—Л., 1963).

Одновременно с организацией ИВ АН СССР (1930) на базе Яфетического института (первоначально — Институт яфетидологических изысканий), основанного Н. Я. Марром в 1921 г., был создан Институт языка и мышления (ИЯМ) АН СССР, носивший после смерти Н. Я. Марра (20 XII 1934) его имя и преобразованный в 1951 г. в Институт языкознания АН СССР.

Организованный в 1934 г. Кабинет (позднее — Сектор) тюркских языков ИЯМ возглавил С. Е. Малов, которому в разное время помогали С. С. Джикия (1934—1936), А. Н. Кононов (1936—1938), Е. И. Убрятова (с 1938); основной темой здесь было составление словарной картотеки по памятникам древнетюркской письменности, которая позднее составила основу «Древнетюркского словаря» (Л., 1969, см. стр. IV). С. Е. Малов был постоянно окружен аспирантами, преимущественно представителями тюркоязычных народов Советского Союза. На семинаре по основным проблемам тюркского языкознания, которым руководил С. Е. Малов⁵³,

⁵⁰ А. М. М у г н и о в, Описание уйгурских летописей Института народов Азии, М., 1962; Л. В. Д м и т р и е в а, А. М. М у г н и о в, С. Н. М у р а т о в, Описание тюркских рукописей Института народов Азии, I, М., 1965. Л. Ю. Тугушева занимается изучением и описанием уйгурских рукописей. В 1960 г. ИВ АН СССР был переименован в Институт народов Азии АН СССР; в 1968 г. восстановлено прежнее наименование: Институт востоковедения АН СССР.

⁵¹ В. Г. Гузев, занимавшийся историей османского языка, работал в составе Кабинета до конца 1973 г.

⁵² Хорезми, Мухаббат-наме. Изд. текста, транскрипция, перевод и исследование Э. Н. Наджиба, М., 1961; Э. Н. Наджиб, Сравнительный словарь тюркских языков XIV в. (Главная редакция восточной лит-ры изд. «Наука», в печати); см. также его фундаментальный «Уйгурско-русский словарь» (М., 1968).

⁵³ См.: С. Е. Малов, Таласские эпиграфические памятники, М.—Л., 1936; е г о ж е, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951; е г о ж е, Енисейская письменность тюрков, М.—Л., 1952; е г о ж е, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, М.—Л., 1959; е г о ж е, Лобнорский язык, Фрунзе, 1956; е г о ж е, Уйгурский язык. Хамийское наречие, М.—Л., 1954; е г о ж е, Уйгурские наречия Синьцзяна, М., 1961; е г о ж е, Язык желтых уйгуров, Алма-Ата 1957 и М., 1967.

собирались почти все ленинградские тюркологи; деятельным участником семинарских занятий был В. М. Жирмунский (1891—1971).

Созданный в 1957 г. Алтайский сектор ЛО ИЯ АН СССР (зав. О. П. Суник), объединивший тюркологов и тунгусоведов, проделал весьма значительную работу в области алтаистических исследований, организовал в мае 1969 г. в Ленинграде первую всесоюзную алтаистическую конференцию, доклады которой опубликованы в сборнике «Проблема общности алтайских языков» (Л., 1971). Одна из больших тем, коллективно разрабатываемых сотрудниками Сектора, нашла свое отражение в сборнике «Очерки по сравнительной лексикологии алтайских языков» (Л., 1972).

Закончена и ждет издания коллективная монография «Очерки исторической морфологии алтайских языков», готовится к печати «Введение в алтаистику». Важным событием в истории изучения лексики алтайских языков является выход в свет коллективного труда «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» под редакцией В. И. Цинциус (в печати).

Общепризнанным достижением явилось издание составленного тюркологами Сектора «Древнетюркского словаря» (Л., 1969). Среди работ сотрудников Сектора — тюркологов следует отметить труды А. К. Боровкова («Бадә'и' ал-лугат», М., 1964; «Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв.», М., 1963), А. М. Щербака («Огуз-наме. Мухаббат-наме», М., 1959; «Грамматический очерк языка тюркских текстов XI—XIII вв. из Восточного Туркестана», М.—Л., 1961; «Грамматика староузбекского языка», М.—Л., 1962; «Сравнительная фонетика тюркских языков», Л., 1970), а также целый ряд статей Д. М. Насилова, И. В. Кормушина, Л. В. Дмитриевой, С. Н. Муратова, Н. И. Летагиной.

Центром тюркологических лингвистических исследований в СССР является Сектор тюркских языков Института языкознания АН СССР (зав. Э. Р. Тенишев), предшественником которого была тюркологическая ячейка Московского отделения ИЯМ во главе с Н. К. Дмитриевым⁵⁴, до конца своих дней возглавлявшим Сектор после реорганизации ИЯМ в Институт языкознания. Н. К. Дмитриеву принадлежат работы «Строй турецкого языка» (Л., 1939), «Грамматика кумыкского языка» (М.—Л., 1940), «Грамматика башкирского языка» (М.—Л., 1948); посмертно издана книга «Строй тюркских языков» (М., 1962), куда вошли важнейшие работы ученого по тюркским языкам. Сотрудниками Н. К. Дмитриева в московскую пору были Ф. Г. Исхаков, Э. В. Севортян, Н. А. Баскаков. Здесь была задумана и осуществлена весьма полезная серия «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» (I—IV, М., 1955—1962; отв. редакторы Н. К. Дмитриев, Н. А. Баскаков, Е. И. Убрятова), авторами которой были Н. А. Баскаков, С. А. Бурнашева, В. Ф. Вещилова, Н. З. Гаджиева, Э. А. Грунина, Н. К. Дмитриев, Ф. Г. Исхаков, А. А. Коклянова, А. А. Пальмбах, Э. В. Севортян, А. А. Юлдашев. К этой серии близко примыкает также коллективный труд «Историческое развитие лексики тюркских языков» (М., 1961, отв. ред. Е. И. Убрятова; авторы — Н. З. Гаджиева, Ф. Г. Исхаков, А. А. Коклянова, Л. А. Покровская, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак, А. А. Юлдашев).

Сотрудниками Сектора проделана большая исследовательская работа во всех областях тюркского языкознания; особо следует отметить последние изыскания по синтаксису (Н. З. Гаджиева), обследование малоизученных тюркских языков (саларский, желтоуйгурский — Э. Р. Тенишев; гагаузский — Л. А. Покровская; караимский — К. М. Мусаев), изучение исторической фонетики чувашского языка (Л. С. Левитская), иссле-

⁵⁴ См.: В. Д. А р а к и н, Николай Константинович Дмитриев (1898—1954), [М.], 1972 («Замечательные ученые Московского университета», 42).

дование проблем лексикологии и лексикографии (А. А. Юлдашев). Специального упоминания заслуживает многолетняя самоотверженная работа Э. В. Севортяна над «Этимологическим словарем тюркских языков» (т. I — в печати)⁵⁵. В области тюркской лексикографии и тюркского языкознания большую работу ведет Н. А. Баскаков⁵⁶.

Для дальнейшего развития тюркологических исследований большое значение будет иметь осуществляемый в Секторе коллективный труд «Сравнительно-историческая фонетика тюркских языков». Здесь же в течение ряда лет разрабатывается обширная и важная тема «Тюркская диалектология», первые результаты которой представлены в сборнике «Диалекты тюркских языков» (под ред. Е. И. Убрятовой, в печати). Сотрудники Сектора активно участвуют в подготовке к составлению «Диалектологического атласа тюркских языков СССР», способствуя тем самым решению одной из важнейших проблем советского тюркского языкознания.

Большую и очень нужную работу ведет Ф. Д. Ашнин, книгу которого «Алтайское языкознание. Библиографический указатель литературы по алтайским (тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским) языкам, изданной в России и СССР. 1726—1970» все алтаисты ждут с понятным нетерпением.

Сектор тюркских языков ИЯ АН СССР является также центром подготовки через аспирантуру тюркологов-лингвистов; многочисленные кандидатские и докторские диссертации получают здесь свою апробацию.

В Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск) ведется работа по якутскому языкознанию под руководством Е. И. Убрятовой, подготовившей дополненное и расширенное издание своих «Исследований по синтаксису якутского языка» (1-е изд. — М.—Л., 1950).

В организации возникавших в конце 20 — начале 30-х годов в республиках и автономных областях Советского Востока Комитетов наук, филиалов АН СССР, которые затем были преобразованы в республиканские академии наук, деятельное участие принимали русские тюркологи: А. Н. Самойлович, С. Е. Малов, Н. К. Дмитриев, Е. Э. Бертельс, А. П. Поцелуевский, К. К. Юдахин, А. К. Боровков и др.

*

Тюркское языкознание в Академии наук за 250 лет ее существования проделало огромный путь — от собирания, накопления преимущественно лексического материала, главным образом — по тюркским языкам Поволжья, Сибири, Кавказа и отчасти — Средней Азии, до строго научного исследования лексики, фонетики, грамматики всех тюркских языков в их истории и современном состоянии.

Послеоктябрьский период истории отечественного языкознания в Советском Союзе знаменуется расширением числа исследователей этой области — в работу во все возрастающем масштабе вовлекались и вовлекаются представители тюркоязычных народов и народностей; во всех тюркоязычных республиках и областях созданы специальные институты, изучающие местные тюркские языки.

Советский период развития отечественной тюркологии характеризуется, прежде всего, новой методологией и методикой, на которых базируются

⁵⁵ См. также: Э. В. Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, М., 1962; е г о ж е, Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке, М., 1966.

⁵⁶ См.: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык. I—II, М., 1951—1952; е г о ж е, Введение в изучение тюркских языков, М., 1969.

современные тюркологические исследования, введением в научный обиход новых материалов, расширением круга исследуемых проблем, новым научным истолкованием старых проблем.

За последнее полувековье получили новое развитие традиционные области тюркологии. Тюркская лексикография представлена теперь наличием словарей разного типа по всем тюркским языкам; успешно разрабатывается также тюркская лексикология.

Тюркская фонетика и фонология характеризуется углубленным изучением звукового строя тюркских языков в сравнительно-историческом и экспериментальном аспектах. В исследовании морфологии тюркских языков наряду с детальными формально-морфологическими описаниями все большее значение приобретает изучение семантики грамматических форм, принадлежащих отдельным грамматическим категориям, в их взаимосвязанности. Последние годы характеризуются повышенным вниманием к исторической грамматике отдельных тюркских языков. Разработка ряда проблем морфологии тюркских языков — части речи, глагольные виды, перифрастические формы глагола, аналитические формы глагола, состав словообразующих аффиксов, проблемы словообразования — является почти целиком заслугой советских тюркологов.

Исследование синтаксиса тюркских языков по существу развернулось только в последнюю четверть века; особое внимание в этой большой и важной теме уделялось и уделяется разграничению синтаксических единиц — словосочетания и предложения; сложное предложение изучается в его делении на главное и подчиненное, придаточное, вырабатываются критерии определения состава сложного предложения, изучаются синтаксические функции причастий, деепричастий, глагольно-именных (масдарных) конструкций и т. п.

Немалые результаты достигнуты в области диалектологии и диалектологии: диалекты и их разновидности почти всех тюркских языков Советского Союза получили монографические описания; составлены диалектологические словари; по диалектологии азербайджанского, татарского, киргизского, казахского языков написаны обобщающие исследования; проводится необходимая подготовительная работа для создания «Диалектологического атласа тюркских языков СССР». Изучение памятников тюркских языков рунического, уйгурского, арабского письма ведется широким фронтом: осуществляется большая работа по грамматическому и филологическому обследованию всех старых и вновь открытых старописьменных памятников. Проектируется издание корпуса памятников рунической письменности⁵⁷.

Тюркская лингвистика достигла больших успехов, которые позволяют надеяться, что дальнейшее развитие этой отрасли советского языкознания будет идти еще более успешно вширь и вглубь.

⁵⁷ Подробнее см.: «Тюркское языкознание в СССР за пятьдесят лет», «Советская тюркология», 1972, 6; А. Н. Кононов, Тюркская филология в СССР. 1917—1967, М., 1968.

С. П. МОРДОВИНА, Г. Я. РОМАНОВА

ОБ ИСТОЧНИКАХ СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА XI — XVII вв.

Картотека древнерусского словаря (ДРС), насчитывающая около полутора миллионов карточек, имеет к настоящему времени почти 50-летнюю историю. Еще в 1925 г. Отделение русского языка и словесности приняло решение о создании Комиссии по собиранию словарных материалов по древнерусскому языку. В обследовании и расписывании печатных и рукописных памятников для словаря принимали участие крупнейшие ученые Москвы и Ленинграда, а также многие молодые специалисты¹. Первые сто тысяч карточек были «выбраны» А. И. Соболевским главным образом из житийной литературы, статейных списков и делопроизводственных документов.

В 1934 г. группу сотрудников ДРС возглавил Б. А. Ларин. Изданный им «Проект Древнерусского словаря» является основным источником для изучения главных направлений работы над словарем в 1930 годы². Как отмечалось специалистами, «Проект» Б. А. Ларина стал «не только первым научным предприятием такого рода, но и эталоном для многих последующих трудов»³. Трудности, вставшие перед автором «Проекта», были связаны не только с новизной самого лексикографического жанра и «неработанностью теории исторической лексикографии»⁴, но и с тем, что в конце 1920 — начале 1930 гг. практическая работа проводилась «без ясной перспективы составления словаря» и методологических разработок⁵. Кроме того, перед сотрудниками Б. А. Ларина стояли «жесткие сроки»: на 1936 г. намечалось начало составления словаря, на 1937 г. — начало его печатания и завершение основной картотеки⁶.

Одну из главных задач своей группы Б. А. Ларин видел в расширении документальной базы словаря («Материалы» И. И. Срезневского, как известно, отразили прежде всего лексику памятников XI — XIV вв.) за счет памятников XV — XVIII вв., дающих представление как о языке «книжников», так и о живом народном языке и специальной терминологии приказов, торговли, ремесел, искусств и наук средневековой Руси. В отчете Института языка и мышления за 1935 г. отмечалось: «В 1935 г. перед словарем древнерусского языка был поставлен ряд новых и трудных за-

¹ Подробнее об истории создания Картотеки см.: [О. И. Смирнова], Картотека древнерусского словаря (ДРС), сб. «Лингвистические источники. Фонды Института русского языка», М., 1967.

² Б. А. Ларин, Проект Древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники), М. — Л., 1936.

³ Н. А. Межерский, Памяти Бориса Александровича Ларина, «Вопросы теории и истории языка», Л., 1969, стр. 8. См. также: Г. В. Степанов, Б. А. Ларин (к 70-летию со дня рождения), «Вестник ЛГУ», 14, Серия истории, языка и литературы, 3, 1963, стр. 149.

⁴ «Словарь древнерусского языка XI — XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи», под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова, М., 1966, стр. 5.

⁵ Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 5.

⁶ Там же, стр. 5 — 6.

дач, потребовавших расширения языковой базы словаря и применения новых приемов работы... рамки словаря оказались раздвинутыми не только в хронологическом плане, но и в социальном»⁷.

Новые задачи были реализованы Б. А. Лариным в составленных им списках изданных и рукописных источников ДРС — «проработанных» и «намеченных для выборки», включенных в состав «Проекта». Списки эти свидетельствуют о том, что Б. А. Ларин и его сотрудники привлекли к работе над словарем значительный круг памятников по истории древнерусского языка. Однако выбор некоторых из них носил случайный характер и не всегда, по-видимому, был предварительно строго обоснован. Приведем несколько примеров.

Известно, что одним из ценнейших источников по истории русской военной лексики последней четверти XV — начала XVII в. являются разрядные книги — своеобразная выборка из документов Разрядного приказа⁸, представляющая бесспорный интерес и для изучения приказной лексики, местнической терминологии и т. д. Наиболее важные издания древнейших разрядных записей ко времени составления «Проекта» были предприняты П. Н. Милюковым, опубликовавшим разряды с последней четверти XV в. до 1565 г., Д. А. Валуевым, издавшим разрядные записи 1559—1605 гг., и С. А. Белокуровым, издавшим записи 1604—1613 гг.⁹. Значение этих источников тем более велико, что подлинные документы Разрядного приказа XV—XVI вв. почти не сохранились. Между тем указанные издания в списках источников «Проекта» не учтены¹⁰.

При отсутствии реальной возможности полного охвата сохранившихся письменных источников XI — XVII вв. едва ли было оправдано привлечение к расписке для словаря «Хронографа Сергея Кубасова» (427 карточек), опубликованного в 1869 г. А. Поповым. Этот памятник представляет собой первую редакцию известной «Повести И. М. Катырева-Ростовского», изданную по лучшему списку С. Ф. Платоновым и также использованную сотрудниками Б. А. Ларина (вместе со второй редакцией «Повести» — 615 карточек)¹¹. Не вполне удачным был выбор (в «Православном собеседнике») издания «Написания Акиндина мниха», опубликованного позднее в Русской исторической библиотеке с устранением ошибок первого издания¹².

Спорным представляется использование в качестве материала для словаря документальных изданий хрестоматийного типа. Детальной расписке (4420 карточек) подверглись, в частности, «Памятники истории крестьян XIV—XIX вв.»¹³ — издание, ценное в тематическом отношении,

⁷ А. И. Корнев, Б. А. Ларин и русская диалектология, «Вопросы теории и истории языка», Л., 1969, стр. 14.

⁸ В. И. Буганов, Разрядные книги последней четверти XV — начала XVII вв., М., 1962, стр. 5.

⁹ П. Н. Милюков, Древнейшая разрядная книга официальной редакции, М., 1901; Д. А. Валуев, Разрядная книга от 7067 до 7112 года, «Синбирский сборник», 1, М., 1844; С. А. Белокуров, Разрядные записи за Смутное время, «Чтения ОИДР», 1907, кн. 3.

¹⁰ О степени изученности и учтенности в картотеке ДРС памятников местной деловой письменности см.: А. Н. Качалкин, Памятники местной письменности XVII в. как источник исторической лексикологии, ВЯ, 1972, 1.

¹¹ Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 137 и 163; А. Попов, Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русской редакции, 2, М., 1869, стр. 283—315; «Русская историческая библиотека» (далее — РИБ), 13, 2-е изд., СПб., 1909, стлб. 559—624.

¹² «Православный собеседник», ч. 2, Казань, 1867, стр. 246—253; РИБ, 6, 2-е изд., СПб., 1908, стлб. 147—158.

¹³ «Памятники истории крестьян XIV—XIX вв.», под ред. А. Э. Вормса, Ю. В. Готье, А. А. Кизеветтера, А. И. Яковлева, М., 1910. Издание предпринималось «с учебными целями» (там же, стр. III—IV).

но не вводящее в научный оборот новых текстов. Все без исключения документы, вошедшие в книгу, перепечатаны из других изданий, большинство из которых к тому же были самостоятельно расписаны для словаря: «Акты исторические», «Дополнения к Актам историческим», «Акты Московского государства» и т. д.

Словарь древнерусского языка не был издан в намеченные сроки, но работа по выборке цитат из памятников продолжалась даже в годы ленинградской блокады. После опубликования «Проекта» сотрудниками Б. А. Ларина были привлечены к расписыванию источники некоторых жанров, недостаточно учтенных на первых этапах работы над словарем, в том числе писцовые книги, дворцовые разряды XVII в., таможенные книги, русская демократическая сатира, акты и т. д. В этот период круг памятников, подлежащих выборке, был значительно расширен. Указатель источников картотеки ДРС, составленный в 1940—1951 гг. С. Ф. Геккер, насчитывал уже свыше 1800 названий памятников и их собраний XI—XVIII вв.¹⁴

С 1959 г. под руководством С. Г. Бархударова проводится расписка вновь изданных документов, продолжающаяся с некоторыми перерывами и по сей день.

После войны историки и филологи предприняли ряд крупных изданий источников XI—XVII вв. Значительным событием 1950—1960 гг. явилось издание актов С. Б. Веселовским, Л. В. Черепниным, А. И. Голубцовым, А. А. Зиминим и др. По подлинникам или лучшим спискам были изданы все как опубликованные ранее, так и неопубликованные известные акты до 1505 г. включительно¹⁵. Планомерное издание источников эпохи русского феодализма (актов, летописей, сказаний, юридических памятников и др.) поставило перед составителями ДРС ряд проблем по обновлению и расширению источниковедческой базы словаря и уточнению его «хронологической достоверности»¹⁶.

С учетом требований более полного привлечения источников в хронологическом, жанровом, территориальном и других отношениях группой словаря русского языка XI—XVII вв. Института русского языка АН СССР в последние годы была произведена выборка цитат из новейших изданий: сочинений Вассиана Патрикеева, Иосифа Волоцкого, Ивана Пересветова и др., Московского летописного свода конца XV в., Вологодско-Пермской, Александро-Невской, Иоасафовской, Уваровской, Никоновской, Ростовской и других летописей, Пискаревского летописца, актов, статейных списков XVI—XVII вв., берестяных грамот, разрядной книги 1475—1598 гг., русских повестей XV—XVI вв., повести о Скандербеге XVII в., исковского разговорника XVII в., документов по истории крестьянской войны под предводительством Степана Разина и т. д. Особое значение для пополнения картотеки ДРС имела расписка документальных изданий сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка

¹⁴ В настоящее время указатель, дополненный источниками, расписанными в 1950—1970 гг., находится в печати.

¹⁵ Они вошли в издания: «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.» (М.—Л., 1950), «Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси конца XIV—начала XVI в.» (т. 1—3, М., 1952—1964), «Акты феодального землевладения и хозяйства» (ч. 1—3, М., 1951—1961), «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (М.—Л., 1949) и др., принадлежащие к числу лучших достижений советской археографии. Подробнее об этих изданиях см.: Л. В. Черепнин, Публикации русских актов XIV—XVI вв., осуществленные в советское время, «Археографический ежегодник за 1971 год», М., 1972, стр. 36—49.

¹⁶ См.: О. В. Торогов, Текстология и лексикография, «Текстология славянских литератур», Л., 1973, стр. 176.

Института русского языка, предназначенных для филологов¹⁷. В настоящее время картотека ДРС является самой крупной в стране как по количеству использованных памятников, так и по числу зафиксированных в ней слов и широко используется советскими и зарубежными учеными¹⁸.

Одновременно группой словаря русского языка XI—XVII вв. была начата работа по переводу цитат, выбранных из устаревших публикаций, на современные лучшие издания, в ходе которой уточняется как лексика переизданных памятников, так и их датировка. В частности, такая работа развертывается относительно актов до 1505 г., распыленных по многим дореволюционным изданиям («Акты Археографической экспедиции», «Акты юридические», «Собрание государственных грамот и договоров», «Акты исторические», акты, опубликованные А. Н. Пискаревым, А. А. Федотовым-Чеховским, Д. М. Мейчиком, Н. П. Лихачевым, А. И. Юшковым, П. А. Мухановым, П. М. Строевым и др.), псковские летописи переводятся на известное издание А. Н. Насонова (вып. 1—2, М.—Л., 1941—1955), Судебники 1497, 1550 и 1589 гг.— на издание «Судебники XV—XVI вв.» (М.—Л., 1952) и т. д. Переводятся также старые выборки из некоторых рукописей на их издания, появившиеся в последнее время: Изборник Святослава 1076 г. (ГИМ, Эрм. № 20), Назиратель XVI в. (ГИМ, Барс. № 371) на новые издания сектора лингвистического источниковедения. Объем этой работы велик и потребует многолетних усилий коллектива.

При работе по переводу принимался во внимание тот факт, что хотя для лучших современных изданий документов XI—XVI вв. характерна строгая передача старой орфографии, однако, как отмечал уже П. Я. Черных, их не всегда можно назвать абсолютно точными в филологическом отношении¹⁹. Было признано поэтому нецелесообразным переводить на издания последних лет тексты из фототипических изданий, а также изданий более точных в филологическом отношении²⁰. Так, шахматовские издания лучше отвечают целям словаря, чем новые издания новгородских грамот, в кото-

¹⁷ «Смоленские грамоты XIII—XIV вв.», подг. к печ. Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин, под ред. Р. И. Аванесова, М., 1963; С. И. Котков, Н. П. Панкратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века, М., 1964; «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (из фонда А. И. Безобразова)», М., 1965; «Изборник 1076 г.», изд. подг. В. С. Голыщенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов, под ред. С. И. Коткова, М., 1965; «Синайский патерик», изд. подг. В. С. Голыщенко, В. П. Дубровина, М., 1967; «Московская деловая и бытовая письменность XVII века», изд. подг. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова, М., 1968; «Грамотки XVII — начала XVIII века», изд. подг. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова, под ред. С. И. Коткова, М., 1969; «Успенский сборник XII—XIII вв.», изд. подг. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон, под ред. С. И. Коткова, М., 1971; «Вести-куранты 1600—1639 гг.», изд. подг. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина, под ред. С. И. Коткова, М., 1972; «Назиратель», изд. подг. В. С. Голыщенко, Р. В. Бахтурина, И. С. Филиппова, под ред. С. И. Коткова, М., 1973. Наличие в большинстве этих изданий тщательно выверенных указателей слов и форм помогает составителям и редакторам полнее учесть лексику памятников на заключительных этапах работы со словарем и улучшить качество составительской работы.

¹⁸ Г. А. Богатова, О работе над Малым словарем древнерусского языка XI—XVII вв., ИАН ОЛЯ, 1966, 6, стр. 525. В настоящее время первые два выпуска этого словаря сданы в издательство: «Словарь русского языка XI—XVII вв.», вып. I — А — Б; вып. II — В — Волога.

¹⁹ П. Я. Черных, [рец. на кн.:] «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.», М.—Л., 1951, ИАН ОЛЯ, 1951, 5, стр. 504—507.

²⁰ Принцип использования для словаря древнерусского языка только рукописей, фотокопий или изданий, «удовлетворительных с филологической точки зрения», сформулирован Р. И. Аванесовым («Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», стр. 16).

ром приняты «облегченные» приемы транскрипции и передачи текста источников²¹.

Для устранения неточностей в цитатах, выписанных из источников специалистами разной квалификации и в разное время, все иллюстрации, отобранные для словаря, сверяются с изданиями. Только для первого выпуска словаря было сверено с изданиями более шести тысяч цитат.

В дальнейшем составители словаря предполагают продолжить работу по расписыванию памятников разных жанров (в частности, новых публикаций в «Трудах» Отдела древнерусской литературы Института русской литературы и «Археографическом ежегоднике», очередных томов «Полного собрания русских летописей», памятников дипломатического характера и т. д.).

Основная задача «Словаря русского языка XI—XVII вв.» — служить справочным пособием для широких кругов читателей при чтении и переводе памятников древнерусской письменности²² — требует продолжения работы по уточнению и расширению состава памятников и их изданий, образующих источниковедческую основу словаря. Работа эта сопряжена с большими трудностями, связанными с многолетней и сложной историей картотеки, с широтой хронологических рамок словаря и со значительным объемом его документальной базы.

²¹ А. А. Шахматов, Исследования о языке новгородских грамот XIII—XIV вв., СПб., 1886; его же, Исследование о двинских грамотах XV в., СПб. 1903. Ср.: «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», подг. к печ. В. Г. Гейман и др. под ред. С. Н. Валка, М.—Л., 1949.

²² Г. А. Богатова, указ. соч., стр. 524.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. ЛОПАТИН, И. С. УЛУХАНОВ

НЕСКОЛЬКО СПОРНЫХ ВОПРОСОВ РУССКОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОРФОНОЛОГИИ

I. В последние годы большие сдвиги произошли в изучении русской морфонологии, в том числе и словообразовательной. В работах ряда исследователей — советских и зарубежных — выявлен и сам инвентарь морфонологических явлений, и (в общих чертах) их закономерности. Некоторые расхождения между исследователями объясняются различием применяемых методов; другие расхождения — различием в характере и объеме исследуемого материала.

Среди недавно опубликованных работ, посвященных русской морфонологии, обращает на себя внимание статья А. В. Исаченко «Роль усечения в русском словообразовании»¹. Автор ставит перед собой задачу «попытаться сформулировать предварительную общую теорию усечения в русском языке» (стр. 96). По мнению Д. Уорта, в этой статье А. В. Исаченко «убедительно доказывается» «морфологическая природа усечения»².

Нам хотелось бы высказать несколько соображений по поводу природы морфонологического явления усечения основ в словообразовании в связи с указанными работами А. В. Исаченко и Д. Уорта, а также с той точкой зрения, которая представлена в «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970). В этой связи будут затронуты и другие морфонологические явления русского словообразования, а также некоторые общие вопросы описания морфонологии и словообразования в разного типа грамматиках.

Основной тезис А. В. Исаченко сводится к тому, что «усекаемыми»³ единицами во всех случаях являются не „фонемы“ (и не „финалы“), а самостоятельные морфонологические единицы, обычно называемые морфемами» (стр. 101), что «весь механизм разбираемого здесь приема морфонологического усечения состоит в том, что в определенных словообразовательных моделях автоматически отсекаются морфологически значимые единицы (морфемы)» (стр. 108), что «у слов и ем для усечения является... обязательное наличие морфонологического „шва“ перед отсекаемым и после отсекающего отрезка» (стр. 97). Автор ограничивается этими утверждениями, не приводя никаких доказательств того, что отсекаются именно морфемы. Единственным «доказательством» морфемности «усекаемых» отрезков оказывается то, что они... «усекаются». А. В. Исаченко неоднократно подчеркивает, что сам факт усечения является «„диагностическим приемом“ при определении морфонологического состава основ» (стр. 97), что «сам процесс усечения может быть в свою очередь использован в ка-

¹ «International journal of Slavic linguistics and poetics», XV, 1972, стр. 95—125 (далее постраничные ссылки приводятся в тексте).

² Д. С. Уорт, Морфонология славянского словообразования, «American contributions to the VII International congress of slavists», I, The Hague, 1973, стр. 384.

³ Правильнее говорить в подобных случаях не «усекаемыми», а «отсекаемыми»: *у с е к а е т с я* то, что становится короче в результате отсекаения его части, а то, что отбрасывается совсем, — *о т с е к а е т с я*.

честве „диагностической пробы“ для определения того места, где проходит морфологический шов, а следовательно, и для определения фонемного состава усекаемого суффикса» (стр. 108).

Эта точка зрения противопоставлена в статье А. В. Исаченко той точке зрения, которая содержится в «Грамматике» 1970 г. Напомним соответствующие формулировки «Грамматики»: «Усечение заключается в том, что в структуре мотивированного слова отсутствует конечная фонема (фонемы) основы мотивирующего слова... Для обозначения существенных в морфонологическом отношении конечных фонем основы в грамматике используется термин *финаль*. В частном случае финаль может быть морфом, — например, отсекаемые финали *-н-* и *-к-* основы прилагательного в случаях *бездарный* — *бездарь* и *низкий* — *низость* являются суффиксальными морфемами, а в случаях *темный* — *тьмь* и *кроткий* — *кротость* это не морфы» (стр. 44)⁴.

Зерно возникшей полемики заключено в понимании сущности морфемы. Известно, что в науке нет единого мнения о том, что такое морфема (или морф). Все же более распространена та точка зрения, что морфемой (морфом) является минимальный *з и а ч и м ы й* отрезок слова (словоформы) — значимый в смысле содержательной наполненности, наделенности семантической функцией (эта точка зрения принята и в «Грамматике» 1970 г.). Не случайно в работах последних лет получила распространение идея о вычленимых в слове отрезках, лишенных семантической функции и потому не являющихся морфемами, но наделенных структурной функцией («прокладках» между морфемами)⁵.

А. В. Исаченко не формулирует в статье своего понимания морфемы, а ограничивается весьма существенным, хотя и брошенным вскользь, замечанием о том, что «в современной лингвистике этот термин („морфема“) нуждается в серьезном пересмотре. Дело в том, что в языке имеют место операции (присоединения и усечения элементов), в которых участвуют морфологические единицы, не обладающие самостоятельным „значением“» (стр. 101, примеч. 8). Возможно, поэтому, весьма решительно заявляя в большинстве случаев, что «усекаются» только *м о р ф е м ы* (суффиксы) (см. стр. 101, 108, 109), автор пользуется иногда более осторожными формулировками: «Усечению подлежат лишь *м о р ф о л о г и ч е с к и е* единицы (разрядка наша. — *В. Л., И. У.*), а не просто цепочки фонем» (стр. 98), «относительно самостоятельные морфологические элементы» (стр. 97; речь идет об элементе *-ов* в фамилии *Суворов*, *-ск* в *Томск* и т. п.).

Обратимся теперь к «Грамматике» 1970 г. Действительно ли неморфологично то понимание отсекаемых отрезков основ, которое в ней предложено? В «Грамматике» подчеркивается существенность финалей в *м о р ф о н о л о г и ч е с к о м* отношении (см. определение финали, приведенное выше)⁶. Но морфонология — «служанка» морфологии (точнее — морфемике); морфонология — это, коротко говоря, учение о формальных закономерностях сочетаемости морфем (морфов), и все существенное, значимое для морфонологии существенно тем самым и для морфологии. Финали — не просто конечные отрезки слов (представляющие собой фонему

⁴ «Почему именно „финали“ в этих прилагательных „не морфы“, авторы нам не сообщают, — комментирует эту часть формулировки А. В. Исаченко (стр. 101). Но это с очевидностью вытекает из принятого в «Грамматике» 1970 г. понимания морфемы (см., например: «Грамматика», стр. 38).

⁵ Ср. «интерфиксы» Е. А. Земской (Е. А. З е м с к а я, Интерфиксация в современном русском словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964), «структемы» А. Н. Тихонова (А. Н. Т и х о н о в, Морфема как значимая часть слова в русском языке, ФН, 1971, 6).

⁶ Примечательно, что само это определение финалей в статье А. В. Исаченко не приводится.

или сочетание фонем), а морфологически релевантные отрезки. Но это не означает, что они во всех случаях являются морфами.

Для морфологии вообще релевантны, помимо морфов, различные отрезки, лишенные семантической функции, но по форме (по составу фонем) напоминающие собой морфы. В некоторых исследованиях последнего времени введен особый термин — «субморфы». Под субморфами понимаются морфологически релевантные отрезки основ, либо безразличные к смыслу⁷, либо «не имеющие самостоятельного смысла»⁸. По В. Г. Чургановой, например, отрезок *-ец/-ц-* в конце основ мотивирующихся существительных является субморфом независимо от того, выделяется ли он как суффиксальный морф (например, в слове *зубец*) или нет (например, в слове *чепец*). Морфологическая релевантность этого субморфа обнаруживается в том, что он определяет выбор суффиксального уменьшительного морфа *-ик* (ср. *зубчик*, *чепчик* и т. п. с чередованием *ц — ч*). Понятие субморфа оказывается необходимым при рассмотрении многих формальных закономерностей словообразования: именно субморфы определяют подчас не только наличие (отсутствие) чередования или выбор акцентной кривой мотивированного слова, но и выбор самого словообразовательного аффиксального морфа. Отсекаемые финалы основ, не являющиеся морфами (лишенные семантической функции), представляют собой, с нашей точки зрения, разновидность субморфов. По форме они чаще всего совпадают с существующими в языке суффиксальными морфами (ср., например, такие финалы, как *-н-*, *-ск-*, *-ов-*, *-к-*, *-ец* *-иц-*, *-ова-*, *-ирова-* и т. д.), хотя и не всегда (ср., например, финалы *-ос*, *-ус*, *-ис*, *-ум*: *космос — космический*, *радиус — радиальный*, *синтаксис — синтаксический*, *пленум — пленарный* и т. п.); но отсекаются такие отрезки безразлично к смыслу, т. е. независимо от того, являются ли они морфами или только «морфоподобными» отрезками — субморфами, представляющими собой часть морфа.

К подобному же решению склоняется в последней своей работе и Д. Уорт, который пишет: «Как нам кажется, усекаются не только настоящие морфемы, но также и многие морфемобразные сегменты (т. е. сегменты, имеющие фонологическую форму, но не семантическое содержание морфем)»⁹. Эта точка зрения, по сути дела, уже не отличается от высказанной в «Грамматике» 1970 г., хотя Д. Уорт и поддерживает концепцию А. В. Исаченко.

Только в таком смысле и следует говорить о «морфологической природе» усечения. Но А. В. Исаченко развивает совершенно иную концепцию: отсекаются только морфемы¹⁰. Такая точка зрения не отвечает представлению о морфеме как о минимальной единице языка, наделенной семантической функцией (смыслом), и смешивает разные принципы членения слова (см. ниже, стр. 64).

⁷ См.: В. Г. Чурганова, О предмете и понятиях фonomорфологии, ИАН ОЛЯ, 1967, 4, стр. 366—367.

⁸ И. А. Мельчук, К понятию словообразования, ИАН ОЛЯ, 1967, 4, стр. 354. Эта точка зрения предпочтительнее.

⁹ Д. С. Уорт, указ. соч., стр. 387. Правда, в характеристике конкретных отсекаемых отрезков Д. Уорт не всегда последователен. Так, на стр. 382 он пишет: «Перед суффиксом *-ане* усекаются последние морфы производящих основ (см. *Иркутск* → *иркутяне* ...)» (разрядка наша. — В. Л., И. У.), а на стр. 386 уже не решается отнести *-ск-* в немотивированных названиях населенных пунктов к числу морфов: «В таких словах, как *Томск* или *Смоленск*, А. В. Исаченко видит адъективный суффикс { , † sk}; нам кажется, однако, что этот вопрос остается пока открытым».

¹⁰ Ср. трактовку так называемых интерфиксов как особого рода «пустых», связочных морфем — «конективов» (см.: K. N e t t e b e r g, O funkcji konektywnej przyrostków, «Scando-slavica», VII, 1961), «конкатенаторов» (см.: M. S h a p i r o, Concatenators and Russian derivational morphology, «General linguistics», 7, 1, 1967).

Не случайно в статье А. В. Исаченко мы находим целый ряд примеров членения слов, лишённого опоры на смысл. Так, автор выделяет в суффиксе прилагательных *-оват-* два морфологических «элемента» — *ov + at* (стр. 97). Он не соглашается и с вычленением единого суффикса *-льн-* в прилагательных типа *читальный, рисовальный*. Выделение этого суффикса основано на семантическом анализе — на наличии единого словообразовательного значения, объединяющего все мотивированные глаголами прилагательные на *-льный* и отличного от общего значения отглагольных прилагательных на *-ный* — значения более широкого (см. «Грамматика» 1970 г., стр. 200—201). Однако А. В. Исаченко, исходя только из факта отсечения финали *-н-* (которая поэтому должна быть признана, согласно его концепции, самостоятельным суффиксом) в образованиях типа *читальный* — *читалка*, настаивает на том, что и *-л'* в подобных прилагательных является морфологически самостоятельной единицей, «распространителем основы» (см. стр. 109)¹¹. Здесь, как и во многих других случаях, словообразовательные критерии, по сути дела, подчинены у А. В. Исаченко морфонологическим.

Второй признак усечения как морфонологического явления — это, по мнению А. В. Исаченко, его автоматизм, абсолютная регулярность, «предсказуемость» (см. стр. 96, 101, 103, 115). Автор даже противопоставляет «усечение» морфем, в частном случае — «устранение удвоенных суффиксов» (под которым понимается в данной статье явление, чаще называемое наложением морфов) как регулярное, автоматическое явление фонетическим усечениям (в частном случае — «устранению звуковых повторов», например, в сложных словах типа *лермонтовед*), имеющим «случайный», «спорадический» характер (см. стр. 100). Здесь вызывает возражение сама мысль о противопоставлении морфологических явлений фонетическим по линии «регулярность — нерегулярность» (ведь известны как морфологические, так и фонетические закономерности, действующие с большей или меньшей степенью регулярности). В то же время далеко не все «не вполне регулярные» усечения поддаются интерпретации со «звуковой» точки зрения. Так, уже применительно к элементу *-ов-* в основах относительных прилагательных, отмечая его устойчивость, неотсекаемость в «универбациях», автор вынужден констатировать целый ряд случаев с отсечением этого элемента, нарушающих регулярность его поведения (*касторка, валерьянка, противогаз* и т. п., список этот можно значительно расширить), оставив эти случаи без объяснения (см. стр. 96, примеч. 2).

А. В. Исаченко вообще явно преувеличивает регулярность явления усечения. Имеются, правда, суффиксальные словообразовательные морфы, перед которыми усечение осуществляется абсолютно регулярно. К ним относится, например, ряд суффиксальных морфов отглагольных образований, перед которыми регулярно отсутствует так называемый «основообразующий гласный инфинитива» мотивирующего глагола (такие морфы, как *-ец-, -ник-, -щик-, -н-, -ист(ый), -ива-, -ну-* и др.), или морф *-к(а)*, регулярно «отсекающий» финали основ мотивирующих прилагательных $\#n$ и $\#ск$ ¹². Но в значительной части словообразовательных типов усечение осуществляется не столь регулярно. А. В. Исаченко, например, категорически заявляет: «Адъективные суффиксы {, $\#n$ } и {*en*, $\#n$ } регулярно отсекаются при переводе прилагательного в существительное перед всеми субстантивными суффиксами, кроме *-ость*» (стр. 115). На самом деле это не так. Если даже автор имеет в виду только существительные «транспозицион-

¹¹ Кстати, здесь же (стр. 108) ошибочно приписывается авторам «Грамматики» 1970 г. выделение суффикса *-льн-* в слове *дневальный*. В этом слове не выделяется морф *-льн-*, поскольку в современном языке оно не мотивируется глаголом *днеть*.

¹² Знаком $\#$ обозначается беглая гласная.

ных» типов, несущие значение абстрактного признака в соответствии с мотивирующим прилагательным, то и здесь мы встречаем такие случаи, как, с одной стороны, *скудный* — *скудость* (с усечением), с другой — *бессонный* — *бессонница*, *вкусный* — *вкуснота*, *грязный* — *грязнота*, *скудный* — *скущинка* (без усечения).

Во всей же системе отадъективного словообразования существительных отсечение финалей (в том числе и суффиксов мотивированных слов) *-н-* и *-енн-* далеко не обязательно: ср., например, *умный* — *умница*, *лепной* — *лепница*, *стенной* — *стенняк*, *ручной* — *ручнист*, *внештатный* — *внештатник*, *грязный* — *грязнуля* и *грязнуха* и т. п.

Не соответствует действительности и утверждение автора, что при образовании «глаголов на *-ить(ся)* и *-еть* от основ прилагательных» с суффиксом *-н-* «усечение суффикса вполне регулярно» (стр. 103—104). Этому противоречат многочисленные факты типа *влажный* — *влажнеть*, *увлажнить*, *умный* — *умнеть*, *мрачный* — *мрачнеть* и т. п. О том, что отсутствие усечения в подобных образованиях столь же возможно, сколь и его наличие, свидетельствуют окказионализмы, например: *ночной* — *ночнеть* («Она вышла из дождя, сырости, тумана... со своими длинными глазами, забегающими за виски, светло- и ярко-голубыми, а порой *ночнующими* под тенью густых ресниц». Ю. Нагибин, *Хождение за четыре моря*)¹³.

Допустим, что для некоторых из таких прилагательных можно объяснять отсутствие усечения, как это делает А. В. Исаченко в связи с глаголами *грязнеть*, *загрязнить*, «нерасчлененностью основы прилагательного» (стр. 110). Семантическая связь прилагательного *грязный* с производящим существительным *грязь*, как полагает А. В. Исаченко, ослаблена (что само по себе крайне сомнительно), ибо «слово *грязный* семантически связано со своим антонимом (*чистый*. — В. Л., И. У.) сильнее, чем с существительным *грязь*» (что не менее сомнительно: у А. В. Исаченко получается, что для членения слов на морфемы важнее семантические связи по противоположности, чем соотношения со словами, близкими как по форме, так и по значению). Встанем, тем не менее, на высказанную А. В. Исаченко точку зрения: в словах *грязнеть*, *грязнота*, *грязнуля* *-н-* не отсекается, так как это не морфема. Но почему же тогда мы должны считать морфемой отсекаемое *-н-* в прилагательных *прочный*, *скудный*, *несуразный* и т. п. (ср. мотивированные ими слова *упрочить*, *скудеть*, *скудость*, *несуразица*), которое явно не является морфемой, если подходить к этим прилагательным с семантическим критерием, подобно тому как А. В. Исаченко подходит к слову *грязный*? А с другой стороны, почему мы должны отказывать в морфемном статусе таким отрезкам в явно мотивированных прилагательных, как, например, *-н-* во *влажный*, *вкусный*, *умный* или *-к-* в *ходкий* (ср. *увлажнить*, *вкуснота*, *умница*, *ходкость* без усечения)? Уж не стоит ли предположить вслед за А. В. Исаченко, что, например, слово *влажный* сильнее связано с прилагательным *сухой*, чем со словом *влага*, а слово *умный* сильнее связано со словом *глупый*, чем со словом *ум*, и т. д. и т. п., и на основании этого признать *влажный*, *умный* и т. п. нечленимыми словами? Но как поступать в тех случаях, когда антонима нет?

Очевидно, столь частое сохранение морфа *-н-* перед самыми разными аффиксами (там, где позволяют морфонологические свойства сочетающихся морфов) объясняется тем, что этот морф маркирует мотивирующую основу именно как основу прилагательного, отличая ее от основы существи-

¹³ Характерно, что А. В. Исаченко охотно обращается к окказионализмам (ср. *оспортивиться*, *скомочиться*) для иллюстрации усечения как «закона русской речи», действующего автоматически (см. стр. 95—96, 124). Как видим, окказионализмы отнюдь не всегда свидетельствуют об автоматичности усечения.

тельного, которым мотивируется это прилагательное. Так, образование от прилагательного *грязный* с помощью суффикса *-уха* при отсечении суффикса *-н- (*грязуха)* может быть воспринято как экспрессивный синоним слова *грязь* (ср. *комната — комнатуха* и т. п.), а не как «нечто грязное». Неотсекаемость *-н-* иногда можно объяснить и явлением омонимического отталкивания. Так, образование от усеченной основы прилагательного *умный* совпало бы с глаголами *обводить, наводить, приводить* (ср. реально существующие глаголы *уметь, обводнить, наводить, приводниться*). Заметим, что в глаголах *обводнить* и *наводить* выступает неусеченная основа прилагательного даже несмотря на то, что семантически эти глаголы мотивируются только словом *вода*, а не *водный*.

Те места статьи А. В. Исаченко, где он обращается к семантическому анализу слов с усекаемыми и неусекаемыми основами (ср. еще, например, замечание на стр. 109 о нарушенной семантической связи слов *бедный* и *беда* и об опрошении основы слова *бедный*, в чем автор видит причину отсутствия отсечения *-н-* в словах *бедняга, беднота, обеднить* и т. п.), вообще явно непоследовательны с точки зрения развиваемой в статье теории, они представляют собой отступление от исходных принципов автора. В самом деле, если все отсекаемые финалы — это морфемы, «если, с одной стороны, наличие усечения в определенном словообразовательном типе является „диагностической пробой“ для объективного выделения суффиксов в каждой отдельной основе, входящей в данный деривационный тип», а «с другой стороны, о т с у т с т в и е усечения в том же деривационном типе должно быть признано объективным показателем морфологической нечленности производящей основы» (стр. 109), то нужны ли какие бы то ни было семантические подкрепления для установления морфемного статуса вычлняемых при усечении отрезков основ? Ведь рассмотрение соотношений между *грязь* и *грязный* — это тот самый анализ, который в той же статье пренебрежительно именуется «так называемым „словообразовательным анализом“, основанным на весьма поверхностных и тривиальных семантических критериях» (стр. 97)¹⁴. Но обратиться к этому анализу А. В. Исаченко вынужден в силу того, что критерий отсекаемости — неотсекаемости в случае *грязный — грязнеть* явно «не работает»: выделимость морфа *-н-* в слове *грязный* слишком очевидна. А ведь такие случаи — массовое явление русского словообразования, оставшееся в статье без объяснений.

Применение «диагностической пробы», предложенной А. В. Исаченко, неизбежно приводит и к противоречиям в оценке одних и тех же отрезков слов. Действительно, в словах *бедняга, обеднить* и т. п. отрезок *-н-* сохраняется¹⁵, а, например, в глаголе *бедствовать*, мотивированном тем же прилагательным *бедный*, он отсутствует. Аналогично: *поздний — позднота*, но ср. *опоздать*. Подобных фактов немало. Приведем еще несколько примеров мотивирующих прилагательных с финалью основы \neq к¹⁶. Среди

¹⁴ К сожалению, это далеко не единственное «полемическое излишество» в статье А. В. Исаченко; ср. хотя бы: «Авторы Грамматики 1970 не обременяют свой анализ излишними теоретическими соображениями» (стр. 102); «„Суффикс *-льн-*“, постулируемый советскими авторами, является просто недоразумением» (стр. 109); «Н. А. Янко-Триницкая предлагала для этого типа усечения ложно-описательный и посему совершенно негодный термин *наложение*» (стр. 97; кстати, на самом деле этот термин предложен Е. А. Земской) и т. д.

¹⁵ Чередования, естественно, в расчет не берутся.

¹⁶ Каковы бы ни были генетические особенности прилагательных типа *шир-ок-ий* и типа *низ-к-ий*, на которые намекает А. В. Исаченко, отмечая, что «некоторые подробности в поведении» этих прилагательных «пока не поддаются обобщению» (стр. 124), полагаем, что их свойства должны интерпретироваться в синхроническом словообразовательном описании в терминах усечения.

них есть такие, которые теряют $\#к$ в одних суффиксальных образованиях и сохраняют его в других: ср., например, *редкий* — *редкость* и *редеть*, *разредить*; *тяжкий* — *тягость* и *отягчить*; *прыткий* — *прыткость* и *прыть*. В каждом из приведенных суффиксальных типов¹⁷ отадъективных образований (существительные с суффиксом *-ость*, с нулевым суффиксом, глаголы с суффиксами *-и-*, *-е-*) есть образования и с отсечением финали $\#к$ основы прилагательного, и без него. Не говорим уже о вариантах типа *узость* — *узкость*, а также *скудость* — *скудность*, *скудеть* — *скуднеть*, *темень* — *темень* и т. п. Если исходить из уже процитированного положения А. В. Исаченко, то окажется, что один и тот же конечный отрезок основы одного и того же прилагательного ($\#н$, $\#к$) является одновременно и морфемой, и не-морфемой, а соответствующие прилагательные одновременно и выделяют суффикс, и не выделяют его. Вывод, безусловно, абсурдный.

В статье А. В. Исаченко сделано еще несколько обобщений, касающихся явления усечения. Так, автор пишет, что «в продуктивных моделях усечению подлежат классовые показатели, а само усечение имеет место при переводе основы из одного класса слов в другой» (стр. 123). Последнее фактически неверно. Можно привести целый ряд продуктивных словообразовательных типов с усечением основ, где мотивирующее и мотивированное слова принадлежат к одной и той же части речи. Вот только несколько примеров: *немец* — *немка*, *жрец* — *жрица*, *Петрович* — *Петровна*, *валежник* — *валежина*, *лекция* — *лектор*, *Грузия* — *грузин*, *пастух* — *подпасок*, *мягкий* — *мягонький*, *доиграть* — *доигрывать*, *сажать* — *саживать*, *сверкать* — *сверкнуть* и т. д. Подобные факты заставляют усомниться в том, что усечение обязательно связано с заменой «классового показателя» (как бы этот показатель ни понимать). С другой же стороны, в ряде случаев при «переводе» слова в другую часть речи «классовый показатель» как раз сохраняется, выполняя свою функцию не только в основе мотивирующего слова, но и в основе мотивированного.

Другой вывод А. В. Исаченко (связанный с предыдущим) — о том, что «суффиксы, наделенные конкретной семантикой, как правило, усечению не подлежат» (стр. 123), иллюстрируемый такими примерами, как *лохматый* — *взлохматить*, *фальшивый* — *фальшивить*, *кровавый* — *окровавить*, также чрезвычайно сомнителен. Ему противоречит хотя бы факт высокой «устойчивости» к усечению суффикса относительных прилагательных *-ов-*, не менее абстрактного по семантике, чем суффиксы $\#н$ и $\#ск$, чаще всего отсекаемые. Весь материал усечения в современном русском словообразовании приводит к противоположному выводу — об обусловленности этого явления прежде всего фонологическими (точнее — морфологическими), а не семантическими, свойствами сочетающихся при словообразовании морфем. В подтверждение этой мысли можно привести немало закономерностей, проявляющихся достаточно регулярно (хотя и не с абсолютной регулярностью).

Так, обращает на себя внимание тот факт (формулируемый здесь в самом общем и кратком виде), что отсекаются чаще всего консонантные финали с беглой гласной ($\#н$, $\#к$, $\#ск$) перед консонантными же суффиксами с беглой гласной ($\#к$, $\#ц$ и т. п., ср. *неотложный* — *неотложка*, *безумный* — *безумец*)¹⁷ и морфами, начинающимися скоплением согласных или долгой согласной [-*ств(о)*, -*ствова(ть)*, -*цин(а)*, -*чик* и т. п., ср. *роскошный* — *роскошество*, *благоприятный* — *благоприятствовать*, *шарманка* — *шарманчик*, *субъективный* — *субъективщина*]; в то же время перед суф-

¹⁷ Напрашивается параллель между этой закономерностью и закономерностью отсечения гласных финалей глагольных основ, отмеченной Р. О. Якобсоном.

фиксами с вокалическим началом [-ик, -иц(а), -ист, -ость, -от(а) и т. п.] те же финали либо сохраняются, либо (как, например, перед глагольными суффиксами -и-, -е-) отсекаются нерегулярно.

А такое явление, как сохранение (хотя бы частичное) финали -ск- основы мотивирующего слова перед суффиксальным морфем -ск- в прилагательных (*баски — баский*, ср. также *этруски — этрусский* и т. п., но *Смоленск — смоленский*, *Курск — курский* с наложением морфем, интерпретируемым А. В. Исаченко как «устранение удвоенного суффикса», разновидность усечения, см. стр. 98—99), следует объяснять не тем, что эта финаль в слове *баски* и т. п. является частью корня (объяснение А. В. Исаченко), а тем, что в *баски*, *этруски* и т. п. финали -ск- предшествует гласная фонема, в то время как в *Смоленск*, *Курск* и т. п. — согласная. Точно так же причину устранения финали -н- перед суффиксом -ан(е) в случаях типа *Мирный — миряне*, *Изобильное — изобильяне* и сохранения ее в случаях типа *Двина — двиняне*, *Афины — афиняне* следует видеть не в том, что в первых двух примерах -н- — суффикс, а во вторых двух — часть корня¹⁸, а, по-видимому, в том, что в первых финали -н- предшествует согласная фонема, а во вторых — гласная.

Как видим, материал русского словообразования свидетельствует о том, что усечение основ мотивирующих слов может осуществляться с большей или меньшей степенью регулярности, что явление это обусловлено в первую очередь морфонологическими свойствами сочетающихся морфем, что, наконец, отсекаются могут как морфемы, так и не-морфемы, а «в пределах одного и того же деривационного типа» морфемы могут как отсекаются, так и не отсекаются. Очевидно, что параллельно с морфемным членением слов может существовать и членение, основанное только на формальных критериях, в том числе и на отсекаемости — неотсекаемости отрезков (ср. понятие субморфем), причем сравнение результатов морфемного и формального членений, безусловно, полезно. Но необходимость различения (в том числе и терминологического) этих типов членения, равно как и вычленяемых единиц, не вызывает сомнений.

В связи с вопросом о «морфемности» отсекаемых финалей отметим также, что у Р. О. Якобсона в его известной статье о русском глагольном формообразовании¹⁹ речь идет об усечении фонем, а не морфем. Само высказывание Р. О. Якобсона, которое А. В. Исаченко сочувственно цитирует в начале своей статьи (стр. 96), звучит следующим образом: «любая морфема, оканчивающаяся на гласную, утрачивает эту гласную перед суффиксом, начинающимся с гласной». Отсекается, таким образом, не морфема, а гласная, являющаяся конечной частью морфемы (естественно, что в частном случае отсекаемая гласная может быть единственной фонемой соответствующего морфа, и тогда отсекаемый отрезок равен морфу). Морфонологическая обусловленность усечения обнаруживается в трактовке Р. О. Якобсона со всей очевидностью. Нетрудно заметить, что эта точка зрения противоположна концепции А. В. Исаченко.

II. «Само понятие усечения теснейшим образом связано с понятием иерархии, направленности словообразования», — пишет А. В. Исаченко (стр. 123). С этим нельзя не согласиться; но, разумеется, при решении вопроса о направлении словообразовательных связей следует исходить не из самого факта усечения или других морфонологических явлений, а из совокупности многообразных фактов — формальных и семантических.

¹⁸ Объяснение Д. Уорта (указ. соч., стр. 382). Ср., например, *устюжана* при мотивирующем *Устюжна*, в котором морфемный статус отсекаемой финали -н- весьма сомнителен.

¹⁹ R. O. Jakobson, Russian conjugation, «Word», 1948, 4.

Например, из того факта, что существительные с суффиксом *-щик/-чик*, обозначающие производителя действия, можно непосредственно выводить из *nomina actionis* с суффиксом *-к(a)* (с действительно регулярным усечением основы за счет финали $\neq k$), вовсе еще не следует, что это единственное, как полагает А. В. Исаченко (стр. 102—103), решение вопроса²⁰. В «Грамматике» 1970 г. принято другое решение — о двойкой словообразовательной мотивированности подобных существительных с суффиксом *-щик/-чик* — одновременно глаголами и отглагольными *nomina actionis* (например: *наладчик* ← *наладить* и *наладчик* ← *наладка*)²¹. К такому решению склоняет наличие в словообразовательной системе русского языка как образований типа *жеребьевка* — *жеребьевщик* [с единственным непосредственно мотивирующим — существительным на *-к(a)*], так и образований типа *танцевать* — *танцовщик* (с единственным непосредственно мотивирующим — глаголом), хотя большинство существительных с суффиксом *-щик/-чик* и значением производителя действия соотносительно одновременно и с глаголом, и с существительным на *-к(a)*.

Следует заметить, что там, где формальные основания не позволяют рассматривать существительные с суффиксом *-щик/-чик* как непосредственно мотивированные глаголами, они рассматриваются в «Грамматике» 1970 г. как мотивированные только *nomina actionis*: например, *литье* — *литейщик*, *передача* — *передатчик* и т. п.²².

Оперируя весьма ограниченным словообразовательным материалом, А. В. Исаченко не видит многих формально-семантических связей слов, реально существующих в языке. Так, фактитивные и инхоативные глаголы русского языка автор выводит только из прилагательных, отрицая их связь с существительными. В частности, он возражает против рассмотрения глагола *печалить* как мотивированного существительным *печаль*. «Почему же тогда, — спрашивает А. В. Исаченко, — не считать, что то же общее значение „вызывать чувство“ налицо и в глаголе *успокоить*, и не выводить и этот глагол от существительного **спокбй*? Ясно, что глаголы *опечалить*, *успокоить* образованы от основ прилагательных *печаль-н-ый*, *спокбй-н-ый* с усечением суффикса {, $\neq n$ }» (стр. 104). В действительности словообразовательные связи фактитивных и инхоативных глаголов более сложны и разнообразны. Одни из этих глаголов мотивируются только прилагательными (*успокоить*, *облагородить*, *опьянить*, *выпрямить*), другие — только существительными (*злбить*, *страшить*, *уравновесить*), третьи — как прилагательными, так и существительными (*веселить*, *печалить*). Не случайно из группы глаголов со значением «вызывать чувство; приводить в состояние» — *злбить*, *печалить*, *страшить* (эти примеры приведены в «Грамматике» 1970 г., стр. 231) и т. п. — А. В. Исаченко выбрал лишь второй. Ни *страшить*, ни *злбить* семантически не мотивируются прилагательными: *страшить* — это отнюдь не «делать страшным», а «вызывать страх»; *злбить* — не «делать злобным» (*злбный*, в отличие от *печальный*, — постоянный, а не переменный признак), а «вызывать злобу». Оставляет без внимания автор и многочисленные префиксально-суффиксальные фактитивные и инхоативные глаголы, мотивированные только существительными. Вслед за А. В. Исаченко глагол *уравновесить*, например, пришлось бы трактовать как «сделать *равно-

²⁰ Кстати, значительно раньше А. В. Исаченко аналогичное мнение высказал Г. С. Зенков (Г. С. З е н к о в, О словообразовательных типах с суффиксами *-щик*, *-ник* и их взаимодействии в современном русском языке, сб. «Развитие современного русского языка», М., 1963).

²¹ См.: «Грамматика» 1970 г., стр. 48.

²² В трактовке этих образований у нас нет расхождений с А. В. Исаченко (см. стр. 103 примеч. 9—10), хотя здесь он и не ссылается на «Грамматику» 1970 г.

весным» (что ничуть не лучше, чем «вызывать *спокой»). Что же касается глагола *печалить*, то он мотивирован как существительным («вызывать печаль»), так и прилагательным («делать печальным»). А. В. Исаченко, к сожалению, не обратил внимания на сказанное в разделе «Словообразование. Основные понятия»: «указание на одну из возможных мотиваций не означает обязательного отсутствия у данного слова других мотиваций» («Грамматика», стр. 39).

А. В. Исаченко считает, что в русском языке не существует префикса *обез-*. Между тем этот префикс, возникший, как и суффиксы *-нича-*, *-ствова-*, *-тельск-* и др., путем переразложения, выделяется в префиксально-суффиксальных глаголах типа *обезжирить* («лишить жира»), *обессолить*, *обеззаразить*: прилагательные **безжирный*, **бессольный*, **беззаразный* не являются воспроизводимыми лексическими единицами русского языка.

III. Нельзя не остановиться вкратце и на другом морфонологическом явлении — наложении морфем, которое А. В. Исаченко решительно отрицает, видя в нем «псевдопроблему русской деривации»²³, подчеркивая, что «сам образ „перекрывания“ двух идентичных отрезков во времени абсурден» (стр. 97). А. В. Исаченко трактует наложение как разновидность усечения — «устранение удвоенных суффиксов».

Нам уже приходилось писать о возможной множественности морфонологических интерпретаций²⁴. В самом деле, некоторые факты, интерпретируемые в работах последнего времени как наложение (ср. *такси — таксист*, *пальто — пальтовый* и т. п.), могут интерпретироваться на равных правах и как усечение основы мотивирующего слова; в данном случае можно говорить даже об общем законе отсечения гласной финали основы несклоняемых существительных в мотивированных ими суффиксальных образованиях (хотя и этот закон имеет исключения: ср. *интервью — интервьюировать*, *табу — табуировать*, *Тарту — тартуский*, *дзюдо — дзюдоист* и др.). Но это отнюдь не означает, что «сам образ наложения абсурден». Понятие это не более абсурдно, чем понятие усечения основ, тоже содержащее определенный «временной образ».

О наложении морфем есть основания говорить во всех тех случаях, когда определенный отрезок мотивированного слова (например, *-ск-* в прилагательном *курский*) может быть отнесен одновременно и к мотивирующей основе (*курск-*) и к форманту (*-ск-*). Разлагая это явление на «временные» стадии (что само по себе, по нашему мнению, нецелесообразно), можно видеть в нем не только выпадение первого из двух одинаковых отрезков (т. е. отсечение конечного отрезка основы мотивирующего слова), но и равным образом выпадение второго из этих отрезков, принадлежащего форманту. С этой точки зрения, поскольку присоединяемый к мотивирующей основе отрезок, являющийся суффиксом или его частью, совпадает по форме с конечным отрезком мотивирующей основы, или, иначе говоря, уже имеется в ней, второй раз он не добавляется, а попросту опускается, элиминируется. Вторую трактовку Д. Уорт считает маловероятной (хотя и допускает ее)²⁵. Между тем нет ничего проще, чем вычленив, например, в прилагательных типа *лиловатый* суффиксальный морф *-ат-* (по соотносительности с мотивирующим *лиловый*) вместо правильного

²³ См. другую статью того же автора: «Morpheme classes, deep structure and the Russian indeclinables», «International journal of Slavic linguistics and poetics», XIII, 1969.

²⁴ См.: А. М. Артемов, В. В. Лопатин, А. Н. Тихонов, И. С. Улуханов, О некоторых актуальных проблемах русского словообразования, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Самарканд, 1972, стр. 291.

²⁵ См.: Д. С. Уорт, указ. соч., стр. 388.

-оват-, а в глаголах типа *чувствовать* (ср. *честь*) — суффиксальный морф *-ова-* вместо правильного *-ствова-*²⁶. При таком членении суффикс неправоммерно лишается той части, которая совпадает у него с конечным отрезком мотивирующей основы.

Таковы некоторые соображения о природе явлений усечения и наложения в современном русском словообразовании и об отношениях словообразовательной мотивации между словами, в которых эти морфонологические явления имеют место.

IV. По мнению Д. Уорта, морфонологические явления (в том числе усечение и наложение) могут быть по-разному истолкованы в разных типах грамматик. «В синтетической грамматике, — пишет автор, — усечение может или существовать как морфологическое явление (в грамматике направленного типа) или не существовать; в аналитической грамматике усечение существует как процесс фонологического порядка»²⁷. Поскольку, как мы видели, вопрос о природе усечения сводится к пониманию морфемы, то из приведенного высказывания следует вывод, что и морфема может по-разному пониматься в разных типах грамматик. Если же такие исходные понятия, как морфема, будут по-разному определяться в разных грамматиках, то описания языка в них будут совершенно несопоставимыми. Соответственно и отсекаемые отрезки нецелесообразно по-разному трактовать в разных грамматиках: как морфемы в «синтетической» и как фонемы в «аналитической»²⁸.

Д. Уорт справедливо отмечает в своем докладе, что «можно стараться различить между (*sic*) теми явлениями, которые присущи самому языку (и, следовательно, которые придется описать в любой грамматике), и теми, которые отчасти или даже целиком присущи не языку, а только теоретическим концепциям исследователя»²⁹.

Полагаем, что такие единицы, как морфема, и такие явления, как усечение, относятся к числу явлений, присущих самому языку. Если «трудно себе представить грамматику русского языка без альтернатив *т* → *ч* и т. д.»³⁰, то не менее трудно и без правил усечения. С этим согласен и А. В. Исаченко, который отмечает, что «усечение — не вымысел лингвистов, но сомнительный „конструкт“, а вполне реальное грамматическое правило, успешно применяемое даже четырехлетними детьми» (стр. 96). В языке независимо от воли исследователя существуют значимые и незначимые, отсекаемые и неотсекаемые отрезки. В любой грамматике эти явления должны быть выявлены, расклассифицированы и названы. Желательно, но не обязательно, чтобы эти названия были одинаковы в разных грамматиках. Обязательно, чтобы постулаты, выдвигаемые в грамматиках, были непротиворечивыми и адекватно отражали явления, которые присущи самому языку». Главный постулат А. В. Исаченко — всякий отсекаемый отрезок есть морфема, а всякий неотсекаемый в том же деривационном типе отрезок не является морфемой — не обладает, как показано выше, этими свойствами, неизбежно приводит к абсурдному выводу и опровергается объективно существующими в языке явлениями и их соотношениями. Следовательно, этот постулат не мо-

²⁶ Суффикс *-ова-* действительно выделяется в подобных глаголах в «Грамматике русского языка» (I, М., 1952, стр. 545).

²⁷ Д. С. В о р т, указ. соч., стр. 390.

²⁸ Сохраняя в данной статье используемые Д. Уортом термины «аналитическая грамматика» и «синтетическая грамматика», считаем необходимым отметить, что они не полностью отражают как проблематику соответствующих грамматик, так и применяемые методы исследования.

²⁹ Д. С. В о р т, указ. соч., стр. 391.

³⁰ Там же, стр. 390.

жет быть принят ни в «аналитической», ни в «синтетической» грамматике и дело здесь отнюдь не в различии теоретических концепций.

Факты, присущие самому языку, могут, с нашей точки зрения, найти адекватное описание как в «аналитической», так и в «синтетической» грамматике. Однако последняя оперирует не только этими фактами, но и «теми явлениями, которые... присущи не языку, а только теоретическим концепциям исследователя». Речь идет о так называемых «абстрактных единицах», с помощью которых исследователи стремятся объяснить факты языка, не объяснимые, по их мнению, с позиций «аналитической» грамматики. Однако в «синтетической» грамматике пока не только «нет... общепризнанных критериев для установления допустимой степени абстрактности исходных основ»³¹, но и сама необходимость их конструирования остается проблематичной.

В ряде своих работ Д. Уорт пишет о «непреодолимых трудностях», возникающих перед «аналитической» грамматикой при интерпретации соотношений основ типа *проезжать* — *проезд*, но *виэжать* — *виэж*: из одного и того же *ж* возникает *зд* в *проезд* и *зг* в *виэж*³². «Синтетическая» грамматика, как полагает Д. Уорт, способна преодолеть эту «трудность»: для этого надо лишь предположить, что сочетания *зд* и *зг* возникают из абстрактных исходных основ типа *projezd* + *jaj* или *v'izg* + *ja*, в которых эти сочетания уже имеются. Но как были сконструированы эти абстрактные основы? Откуда взяты сочетания *zd* и *zg*, введенные исследователем в эти основы? Оказывается, из тех реальных «поверхностных» фактов, которые затем выводятся из абстрактных основ. Ясно, что такое выведение заранее «обречено на успех»: никаких указаний на «нерегулярные соотношения» или на «обратное чередование» не потребуются. Абстрактная основа сконструирована из того, что должно быть из нее получено (объяснение Д. Уорта в данном случае напоминает способ, с помощью которого А. В. Исаченко пытается доказать морфемность «усекаемых» отрезков). Естественно, что такое «самопорождение» не снимает необходимости указания на реальные (в том числе нерегулярные) языковые соотношения.

В других работах абстрактная основа иногда конструируется из элементов, не имеющих никакого реального соответствия в языке, а вводимых лишь на базе общих соображений о строении основ того или иного типа. Так, по мнению А. В. Исаченко, слова типа *вчерашний* и *таксист* восходят не к формам *вчера* и *такси* с основой на гласную, а к «глубинным структурам» {*včeráQ*} и {*taksíQ*}, где {*Q*} — искусственно вводимый «неспециализированный» (фонетически неопределенный) консонант. Введение этого «консонанта» дает возможность, по мнению А. В. Исаченко, избежать указания на исключение из правил образования от основ, оканчивающихся на согласную (как известно, именные основы в современном русском языке оканчиваются обычно на согласную фонему, и неопределенное {*Q*} формирует, по А. В. Исаченко, такую основу, является формативом основы — *stem formative*)³³.

³¹ Там же, стр. 381.

³² Кстати, почему в том факте, что одна и та же фонема (или, как в данном случае, сочетание фонем) чередуется в разных образованиях одного типа с различными фонемами (сочетаниями фонем), усматривается нечто неестественное для языка? На наш взгляд, факт этот ничуть не менее естествен, чем, скажем, факты чередования различных фонем с одной и той же фонемой в разных словах однотипной структуры: ср., например, *прятать* — *прячут* (чередование *т* — *ч*) и *кликать* — *кличут* (*к* — *ч*); *искать* — *ищут* (*ск* — *щ*) и *клеветать* — *клевецуют* (*т* — *ц*); *мазать* — *мажут* (*з* — *ж*) и *глотать* — *гложут* (*д* — *ж*). Одна и та же гласная *и* чередуется в однотипных образованиях от глагола *бить* с сочетанием *oj* (*набойка*, *маслобой*), а от глагола *лечь* — с сочетанием *ej* (*лейка*, *водолой*) и т. п.

³³ А. В. Исаченко, *Morpheme classes, deep structure and the Russian indeclinables*, стр. 64, 69.

Остается неясным, однако, почему последовательности описания, достигаемой с помощью введения «сомнительного конструкта», приносятся в жертву тот реальный факт языка, что исходными именными основами могут быть не только основы на согласную, но и на гласную. В «аналитических» работах этот факт констатируется, причем указываются и особенности поведения и распределения суффиксальных морфов, сочетающихся с этой основой: использование морфа *-ин-* (как в «Грамматике» 1970 г.) или интерфикса *-ш-* и морфа *-н-* (по Е. А. Земской) в случае *вчера — вчерашний*; наложение (Е. А. Земская и «Грамматика» 1970 г.) или усечение (Н. А. Янко-Триницкая) в случае *такси — таксист*.

Элементы *зг*, *зд*, введенные в абстрактную основу, по крайней мере имеются в формах, выводимых исследователем из этой основы, а {Q} полностью относится к исследовательским приемам: он и появляется и затем исчезает только по воле А. В. Исаченко.

Конечно, многие непротиворечивые постулаты, адекватно отражающие явления языка, по-разному формулируются в «аналитических» и «синтетических» грамматиках. Структура упомянутого выше топонима *Изобильное* в «синтетической» грамматике описывается путем указания на все этапы его порождения, представленные в его глубинной структуре: $\langle \{ \{ iz \# + b, il + ova \} + ij \} + , \# n \} + F \rangle$, т. е. *изобилловать* → *изобилие* → *изобильный* → *Изобильное*³⁴. В «аналитической» грамматике констатируется непосредственная мотивация словом *изобильный* и опосредствованные мотивации остальными словами. Правда, Д. Уорт почему-то считает, что наличие морфа *-н-* в слове *Изобильное* (равно как и его отсутствие в слове *Деина*) может вскрыть лишь «синтетическая» грамматика³⁵. Но очевидно, что различать производные и непроизводные основы способна и «аналитическая» грамматика, и если бы причины наличия (отсутствия) усечения заключались в морфном (неморфном) характере элемента *-н-*, а не в фонемном строении основы, то они нашли бы отражение и в грамматиках типа «Грамматика» 1970 г.

Обратите внимание и на явное сходство глубинной структуры слова, предлагаемой Д. Уортом, со скобочной записью словообразовательной структуры слова, предложенной Г. О. Винокуром. Уже этот факт свидетельствует о том, что сведения о «деривационной истории» слова может давать как «синтетическая», так и «аналитическая» грамматика.

Разумеется, словообразовательную морфонологию (как и словообразовательную семантику) можно описывать не только методами «аналитической» грамматики. Словообразование может быть представлено и как механизм порождения более сложных конструкций из более простых³⁶, и как система словообразовательных типов и гнезд, образуемых словами, связанными отношениями непосредственной и опосредствованной мотивации. Однако при всех различиях в подходе к словообразовательной системе различные грамматики должны, с нашей точки зрения, стремиться к сопоставимому (если не тождественному) пониманию основных строевых элементов языка и, разумеется, адекватно и непротиворечиво отражать его факты и их организацию.

³⁴ См.: Д. С. В о р т, указ. соч., стр. 382. Отметим кстати, что членение $iz \# + b, il + ova$ неточно с синхронной точки зрения: корень в этом слове *-обил-* (ср. *обильный, обилие*).

³⁵ См. там же.

³⁶ Ср., например, описание русского словообразования, выполненное под руководством С. К. Шаумяна и П. А. Соболевой («Порождающая грамматика русского языка. Генератор слов», в печати).

И. А. ПЕРЕЛЬМУТЕР

ОБ ОППОЗИЦИИ «ПЕРЕХОДНОСТЬ — НЕПЕРЕХОДНОСТЬ»
В СИСТЕМЕ ИНДООЕРОПЕЙСКОГО ГЛАГОЛА

В современных индоевропейских языках существуют особые способы (аффиксы или аналитические конструкции), с помощью которых от переходных глаголов образуются формы с интранзитивным (пассивным) значением. По вопросу о наличии специальных способов образования непеходных форм от переходных глаголов на ранних этапах развития индоевропейских языков имеются различные точки зрения, в том числе и прямо противоположные. По мнению одних исследователей, оппозиция «переходность — непеходность» получает в индоевропейских языках формальное грамматическое выражение относительно поздно¹; с точки зрения других исследователей, грамматическая оппозиция «переходность — непеходность» восходит к древнейшей поре общеиндоевропейского языкового состояния. Так, Е. Курилович полагает, что общеиндоевропейский глагол обладал двумя сериями глагольных форм: активной и пассивно-интранзитивной². Эту же точку зрения разделяет и советский компаративист Вяч. Вс. Иванов, исходящий из противопоставления «двух основных серий индоевропейских глагольных форм (пассивной и активной)»³, или же, в несколько иной формулировке, из противопоставления «непеходно-перфектно-медиопассивной 2-й серии и активной 1-й серии»⁴.

Несовместимость этих точек зрения вполне очевидна. Столь же очевидно и большое значение интересующего нас вопроса для сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков.

В нашем анализе мы будем исходить из единственной реальности, которой мы располагаем, — из материала, предоставляемого нам древними и новыми индоевропейскими языками. Обратимся прежде всего к тем способам, с помощью которых различные индоевропейские языки образуют интранзитивные формы от переходных глаголов, и попытаемся определить, могут ли хотя бы некоторые из этих способов восходить к общеиндоевропейскому языковому состоянию.

Позднее происхождение аналитических пассивных конструкций, а также интранзитивных глагольных форм с аффиксальным местоименным показателем не вызывает, разумеется, никаких сомнений. Во многих индоевропейских языках формирование этих способов интранзитивации можно проследить по письменным памятникам⁵. К более отдаленной эпохе

¹ А. В. Д е с н и ц к а я, Из истории развития категории глагольной переходности, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы», Л., 1951.

² J. K u g u l o w i c z, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 57.

³ В я ч. В с. И в а н о в, Хеттский язык, М., 1963, стр. 161.

⁴ В я ч. В с. И в а н о в, Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, М., 1965, стр. 137.

⁵ См. об этом, в частности: М. М. Г у х м а н, Развитие залоговых противопоставлений в германских языках, М., 1964. Наряду с германским материалом в этой книге широко привлекаются также материалы других индоевропейских языков.

восходят представленные в некоторых индоевропейских языках способы образования интранзитивных форм с помощью тех или иных суффиксов. Анализ соответствующих фактов убеждает нас, однако, в том, что суффиксальную интранзитивацию также нельзя возводить к ранней истории индоевропейских языков. Суффиксы, используемые для образования непереходных форм от переходных глаголов в различных индоевропейских языках, либо даже материально не являются общеиндоевропейскими, либо, будучи общеиндоевропейскими со стороны формальной, обладают функцией интранзитивации лишь в отдельных индоевропейских языках или языковых группах, а в других индоевропейских языках выступают с совершенно иными функциями, порою прямо противоположными, употребляясь, например, для образования переходных (фактитивно-каузативных) форм от непереходных глаголов. Более того, во многих случаях материал отдельно взятого индоевропейского языка позволяет нам проследить, как тот или иной суффикс приобретает в этом языке функцию интранзитивации, которая прежде не была ему свойственна.

В древнеиндийском языке пассивные формы системы презенса образуются путем присоединения к основе глагола суффикса *-yá-* (<и.-е. **-je/o-*) с ударением на тематическом гласном. Генетическая связь этих пассивных форм с древнеиндийскими глаголами четвертого класса, характеризующимися суффиксом *-ya-* и ударением на корне, общепризнанна⁶. Подтверждается она различными колебаниями в образовании форм, указывающими на отсутствие строгого разграничения между пассивом и глаголами четвертого класса. Порою формы с явно выраженным пассивным значением имеют, подобно глаголам четвертого класса, ударение на корне: *ksáyate* «он уничтожается» (*ksiṇóti* «уничтожать»), *jáyate* «он побеждается» (*jináti* «побеждать»), *múcyate* «он освобождается» (*muñcáti* «освобождать») и т. д.; в других случаях глагольные формы, не являющиеся пассивными, имеют, подобно пассивным формам, ударение на тематическом гласном: *mriyáte* «он умирает», *driyáte* «он наблюдает» и т. д.⁷. Хотя глаголы четвертого класса в большинстве своем непереходны, к этому классу принадлежат также и переходные глаголы: *mányate* «считать кого-либо кем-либо», *páśyati* «видеть что-либо, кого-либо» и т. д. Общим семантическим моментом, объединяющим почти все глаголы этого класса в ведийском языке (за исключением некоторого числа вторичных, деноминативных или девербативных, образований), выступает их видовое курсивное значение. Связь между презентными основами на *-je/o-* и непереходностью, наблюдаемая в древнеиндийском языке, является вторичной⁸. Функционирование индоевропейского суффикса **-je/o-* в основных чертах сходное с тем, которое засвидетельствовано в древнеиндийском, прослеживается в системе древнеиранского (авестийского) глагола⁹, но за пределами индоиранских языков суффикс **-je/o-* в роли интранзитивирующего форманта не выступает.

В классическом армянском языке формы пассива в системе презенса образуются путем присоединения к основе глагола суффикса *-i-* (напри-

⁶ А. А. М а с д о н е л л, *Vedic grammar*, Strassburg, 1910, стр. 331; L. R e n o u, *Grammaire de la langue védique*, Lyon — Paris, 1952, стр. 292; Т. В у р г о w, *The Sanskrit language*, London, 1955, стр. 352 и сл.; А. Т h u m b—R. Н а u s c h i l d, *Handbuch des Sanskrit*, II, Heidelberg, 1959, стр. 333; Т. Я. Е л и з а р е н к о в а, *Значение основ презенса в Ригведе*, сб. «Языки Индии», М., 1961, стр. 126.

⁷ А. А. М а с д о н е л л, указ. соч., стр. 331; L. R e n o u, указ. соч., стр. 292; Т. В у р г о w, указ. соч., стр. 353; Т. Я. Е л и з а р е н к о в а, указ. соч., стр. 109, 113.

⁸ Т. Я. Е л и з а р е н к о в а, указ. соч., стр. 132.

⁹ С h r. В а r t h o l o m a e, *Das altiranische Verbum in Formenlehre und Syntax dargestellt*, München, 1878, стр. 114 и сл.

мер, *berem* «я несу» — *berim* «я несом, меня несут») ¹⁰, но этот же презентный основообразующий суффикс мы наблюдаем и у глаголов, не являющихся пассивными: *nstim* «я сижу», *meranim* «я умираю» и т. д.; в ряде случаев суффикс *-i-* выступает в основе презенса переходных глаголов: *sksanim* «я начинаю», *xawsim* «я говорю» ¹¹. Презентный основообразующий суффикс *-i-* классического армянского языка имеет общее происхождение со славянским презентным суффиксом *-i-* (<*-i-*>) ¹², который выступает у глаголов со стательным значением. К глаголам этого морфологического типа в славянском относятся по преимуществу непереходные глаголы [ст.-слав. *bъditъ* «он бодрствует» (инф. *bъděti*), *visitъ* «он висит» (инф. *visěti*), *sěditъ* «он сидит» (инф. *sěděti*), *bolitъ* «он болеет» (инф. *bolěti*), *goritъ* «он горит» (инф. *gorěti*)], но наряду с непереходными к этому типу принадлежат и некоторые переходные глаголы: *viditъ* «он видит» (инф. *viděti*), *slyšitъ* «он слышит» (инф. *slyšati*), *tyrpitъ* «он терпит» (инф. *tyrpěti*), *držitъ* «он держит» (инф. *držati*), *vrtitъ* «он вертит» (инф. *vrtěti*) и т. д. Относительно суффикса *-i-* мы можем прийти к тому же выводу, которым мы заключили рассмотрение суффикса *-je/o-*: использование этого суффикса в качестве интранзитивизирующего форманта не является исконным, первоначально этот суффикс служил приметой глаголов с определенной видовой семантикой, а именно стательных глаголов (глаголов, означающих состояние), которые чаще бывают непереходными, но могут быть и переходными.

В готском языке имеется около 60 глаголов со словообразовательным суффиксом *-na/-nō-* (так называемый четвертый класс слабых глаголов). Все эти глаголы непереходны, большей частью они обозначают становление какого-либо состояния. Во многих случаях этим глаголам противостоят образованные от того же корня переходные глаголы, сильные или слабые 1-го класса: *us-gutnan* «пролиться, вылиться» — *giutan* «лить», *fullnan* «наполняться» — *fulljan* «наполнять» и т. д. Эта же словообразовательная модель засвидетельствована и в других германских языках (скандинавских, западногерманских), где она имеет значительно меньшую продуктивность, чем в готском ¹³. За пределами германских языков мы наблюдаем сходное функционирование назального суффикса в славянских языках: ср. русск. *гаситъ* — *гаснутъ*, *губитъ* — *гибнутъ*, *мочитъ* — *мокнутъ*, *слепитъ* — *слепнутъ* и т. д. ¹⁴. В других индоевропейских языках подобное использование назального суффикса не прослеживается ¹⁵. Если, рассматривая суффиксы *-je/o-* и *-i-*, мы могли высказать какое-либо суждение о их первоначальной функции, то по отношению к назальному суффиксу сделать это гораздо труднее. С уверенностью можно утверждать лишь одно: связь назального форманта с интранзитивностью представляет собой ареальную инновацию и не восходит к общеиндоевропейскому языковому состоянию. В этой связи большое значение имеет тот факт, что в ряде индоевропейских языков наблюдается тенденция к использованию суффикса с назальным элементом для образования транзитивных (факти-

¹⁰ A. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, 2-е éd., Vienne, 1936, стр. 107.

¹¹ Э. Г. Туманян, *Древнеармянский язык*, М., 1971, стр. 337.

¹² A. Meillet, указ. соч., стр. 107 и сл.; А. Мейе, *Общеславянский язык*, М., 1951, стр. 187.

¹³ М. М. Гухман, *Глагол в германских языках*, «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 190 и сл.

¹⁴ Chr. S. Stang, *Das slavische und baltische Verbum*, Oslo, 1942, стр. 54.

¹⁵ В особом положении находятся балтийские языки, где в качестве интранзитивизирующего форманта выступает не назальный суффикс, а назальный инфикс. См. об этом: Chr. S. Stang, *Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen*, Oslo—Bergen — Tromsø, 1966, стр. 338 и сл.

тивно-каузативных) форм от непереходных глаголов. Подобная тенденция характерна для древнеиндийского языка, где глаголы с назальным суффиксом большей частью являются переходными, а в некоторых случаях активному глаголу с назальным суффиксом, имеющему переходное значение, противопоставлен образованный от этого же корня медиальный глагол без назального элемента, выступающий в непереходном значении (например, *ṛunāti* «он очищает» — *ṛavate* «он блистает») ¹⁶. В балтийских языках суффикс с назальным элементом используется для образования глаголов с каузативным значением от глаголов непереходных ¹⁷. В хеттском языке суффикс *-ni-* служит обычным средством образования каузативов: *ar-* «прибывать, достигать»/*arnu-* «приносить, доставлять», *ṣar-* «гореть»/*ṣarnu-* «зажигать», *ḥark-* «гибнуть»/*ḥarganu* «губить» и т. д. ¹⁸.

До сих пор мы ограничивали наш анализ только такими формантами, которые являются по своему происхождению презентными основообразующими суффиксами (различные варианты суффикса с элементом *-i-*, различные варианты назального суффикса), но в качестве интранзитивизирующих формантов используются также суффиксы, имеющие иное происхождение. В системе аориста древнегреческого языка в этой роли выступают суффиксы *-η-* и *-θη-*; *τρέφω* «кормлю, возвращаю» — *ἐτρέφην* «я был вскормлен, возвращен», *φθείρω* «гублю» — *ἐφθάρην* «я погиб, я был погублен», *ἐγείρω* «бужу» — *ἠγέρθη* «я пробудился», *λύω* «развязываю, освобождаю» — *ἐλύθη* «я был развязан, освобожден» и т. п. Суффикс *-θη-* не имеет соответствий за пределами греческого языка, индоевропейские связи суффикса *-η-* несомненны. В ряде индоевропейских языков суффикс **-ē-* характеризует класс глаголов, которым свойственно обозначение состояния ¹⁹, большей частью эти глаголы непереходны, но многие глаголы этого морфологического типа сочетаются в предложении с винительным падежом прямого дополнения: ср. лат. *latēre* (*latē-re*) «быть скрытым», *silēre* «молчать», *calēre* «быть горячим», *iacēre* «лежать», *vigēre* «быть бодрым», *manēre* «оставаться», но также *vidēre* «видеть», *timēre* «бояться», *habēre* «иметь», *tenēre* «держаться» и т. д.; ст.-слав. *brǫdĕti* (*brǫdĕ-ti*) «бодрствовать», *skrbĕti* «печалиться», скорбеть», *sĕdĕti* «сидеть», *gorĕti* «гореть», но также *vidĕti* «видеть», *zbrĕti* «смотреть, видеть», *trpĕti* «терпеть», *vrĕtĕti* «вертеть» и т. д.; др.-в.-нем. *swigĕn* (*swigĕ-n*) «молчать», *lohĕn* «гореть, пылать», *lebĕn* «жить», *dagĕn* «молчать», но также *fiĕn* «ненавидеть», *dolĕn* «терпеть», *habĕn* «иметь» и т. д. ²⁰. Для того чтобы убедиться в том, что функция интранзитивизации не является для суффикса *-ē-* ископной, нет даже необходимости сопоставлять материал различных индоевропейских языков: глагольные формы с суффиксом *-η-* (<и-е. **-ē-*), управляющие винительным падежом прямого дополнения, в единичных случаях засви-

¹⁶ J. K u r y ł o w i c z, Le genre verbal en indo-iranien, RO, VI, 1928, стр. 208; е го же, Le hittite, «Proceedings of the VIII international congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 242; F. B. J. K u i p e r, Die indogermanischen Nasalpräsentia, Amsterdam, 1937, стр. 215; L. R e n o u, Grammaire de la langue védique, стр. 264; е го же, Grammaire sanscrite, Paris, 1961, стр. 423.

¹⁷ F. B. J. K u i p e r, Die indogermanischen Nasalpräsentia, стр. 216; C h r. S. S t a n g, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, стр. 367 и сл.

¹⁸ J. K u r y ł o w i c z, Le hittite, стр. 242; J. F r i e d r i c h, Hethitisches Elementarbuch, I, 2-te Aufl., Heidelberg, 1960, стр. 74; A. K a m m e n h u b e r, Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch, в кн.: «Altkleinasiatische Sprachen», Leiden — Köln, 1969, стр. 231.

¹⁹ Подробнее об этом см.: И. А. П е р е л ь м у т е р, К становлению категории времени в системе индоевропейского глагола, ВЯ, 1969, 5, стр. 15 и сл.

²⁰ Отсутствие обязательной связи между индоевропейским формантом **-ē-* и интранзитивностью справедливо отмечается в работе Г. Вагнера: H. W a g n e r, Zu den indogermanischen *-ē-* Verben, ZfcltPh, 25, 3, 1956, стр. 161.

детельствованы в древнегреческом языке: $\acute{\epsilon}\delta\alpha\eta\upsilon$ «я узнал» (Гомер и др.) $\acute{\epsilon}\delta\rho\acute{\alpha}\chi\eta$ «я увидел» (Пиндар).

Предшествующее изложение, как нетрудно было заметить, не имело полемической направленности; в том, что основообразующим формантам индоевропейского глагола первоначально не была свойственна функция интранзитивации, компаративисты, за редкими исключениями, согласны между собой²¹.

Теперь мы переходим к проблемам, являющимся в науке дискуссионными.

Некоторые исследователи склонны усматривать разное отношение к категории переходности у различных морфологических типов индоевропейского аориста. Первоначальная интранзитивность приписывается при этом корневому атематическому аористу. По мнению Вяч. Вс. Иванова, греческо-арийский корневой атематический аорист восходит ко второй серии индоевропейских глагольных форм²². Вяч. Вс. Иванов исходит в данном случае из чисто формального (фонетического) момента — наличия рефлекса ларингального у корней соответствующего типа, но поскольку он связывает со второй серией индоевропейских глагольных форм определенное значение (непереходно-медиопассивное), то тут неизбежно возникает вопрос, в какой мере соответствуют атематические аористы тому представлению о функционально-семантической сфере второй серии глагольных форм, которое выдвигается в работах этого автора. Интересно отметить, что вне всякой связи с ларингальной теорией точку зрения о преимущественной интранзитивности атематических аористов с долгим гласным в корне (а именно эти аористы рассматриваются Вяч. Вс. Ивановым) высказал П. Шантрен²³.

Обратимся прежде всего к фактам древнеиндийского языка, в котором корневой атематический аорист представлен очень широко, а корни на долгий гласный составляют довольно многочисленную группу среди корней, образующих аорист этого типа. В Ригведе, древнейшем памятнике древнеиндийского языка, атематический аорист является самым распространенным типом аориста, он засвидетельствован здесь более чем от ста глагольных корней²⁴. Формы атематического аориста, образованные от переходных глаголов и сами выступающие с переходным значением, в количественном отношении явно преобладают над формами, образованными от непереходных глаголов. Атематические аористы от корней с долгим гласным не составляют в этом отношении исключения²⁵. Факты древнеиндийского языка, таким образом, отнюдь не свидетельствуют о преимущественной интранзитивности атематического аориста.

²¹ В свое время П. Дильс пытался доказать существование индоевропейского пассива, характеризовавшегося суффиксом $*-ze/o-$ (P. D i e l s, Über das indogermanische Passivum, «Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur», Jahresbericht 91, IV Abt. — Orientalisch-Sprachwissenschaftliche Sektion, 1913). П. Дильс не сумел выдвинуть в пользу своей точки зрения убедительных аргументов. Г. Хирт был, по-видимому, единственным индоевропеистом, поддержавшим Дильса в этом вопросе (H. H i r t, Indogermanische Grammatik, IV, Heidelberg, 1928, стр. 134; е г о ж е, Indogermanische Grammatik, VI, Heidelberg, 1934, стр. 209).

²² Вяч. Вс. И в а н о в, Общайндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, стр. 77, 82, 85, 112, 174; е г о ж е, Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском, «Славянское языкознание (VI Международный съезд славистов)», М., 1968, стр. 227, 228, 230, 242, 256, 261, 263.

²³ P. C h a n t r a i n e, Les aoristes athématiques à voyelle longue en grec ancien, MSLP, 23, 1927, стр. 135 и сл.

²⁴ Т. Я. Е л и з а р е н к о в а, Аорист в «Ригведе», М., 1960, стр. 63.

²⁵ Глагольные корни, образующие атематический аорист, перечисляются в указанной работе Т. Я. Елизаренковой на стр. 69—90.

В древнегреческом языке среди немногочисленных атематических аористов, имеющих активную флексию, формы с переходным значением встречаются во всяком случае не реже форм непереходных [ἔδωκε «он дал», ἔθηκε «он положил, поставил», ἔθηκε «он пустил, бросил», ἔκτα «он убил», ἔφθη «он опередил (кого-либо)», ἔτλη «он вытерпел, выдержал (что-либо)», ἔγινω «он узнал (кого-либо, что-либо)»], но у нескольких глаголов наблюдается странное отклонение от обычной нормы: формы активного презенса этих глаголов имеют переходное значение, а формы активного атематического аориста — значение непереходное (δύω «я погружаю» — ἔδδυν «я погрузился», φύω «я возвращаю» — ἔφυν «я вырос», ἵστημι «я ставлю» — ἔστην «я встал», σκέλλω «я сушу» — ἔσκλην «я иссох») ²⁶.

Во всех этих случаях перед нами несомненная греческая инновация, а не отражение каких-либо закономерностей отдаленных периодов языкового развития. Противопоставление переходного δύω и непереходного ἔδδυν возникло уже относительно поздно в истории древнегреческого языка. У Гомера оно не наблюдается, формы активного презенса этого глагола имеют в языке Гомера непереходное значение, совпадая в этом отношении с формами атематического аориста. Презенс φύω выступает у Гомера не только в переходном, но также и в непереходном значении (Ил. VI, 149); первоначальным для этого глагола следует признать непереходное значение; во всех индоевропейских языках, где этот глагол засвидетельствован, он выступает как исконно интранзитивный (и.-е. корень *bhū-; др.-инд. презенс *bhavati*, аорист *abhūt* «быть, делаться, происходить»; лат. *fui* «я был», литов. *būti* «быть, находиться»; русск. *быть* и т. д.), поэтому у какой-либо интранзитивирующей функции атематического аориста в данном случае не приходится говорить. Глагол ἵστημι (<ἵσταμι) «ставить» образует корневой атематический аорист с переходным значением ἔστην «я встал» и переходный сигматический аорист ἔστησα «я поставил». Хотя презенс ἵστημι повсюду обнаруживает только переходное значение, в современной науке широко принята точка зрения, в соответствии с которой презенс ἵστημι был первоначально непереходным. Во всех индоевропейских языках глагольные формы от этого корня, содержащие и.-е. *-ā-, являются непереходными (лат. *stāre* «стоять», др.-инд. аорист *asthām* «я встал», литов. *stōti* «стать», русск. *стать* и т. д.). Изменение значения в плане переходности произошло у этого глагола под влиянием ряда факторов в системе презенса ²⁷, атематический аорист сохранил первоначальное непереходное значение индоевропейского глагольного корня *stā-. У глагола σκέλλω, который П. Шантрэн также приводит в своей статье, непереходный аорист ἔσκλην «я иссох» содержит элемент -η-; каково бы ни было его действительное происхождение, в сознании носителей языка этот элемент мог отождествляться с интранзитивирующим аористным суффиксом -η-, о котором речь шла выше.

Таким образом, рассмотренные нами аномальные явления в системе древнегреческого глагола получают удовлетворительное объяснение на основе материала самого древнегреческого языка; они не могут быть использованы в качестве аргументов в пользу существования исконной связи между корневым атематическим аористом и интранзитивностью.

Надо, впрочем, сказать, что в рассуждениях сторонников концепции двух серий глагольных форм атематический аорист не занимает большого

²⁶ P. Chantraine, указ. соч.

²⁷ H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1956—1972; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, II, Paris, 1970; И. А. Перельмутер, Морфологические типы древнегреческого аориста и категория переходности, сб. «Лингвистические исследования», I, М., 1973, стр. 261 и сл.

места, ко второй (интранзитивно-пассивной) серии эти исследователи возводят в первую очередь перфект и меди́й.

Окончания перфекта (в активных формах единственного числа) резко отличаются от личных окончаний презентно-аористной системы: перфект 1 л. ед. ч. — *a*, 2 л. ед. ч. — *tha*, 3 л. ед. ч. — *e*, презент-аорист 1 л. ед. ч. — *mi(-m)*, 2 л. ед. ч. — *si(-s)*, 3 л. ед. ч. — *ti(-t)* ²⁸. Медиальные окончания восходят, во всяком случае частично, к окончаниям перфекта ²⁹. Формальное сходство было, по-видимому, связано с близостью между перфектом и меди́ем в функционально-семантическом плане. По мнению Е. Куриловича, «семантическим признаком, общим для обеих этих категорий (для перфекта и меди́я. — *И. П.*), было интранзитивное значение» ³⁰. Именно интранзитивное значение и служило, как полагает Е. Курилович, основным семантическим признаком второй серии глагольных форм.

Эта точка зрения не может не вызвать ряда серьезных возражений. Даже Вяч. Вс. Иванов, в целом разделяющий концепцию Е. Куриловича, указывает на чрезвычайную трудность восстановления древней функции второй серии глагольных форм, «дифференциация которой на несколько групп глагольных парадигм осуществилась к началу письменной истории всех известных нам индоевропейских языков, в том числе и анатолийских» ³¹. Имеющийся в нашем распоряжении материал древних индоевропейских языков побуждает нас отнестись критически к утверждению Е. Куриловича. В древнейших памятниках индоевропейских языков (в частности у Гомера) формы перфекта многих глаголов выступают с переходным значением, в том числе и такие формы, индоевропейская древность которых подтверждается надежными соответствиями. Как правило (о единичных исключениях речь пойдет ниже), формы перфекта не отличаются от соответствующих форм презенса и аориста в плане переходности.

Меди́й в ряде древних индоевропейских языков действительно мог служить для образования интранзитивных форм от переходных глаголов, но функции меди́я этим отнюдь не ограничивались; очень часто меди́альные формы сочетаются в предложении с винительным падежом прямого дополнения, указывая в этих случаях на особый характер связи действия с субъектом (совершение субъектом действия в свою пользу, в своих интересах и т. п.) ³². Никакие данные не свидетельствуют о том, что функция интранзитивации является древнейшей функцией меди́я и была некогда единственной его функцией, как полагает Е. Курилович ³³. Наблюдаемая в истории индоевропейских языков тенденция развития меди́я в функционально-семантическом плане прямо противоположна той, которую реконструирует Е. Курилович. Функция интранзитивации постепенно все более выдвигается у меди́я на передний план, вытесняя в той или иной мере, а иногда и полностью все прочие его функции. Эта тенденция прослеживается в истории хеттского языка ³⁴. В позднем санскрите меди́аль-

²⁸ O. S z e m e r é n y i, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1970, стр. 216, 226.

²⁹ J. K u r y ł o w i c z, Les désinences moyennes de l'indo-européen et du hittite, BSLP, 33, 1932; Chr. S. S t a n g, Perfektum und Medium, NTS, VI, 1932.

³⁰ J. K u r y ł o w i c z, The inflectional categories of Indo-European, стр. 61.

³¹ Вяч. Вс. И в а н о в, Общеславянская, праславянская и анатолийская языковые системы, стр. 115.

³² Подробнее об этом см., в частности: А. Н. С а в ч е н к о, Происхождение среднего залога в индоевропейском языке, Ростов-на-Дону, 1960.

³³ J. K u r y ł o w i c z, L'aoriste au point de vue formel, «Eos», 32, 1929, стр. 221; е г о ж е. The inflectional categories of Indo-European, стр. 74.

³⁴ E. N e u, Das hethitische Mediopassiv und seine indogermanischen Grundlagen, Wiesbaden, 1968, стр. 56, 62, 63, 80, 106.

ные формы выступают чаще всего в значении рефлексива³⁵. В новогреческом языке медий служит по преимуществу для образования интранзитивных (возвратных, пассивных) форм от переходных глаголов, с винительным падежом прямого дополнения медиальные формы сочетаются лишь в том случае, если это формы депонентных глаголов³⁶.

В италийских, германских и тохарских языках, письменная история которых началась значительно позже письменной истории хеттского, древнегреческого и древнеиндийского, глагольная формация, восходящая по своему происхождению к индоевропейскому медию, выступает в первую очередь как средство образования интранзитивных форм от переходных глаголов.

В латинском языке сохранились лишь единичные следы транзитивного употребления медиопассивных форм от недепонентных глаголов³⁷. В обоих тохарских языках медиальные формы активных глаголов, управляющие винительным падежом, встречаются крайне редко³⁸. Формам готского медиопассива транзитивное употребление совершенно не свойственно³⁹.

Приведенные факты трудно согласовать с представлением о том, что функция интранзитивации была древнейшей функцией медиа, в ходе развития уступившей свое место его новым функциям. Есть все основания полагать, что функционально-семантическая эволюция медиа протекала как раз в обратном направлении.

Окончания медиа лишь частично отражают вторую серию глагольных форм, некоторые медиальные окончания представляют собой аблаутные варианты окончаний актива [2 л. ед. ч. *-so(i)/-s(i)*, 3 л. ед. ч. *-to(i)/-t(i)*, 3 л. мн. ч. *-nto(i)/-nt(i)*]; основное ядро второй серии глагольных форм составляла та формация, к которой восходит перфект древнегреческого и древних индоиранских языков, германский сильный претерит.

По мнению Е. Куриловича, «индоевропейский перфект является древнейшей формой медиопассива»⁴⁰. Для доказательства этого положения Курилович использует в основном данные древнегреческого языка. На особое значение греческого материала в этой связи он прямо указывает⁴¹. Приводя те случаи, где депонентному презенту соответствует активный перфект (*βούλωμαι — βέβουλα* «желать, хотеть», *γίγνομαι — γέγονα* «рождаться, происходить, совершаться», *δέρκομαι — δέδωρκα* «смотреть, гля-

³⁵ J. Bloch, *Indo-Aryan from the Vedas to modern times*, Paris, 1965, стр. 220.

³⁶ Под депонентными здесь понимаются не только такие глаголы, от основы которых вовсе не образуются активные формы, но также и такие, которые настолько обособились по своему значению от соответствующих (образованных от той же основы) активных глаголов, что представляют собой самостоятельную лексическую единицу. О функционально-семантической эволюции медиа в истории греческого языка см.: A. Mirambel, *Remarques sur les voix du verbe grec moderne et l'expression du passif*, BSLP, 45, 1, 1949; E. Schwyzer — A. Debrunner, *Griechische Grammatik*, II, München, 1950, стр. 235 и сл.; A. Debrunner — A. Scherer, *Geschichte der griechischen Sprache*, II, Berlin, 1969, стр. 113.

³⁷ J. Wackernagel, *Vorlesungen über Syntax*, Erste Reihe, 2-te Aufl., Basel, 1926, стр. 130 и сл.; Е. А. Реферовская, Латинская «медиальная» форма, ВЯ, 1959, 1; И. М. Тронский, Историческая грамматика латинского языка, М., 1962, стр. 211; J. B. Hofmann — A. Szantyr, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München, 1965, стр. 289.

³⁸ W. Krause, *Westtocharische Grammatik*, I — *Das Verbum*, Heidelberg, 1952, стр. 23 и сл.; W. Krause — W. Thomas, *Tocharisches Elementarbuch*, I, Heidelberg, 1960, стр. 173 и сл.

³⁹ М. М. Гухман, Глагол в германских языках, стр. 262 и сл.

⁴⁰ J. Kuryłowicz, *The inflectional categories of Indo-European*, стр. 63.

⁴¹ Там же, стр. 58.

деть» и т. п.), Курилович полагает, что подобные соответствия свидетельствуют о «теснейшей связи перфекта с медиопассивом»⁴².

Но о какой-либо связи перфекта с пассивом здесь вообще не может идти речь, поскольку все приведенные глаголы с депонентным презенсом ничего общего с пассивом по своему значению не имеют. Эти соответствия не могут также служить основанием для вывода о связи перфекта с медиом. Уже давно и твердо установлено, что перфект первоначально имел лишь один ряд личных окончаний, так называемые активные окончания, что медиальные окончания проникли в систему перфекта относительно поздно⁴³; поэтому вполне естественно, что и активному презенсу соответствует так называемый активный перфект, и медиальному презенсу может соответствовать тот же самый так называемый активный перфект, поскольку медиального перфекта до определенного времени вообще не существовало.

Но в древнегреческих памятниках засвидетельствовано некоторое количество глаголов (приблизительно двадцать), у которых активному транзитивному презенсу противостоит активный интранзитивный перфект: *πειθω* «я убеждаю» — *πέποιθα* «я верю», *ἔλτω* «я внушаю надежду» — *ἔολλα* «я надеюсь», *ἄλλομι* «я гублю» — *ἄλωλα* «я погиб», *φθειρω* «я гублю» — *ἔφθορα* «я погиб» и т. д. Эти случаи, на первый взгляд, могут служить подтверждением точки зрения Куриловича, и они заслуживают самого пристального рассмотрения.

Прежде всего необходимо отметить, что ни у одного глагола этой группы подобное соотношение в функциональном плане между формой презенса и формой перфекта не находит соответствия за пределами древнегреческого языка, хотя в принципе можно было бы ожидать наличия таких соответствий в языках индоиранских, глагольная система которых обнаруживает очень большую степень близости с глагольной системой древнегреческого языка.

Заслуживает внимания в этой связи также и тот факт, что уже у Гомера имеется некоторое число перфектов (приблизительно пятнадцать), которые образованы от переходных глаголов и сами являются переходными (*πλήσσω* «ударять» — *πέπληγα*, *ἔρδω* «делать» — *ἔοργα*, *ἔδω* «есть, поедать» — *ἔδηδα*, *οἶδα* «знать» — *κάσχω* «терпеть» — *πέπονθα*, *βιβρώσκω* «есть, поедать» — *βέβρωκα*, *βιάω* «толкать, наступать» — *βεβίηκα*, *βάλλω* «бросать» — *βέβληκα*, *δέρκομαι* «глядеть, видеть» — *δέδορκα*, *λείπω* «оставлять» — *λέλοιπα*, *κόπτω* «ударять» — *κέκοπα*, *ώραώ* «видеть» — *ἔωραπα*, *μειρομαι* «получать в удел» — *ἔμιορα*, *λαγχάνω* «получать в удел» — *λέλογγα*, *χανδάνω* «вмещать, содержать» — *κέχανδα*), причем некоторые перфекты этой группы имеют надежные индоевропейские этимологии: *δέδορκα* — др.-инд. *dadárśa*; *λέλοιπα* — др. инд. *riréca*, лат. *(re)liqui*; *οἶδα* — др.-инд. *veda*.

Никаких сколько-нибудь основательных доводов в пользу глубокой индоевропейской древности оппозиции типа *πειθω* — *πέποιθα* приведено не было. По всей вероятности, рассматриваемое нами явление представляет собой древнегреческую инновацию. Попытаемся понять, каким образом эта инновация могла возникнуть.

В истории древнегреческого языка во многих случаях мы наблюдаем, что от глаголов первоначально депонентных в дальнейшем образуются активные формы с фактитивным значением. Так, например, у Гомера и Гесиода имеется депонентный глагол *ἀγάλλομαι* «красоваться, гордиться», лишь у Пиндара и Эврипида мы встречаем активный глагол от этой же

⁴² Там же, стр. 61.

⁴³ См. например: В. D e l b r ü c k, *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*, II, Strassburg, 1897, стр. 415; А. М e i l l e t, *Les désinences du parfait indo-européen*, BSLP, 25, 1924, стр. 95 и сл.

основы ἀγάλλω «украшать, прославлять». У Гомера большим числом форм представлен депонентный глагол αἶδομαι «гореть, пылать», активные формы этого глагола со значением «жечь, зажигать» засвидетельствованы лишь у Эсхила и Геродота. Глагол ἀτόζομαι «быть изумленным, пораженным» встречается у Гомера только в медиальной форме, активный глагол ἀτόζω «поражать, изумлять» представлен в очень позднем памятнике, у Феокрита. Большим числом форм засвидетельствован у Гомера глагол μαίνομαι «безумствовать», активные формы этого глагола с фактивным значением (ἐκμαίνω «приводить в гнев, в безумие») представлены единичными формами у Эврипида и Аристофана. То же самое можно сказать и о некоторых других глаголах, имеющих у Гомера только медиальные формы: νοσφίζομαι «удаляться»; позднее также νοσφίζω «удалять, похищать»; σήπομαι «гнить», позднее также σήπω «гноить»; τέρομαι «сохнуть», позднее также τέρω «сушить» и т. д.

Тот факт, что у многих глаголов активные формы с фактивным значением вторичны по отношению к интранзитивным медиальным формам, уже давно установлен в науке⁴⁴.

Представим себе вполне обычный случай — депонентный глагол имеет активный перфект: например, μαίνομαι «безумствовать» — μέμνηα «быть в состоянии безумия». Когда в дальнейшей истории языка от глагола μαίνομαι был образован активный презенс с фактивным значением μαίνω «приводить в состояние безумия», то между формами активного презенса и активного перфекта возникло как раз то самое отношение в плане функционально-семантическом, которое служит предметом нашего рассмотрения (активный транзитивный презенс — активный интранзитивный перфект): μαίνω «делать безумным» — μέμνηα «безумствовать».

У данного глагола интересующее нас явление возникло уже в исторический период. Процессы подобного рода несомненно происходили и в доистории древнегреческого языка. Во многих случаях в пользу первичности интранзитивного значения у рассматриваемых нами глаголов свидетельствуют данные, которые можно почерпнуть из сравнительно-исторического анализа.

Глаголу πείθω «убеждать» со стороны звуковой формы точно соответствует лат. *fīdo*, *-ere* «верить, доверять, полагаться», но в греческом это значение передается медиальной формой πείθομαι. Первичность медиального πείθομαι по отношению к активному πείθω общепризнана⁴⁵. И у этого глагола противопоставление активного транзитивного презенса активному интранзитивному перфекту (πείθω «я убеждаю» — πέποιθα «я убежден, я верю») представляет собой инновацию, возникшую в результате того, что от основы πείθ-, имевшей первоначально в древнегреческом только медиальные формы с интранзитивным значением, в дальнейшем стали образовываться и активные формы со значением фактивным.

Противопоставление ἐγείρω «будить» — ἐγρήγορα «бодрствовать» имеет, по всей вероятности, также вторичное происхождение; медиальные формы этого глагола со значением «бодрствовать» древнее активных его форм; в древнеиндийском языке представлено лишь медиальное *jārate* «просypаться, бодрствовать»⁴⁶.

⁴⁴ В. Delbrück, *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*, II, стр. 417 и сл.; E. Schwyzer — A. Debrunner, *Griechische Grammatik*, II, стр. 227 и сл.

⁴⁵ P. Chantraine, *Grammaire homérique*, I, Paris, 1942, стр. 283; H. Frisk, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1954—1972.

⁴⁶ H. Frisk, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*; P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, II; M. Mauryer, *Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*, I, Heidelberg, 1956, стр. 427. Древнеиндийский глагол с транзитивным значением, образованный от этого корня, *jāgārti* «будить» имеет вторичное (деперфективное) происхождение.

Презенс $\tau\acute{\iota}\rho\omega$ «растоплять, плавить» противостоит перфекту $\tau\acute{\epsilon}\tau\eta\kappa\alpha$ «таять, растекаться», и в данном случае рассматриваемая нами оппозиция в плане транзитивности возникла, по-видимому, уже в древнегреческом языке; образованные от того же корня глаголы в других индоевропейских языках имеют непереходное значение: русск. *таять*, лат. *tabeo* / *-ēre* «таять, растекаться».

Общепризнано, что активное $\acute{\epsilon}\lambda\pi\omega$ «внушать надежду, обнадеживать» произведено от медиального $\acute{\epsilon}\lambda\pi\omicron\mu\alpha\iota$ «надеяться»⁴⁷, следовательно, противопоставление активного транзитивного презенса активному интранзитивному перфекту и у этого глагола ($\acute{\epsilon}\lambda\pi\omega$ «обнадеживать» — $\acute{\epsilon}\sigma\lambda\tau\alpha$ «надеяться») представляет собой инновацию.

Ту же оппозицию мы наблюдаем у глагола $\varphi\theta\acute{\epsilon}\iota\rho\omega$ ($\varphi\theta\acute{\epsilon}\iota\rho\omega$ «губить» — $\acute{\epsilon}\varphi\theta\omicron\rho\alpha$ «быть погибшим»); древнеиндийский глагол *ksárati*, этимологически соответствующий глаголу $\varphi\theta\acute{\epsilon}\iota\rho\omega$, имеет непереходное значение «течь, растекаться, исчезать».

Нельзя исключить того, что и у каких-либо других глаголов рассматриваемой нами группы активные формы с фактивным значением производны от непереходных медиальных форм. Так, например, Б. Дельбрюк полагал, что $\delta\alpha\acute{\iota}\omicron\mu\iota$ «гореть» первично по отношению к $\delta\alpha\acute{\iota}\omega$ «зажигать»⁴⁸. Важно отметить, что ни один из глаголов рассматриваемой нами группы не относится к числу глаголов *activa tantum*, все эти глаголы имеют, наряду с активными, также и медиальные формы.

Возможно, впрочем, что транзитивное значение у презенсов рассматриваемой нами группы глаголов появлялось не только в результате образования активных форм от первоначально депонентных глаголов, это значение могло возникать и с помощью других морфологических процессов, в частности путем присоединения к основе глаголов транзитивирующих формантов. Особого внимания в этой связи заслуживают презенсы, основа которых осложнена суффиксом *-vu-*: $\pi\acute{\tau}\gamma\nu\mu\iota$ «я вколачиваю» — $\pi\acute{\epsilon}\kappa\eta\gamma\acute{\epsilon}$ «(копье) воткнуто», $\chi\omicron\rho\acute{\epsilon}\nu\nu\omicron\mu\iota$ «я кормлю, насыщаю» — $\chi\epsilon\chi\omicron\rho\eta\acute{\omega}\varsigma$ (причастие активного перфекта) «насыщенный», $\delta\lambda\lambda\omicron\mu\iota$ (<* $\delta\lambda$ - $\nu\omicron$ - $\mu\iota$) «я гублю» — $\delta\lambda\omega\lambda\alpha$ «я погиб», $\delta\rho\nu\omicron\mu\iota$ «я поднимаю, возбуждаю» — $\delta\rho\rho\rho\epsilon$ «(спор) поднялся, начался», $\acute{\alpha}\gamma\nu\omicron\mu\iota$ «я ломаю, разбиваю» — $\acute{\epsilon}\alpha\gamma\epsilon$ «(палица) сломана», $\rho\acute{\eta}\gamma\nu\omicron\mu\iota$ «я ломаю, разрываю» — $\acute{\epsilon}\rho\rho\omega\gamma\epsilon$ «(одежда) разорвана». В пользу того, что суффикс *-vu-* выступает здесь с транзитивирующей функцией, можно привести ряд доводов. Связь между суффиксами *-vu-* и транзитивностью не вызывает сомнений. Все глаголы на *-vu-* с активной флексией (а их приблизительно пятьдесят, не считая глаголов с приставками)⁴⁹ имеют отчетливо выраженное переходное значение⁵⁰. Противопоставление транзитивного презенса с суффиксом *-no-/-ni-* интранзитивным формам аориста и перфекта того же глагола наблюдается также в древнеиндийском языке⁵¹. Образование каузативных глаголов с помощью суффикса *-ni-* широко представлено в хеттском языке (см. выше).

Итак, у большинства глаголов рассматриваемой нами группы транзитивное значение презенса выступает как вторичное, а перфект сохраняет

⁴⁷ Н. Frisk, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*; P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, II.

⁴⁸ В. Delbrück, *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*, II, стр. 36, 418.

⁴⁹ См.: P. Kretschmer — E. Lосker, *Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache*, 2-te Aufl., Göttingen, 1963.

⁵⁰ Единственное исключение — глагол $\zeta\acute{\epsilon}\nu\nu\omicron\mu\iota$ «кипеть», засвидетельствованный лишь в поздних памятниках. См.: E. Schwyzer, *Griechische Grammatik*, I, München, 1953, стр. 685, 697.

⁵¹ F. В. J. Kuiper, *Die indogermanischen Nasalpräsentia*, стр. 215; Т. Я. Елиа: ренкова, *Значение основ презенса в Ригведе*, стр. 106.

исконное непереходное значение соответствующего глагольного корня⁵². Греческий материал, вопреки мнению Е. Куриловича, не свидетельствует о первоначальной интранзитивирующей функции перфекта и не дает основания связывать со второй серией индоевропейских глагольных форм (перфектной и медиальной) непереходное значение. Ничего существенно нового в этом плане нельзя извлечь и из хеттского материала; к хеттскому спряжению на *-hi*, которое обычно возводят ко второй серии глагольных форм, принадлежат и непереходные и переходные глаголы⁵³.

В ходе предшествующего изложения мы рассмотрели целый ряд попыток найти какие-либо морфологические способы, служившие в общиндоевропейском для образования интранзитивных форм от транзитивных глаголов; как мы стремились показать, эти попытки не привели к убедительным результатам. В системе общиндоевропейского глагола большую роль играло иное разграничение, лишь отчасти соприкасавшееся с оппозицией «переходность — непереходность», а именно разграничение между глаголами действия и глаголами состояния⁵⁴. Глаголы состояния характеризовались особым формальным строением (личные окончания так называемого индоевропейского перфекта, основообразующие индоевропейские суффиксы **-ā-*, **-ē-*)⁵⁵, основным семантическим признаком этих глаголов служила, по-видимому, стательность в сочетании с инактивностью субъекта⁵⁶. Большей частью эти глаголы были непереходными («бодрствовать», «болеть», «лежать», «висеть», «гореть», «сиять», «молчать», «иметь обыкновение», «быть похожим» и т. д.), но они могли быть и переходными, выражая в этих случаях по преимуществу (но не исключительно) психические процессы и чувственные восприятия («видеть», «знать», «терпеть», «бояться», «иметь», «держать» и т. д.). Поскольку глаголы состояния в большинстве своем были непереходными, характеризующие их формальные признаки в истории отдельных индоевропейских языков могли быть использованы в качестве интранзитивирующих формантов (например, индоевропейский суффикс **-ē-* в системе древнегреческого аориста), но это произошло уже относительно поздно.

Особые морфологические способы, маркирующие синтаксическое поведение глагола, служащие для образования интранзитивных форм от переходных глаголов, возникают в индоевропейских языках несравненно позднее, чем формальные различия между глаголами с семантикой действия и глаголами с семантикой состояния.

⁵² Вполне возможно, что в отдельных случаях возникшая уже оппозиция «переходный активный презенс — непереходный активный перфект» получила распространение путем аналогии, что у отдельных глаголов изменение значения [(переходность > непереходность) произошло в системе перфекта.

⁵³ J. K u r i l o w i c z, *Le hittite*, стр. 237. См. также выступление Р. Кроссленда в прениях по докладу Е. Куриловича на VIII международном конгрессе лингвистов («Proceedings of the VIII international congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 248).

⁵⁴ И. М. Т р о н с к и й, *Общиндоевропейское языковое состояние*, Л., 1967, стр. 91.

⁵⁵ См. об этом: И. А. П е р е л ь м у т е р, *О первоначальной функции индоевропейского перфекта*, ВЯ, 1967, 1; е г о ж е, *К становлению категории времени в системе индоевропейского глагола*; е г о ж е, *Индоевропейские глагольные основы с исходом на долгий гласный*, «Лингвистические исследования», I, М., 1973.

⁵⁶ Значения, в которых употребляются здесь эти термины (стательность, инактивность субъекта), раскрыты в указанных работах автора.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. Х. ИБРАГИМОВ

О МНОГОФОРМАНТНОСТИ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ВОСТОЧНОКАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ(На материале рутульского, цахурского,
крызского и будухского языков)

Внимание исследователей с давних пор привлекают случаи, когда в языках нарушена структурная и семантическая мотивированность языковых знаков¹, в результате чего отдельные языковые явления не поддаются объяснению «ни логикой системной организации, ни логикой обозначаемых знаками вещей и явлений объективного мира»². В этом плане образование мн. числа вообще, имен существительных в частности, в восточнокавказских языках имеет ряд примечательных особенностей. В языках с именной классификацией мн. число образуется двумя способами: 1) присоединением специальных формантов множественности (их принимают слова, в которых морфологически не выражена классная дифференциация, например, рутульск. *хал* «дом» — *хал-быр* «домá»); 2) посредством изменения соответствующих показателей грамматических классов (например, в глаголах, для которых в основном характерна морфологически выраженная классная дифференциация, ср. в цахурском: *гаде хъа-р-ы* «парень пришел» — *гаде-бы хъа-б-ы* «парни пришли», *й ичи хъа-р-ы* «сестра пришла» — *йиче-б-ы хъа-б-ы* «сестры пришли», *йац хъа-б-ы* «бык пришел» — *йац-бы хъа-д-ы* «быки пришли», *дев хъа-д-ы* «чудище пришло» — *дей-бы хъа-д-ы* «чудища пришли»).

Второй способ образования мн. числа в восточнокавказских языках предельно ясен и не нуждается в особых комментариях. Сложнее обстоит дело с первым способом — образованием мн. числа имен существительных (т. е. того разряда слов, который грамматически не дифференцирован по классам). В одних языках для производства мн. числа имен существительных используется несколько простых формантов множественности, в других — большое количество формантов множественности как простых, так и сложных. К тому же засвидетельствованные форманты множественности генетически неоднородны: одни из них материально идентичны с экспонентами грамматического класса, другие имеют местоименное происхождение.

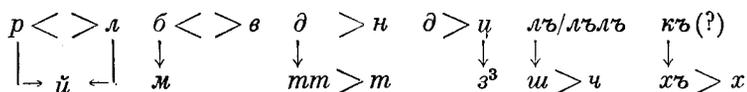
В восточнокавказских языках форманты множественности имеют в своем составе: 1) согласные и комплексы согласных — *ш, й, рч, б, ц,*

¹ П. К. Услар, например, отмечал, что им. падеж мн. числа в чеченском, аварском, лакском и хюркилинском языках имеет много «неправильностей» и что «образование его не может быть подведено под определенные правила» (П. К. Услар, Чеченский язык, Тифлис, 1888, стр. 23, 26, 36—38; е го ж е, Аварский язык, Тифлис, 1889, стр. 60—66; е го ж е, Лакский язык, Тифлис, 1890, стр. 22, 25; е го ж е, Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 39, 44). См. также: З. М. Магомедбекова, Ахвахский язык, Тбилиси, 1967, стр. 43—44; А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловяникова, Фрагменты грамматики хивалугского языка, [М.], 1972, стр. 48—49, 57—58.

² «Общее языкознание», М., 1970, стр. 121.

p, рш, з, л, д, н, м, лъ, лълъ, в, тт, лт, хъ, т, х, къ; 2) гласные — *a, u, y, o, e(э), аь, ы, аI, ā*. В качестве формантов множественности самостоятельно могут быть представлены как одни согласные, так и одни гласные; в частности, формантами множественности выступают гласные *-и, -е, -а, -о, -у, -аь, -ā*.

В плане материальной общности и с учетом фонетических изменений согласные элементы формантов множественности можно свести в следующие группы:



Согласные *p < > л, б < > в, д* материально связаны с показателями грамматического класса⁴. В составе формантов множественности они представлены как самостоятельно, так и в различных консонантных сочетаниях.

Согласные *лъ/лълъ (>и >ч), къ⁵ (>хъ >х)* мы считаем детерминантами множественности местоименного происхождения: эти согласные, в частности *лъ/лълъ (>и >ч)*, представлены в структуре личных местоимений 1-го и 2-го лица мн. числа ряда восточнокавказских языков. Однако в составе личных местоимений названные согласные лишены функционального значения показателя множественности⁶. Лишь в даргинском языке *-и-* в личных местоимениях выступает в качестве показателя множественности, например: *ну «я» — ну-ша «мы», хIу «ты» — хIу-ша «вы»*. В цахурском значение *-и-* как показателя множественности личных местоимений значительно затемнено, ср.: *зы «я» — и-и «мы», зьу «ты» — и-у «вы»* (членение *и-и, и-у* в цахурском языке является совершенно условным). Данные даргинского языка (частично и цахурского) позволяют утверждать, что *-и-*, а также соотносимые с ним согласные (*лъ/лълъ, ч*) в составе личных местоимений исторически являлись показателями мн. числа. Форманты *лъ/лълъ (>и >ч)* в образовании мн. числа имен существительных в некоторых восточнокавказских языках играют весьма значительную роль (например, в чеченском *-и* является основным показателем множественности имен существительных).

Таким образом, в восточнокавказских языках с точки зрения генетической можно выделить два типа формантов множественности имен существительных: 1) классного и 2) местоименного происхождения. Более древними, видимо, являются форманты множественности классного происхождения. Соотношение этих двух типов формантов множественности первоначально могло быть весьма сложным, поскольку в синхронном плане образование мн. числа имен существительных в восточнокавказ-

³ В специальной литературе *-э* трактуется как фонетический вариант *-д* (Ш. И. М и к а и л о в, Сравнительно-историческая морфология аварских диалектов, Махачкала, 1964, стр. 26).

⁴ См. об этом: Л. И. Ж и р к о в, Табасаранский язык, М. — Л., 1948, стр. 69; А. А. М а г о м е т о в, Табасаранский язык, Тбилиси, 1965, стр. 97; Ш. И. М и к а и л о в, указ. соч., стр. 28.

⁵ О функциональной нагрузке суффиксов *-гъаIр (/къар), -хъал/-хъали, -хох/-Vx* см.: А. А. М а г о м е т о в, указ. соч., стр. 95; е г о ж е, Кубачинский язык, Тбилиси, 1963, стр. 91; С. А б д у л л а е в, Грамматика даргинского языка, Махачкала, 1954, стр. 94; Е. Д ж е й р а н и ш в и л и, Удийский язык, Тбилиси, 1971, стр. 281—292 (на груз. яз., резюме — на русском).

⁶ В типологическом плане интерес представляет реинтерпретация первоначального значения множественности показателя *-э* в личных местоимениях отдельных тюркских языков (см.: Г. Ф. Б л а г о в а, Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом освещении, ВЯ, 1968, 6, стр. 89).

ских языках представляет весьма сложную и пеструю картину. Казалось бы, современные восточнокавказские языки могли ограничиться каждый одним формантом множественности с соответствующими фонетическими вариантами (например, в табасаранском *-ap/-aьp/-ep/-йaьp/-йup*, в лезгинском *-ep/-ap/-йap* и т. д.). Тем не менее, во многих восточнокавказских языках категория числа характеризуется многоформантностью. Можно предположить, что исторически в восточнокавказских языках здесь различались не только ед. и мн. числа, но и ограниченное мн. число или двойственное (для парных предметов) число; ср. также в местоимениях инклюзив, обладающий более широким значением, и эксклюзив, обладающий более узким значением. Категория числа в этих языках имела сложную оппозицию морфологических знаков (формантов множественности), в основу которой были заложены признаки ограниченности — неограниченности, разумности — неразумности.

Не исключено, что употребление одного из показателей класса в качестве форманта множественности первоначально было связано с выделением ограниченного мн. (или дв.) числа, а употребление форманта множественности местоименного происхождения — с выделением неограниченного мн. числа. В таком случае категория числа могла реализоваться следующими оппозициями:

- ед. ч. -∅ — дв. ч. -*p* (или любой из показателей класса)
 ед. ч. -∅ — мн. ч. -*ш* (или -*хъ*...)
 ед. ч. -∅ — дв. ч. -*p* — мн. ч. -*ш*
 дв. ч. -*p* — мн. ч. -*ш*

В чеченском и ингушском языках местоименный формант *-ш* наиболее употребителен⁷. В то же время в ряде языков, например, в крызском и будухском, форманты множественности местоименного происхождения оказались вытесненными формантами множественности классного происхождения⁸. Однако при этом сохраняется система оппозиции: ноль для ед. числа, один из показателей класса для ограниченного мн. (или дв.) числа, парное употребление показателей класса для неограниченного мн. числа.

В плане синхронии рутульский язык в словах, грамматически не дифференцированных по классам, различает ед. и мн. числа (употребление отдельных существительных только в ед. или только во мн. числе здесь не рассматривается). Имена существительные в ед. числе имеют нулевой показатель. Мн. число оформляется следующими специальными формантами: 1) *-аб-ар/-аб-ыр, -б-ыр/-б-ур, -м-ар/-м-аьр, -й-ар/-й-ер*; 2) *-ба/-баь, -бы/-би, -ум/-ым*; 3) *-ар/-аьр/-ер, -ыр, -(й)р/-р, -ра/-раь*; 4) *-а/-аь/-е*.

В первой из этих групп представлены сложные форманты, в остальных трех — простые. Проведенное распределение формантов множественности не связано с их генезисом: все они классного происхождения (*-б > -м, -р > -й*). Наиболее употребительными в рутульском являются форманты множественности *-б-ыр* (мух., шиназ., ихр., мюхр. диалекты), *-бы* (хнов. и борч. диалекты)⁹, *-ар*, которые используются как в односложных, так

⁷ См.: К. Т. Ч р е л а ш в и л и, К вопросу об образовании множественного числа в чеченском языке, «Изв. Чечено-Ингушского НИИЯЛ», 1, 2, Языкознание, Грозный, 1959, стр. 173; Ю. Д. Д е ш е р и е в, Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских языков, Грозный, 1963, стр. 411—415.

⁸ В цахурском и рутульском языках местоименный формант множественности *-ш* сохранился лишь в косвенной основе склоняемого существительного.

⁹ Здесь и далее названия диалектов рутульского приводятся в сокращении: мух. — мухадский, шиназ. — шиназский, ихр. — ихрекский, мюхр. — мюхрекский, хнов. — хновский, борч. — борчинский.

и многосложных словах. Употребление *-б-ыр* и *-бы* не связано со структурой слова: они присоединяются к слову как с гласным, так и с согласным исходом, кроме *-б*, *-п*. Формант *-ар* присоединяется только к слову с согласным исходом. Если же слово имеет гласный исход, то перед *-ар* развивается *-й-*.

Употребление формантов *-б-ыр/-бы*, *-ар* в определенной степени регламентировано. Формант множественности *-б-ыр/-бы* (развитие *-быр* > *-бы* завершено в хнов. диалекте, в борч. процесс еще не завершен), как правило, используется в названиях неодушевленных существительных (например, *хал* «дом» — *хал-б-ыр/хал-бы*, *мас* «стена» — *мас-б-ыр/мас-бы*, *кач* «рог» — *кач-б-ыр/кач-бы*), а также в некоторых названиях неразумных одушевленных существ (заьр «корова» — *заь-б-ыр/заь-бы*, мал «скотина» — *мал-б-ыр/мал-бы*, тГехь «овца» — *тГехь-б-ыр/тГехь-бы*, йац «бык» — *йац-бы-ыр/йас-бы*).

В именах с исходом на *-б*, *-п* представлен формант множественности *-ыр*: *кьырыб* «кость» — *кьырыб-ыр*, *хьеб* «ноготь» — *хьеб-ыр*, *йезуб* «зерно» — *йезуб-ыр*, *гъаб* «корень» — *гъаб-ыр*, *туп* «мяч» — *туп-ыр*¹⁰, *гап* «ладонь» — *гап-ыр*. Выпадение *-б* (*-быр* > *-ыр*) обусловлено стечением артикуляционно однозначных звуков, а также утратой геминации в рутульском языке.

Формант множественности *-ар* представлен в одушевленных именах, обозначающих как разумные, так и неразумные существа¹¹: *хьдыл* «племянник» — *хьдыл-ар*, *малаъик* «ангел» — *малаъик-ар*, *хвар* «кобыла» — *хвар-ар*, *къаджир* «коршун» — *къаджир-ар*, *шит* «клоп» — *шит-ар*. Обычно такие имена в ед. числе имеют согласный исход. К именам с гласным исходом в некоторых случаях присоединяется аффикс *-ар* и его фонетический вариант *-ер*, перед которыми развивается *-й-*: *тыла* «собака» — *тылы-й-ар*, *къанлы* «кровник» — *къанлы-й-ар*, *индушкIа* «индюшка» — *индушкIа-й-ар*. Формант множественности *-аьр* получают имена с согласным исходом, в основе которых имеются гласные переднего ряда: *сикI* «лиса» — *сикI-аьр*, *йимаьл* «осел» — *йимл-аьр* и др.

В лексемах *дид* «отец» — *дид-аб-ар* и *нин* «мать» — *нин-аб-ар* представлен сложный формант множественности *-аб-ар*, видимо, исторически связанный с так называемым неограниченным мн. числом. В некоторых названиях одушевленных существ (разумных и неразумных), основы которых, как правило, имеют гласный исход или *-й*, представлен сложный формант множественности *-м-ар/-м-аьр*. После гласного перед формантом *-м-ар/м-аьр* появляется *-й*; в одних случаях *-й* является этимологически восстанавливаемым звуком, в других — наращением, например: *хьди* «двоюродный (брат/-ая сестра)» — *хьди-й-м-ар*, *рыши* «сестра» — *рыши-й-м-ар*, *хиндадай* «вдова» — *хиндадай-м-ар*, *шей* «зверь» — *шей-м-ар*. Формант *-м-ар/-м-аьр* присоединяется только к нескольким именам, основы которых имеют согласный исход: *суйпел* «ус» — *суйпел-м-ар*, *гаг* «деверь» — *гаг-м-ар*, *сус* «невеста» — *сус-м-аьр*, *къарг* «баран» — *къарг-м-ар*, *ург* «ягненок» — *ург-м-ар*. В ихр. диалекте в двух последних лексемах засвидетельствован формант множественности *-ым/-ум*, являющийся вариантом *-м-ар*, например, *къарг* «баран» — *къарг-ым*, *ург* «ягненок» — *ург-ум*. Усечение и метатеза *-м-ар* обусловлены структурой лексем, види-

¹⁰ В односложных именах с лабиальным гласным наблюдается параллельное употребление *-бур/-быр*, *-ур/-ыр*: *тIур* «прыщ» — *тIур-бур/тIур-быр*, *туп* «мяч» — *туп-ур/туп-ыр*. В аналогичных случаях предпочтение отдается формантам *-быр*, *-ыр* (как правило, безударный *у* аффикса переходит в *ы*). В этой связи А. М. Дирр отмечал, что «*бур* провозносится в большинстве случаев очень кратко: *бур*, даже *бр*» (см. его «Рутульский язык», Тифлис, 1911, стр. 19).

¹¹ См.: А. М. Д и р р, указ. соч., стр. 19.

мо, ихр. диалект избегает стечения трех согласных (*къарг-ым < къарг-м-ар*).

В лексемах *шу* «брат» — *шу-ба*, *риш* «дочь» — *риш-баь*, *си* «медведь» — *си-баь* представлен формант множественности *-ба/-баь*, этимологически восходящий к показателю ограниченного мн. числа. В лексеме *дух* «сын» — *дух-ра/дух-раь* представлен формант множественности *-ра/-раь*, также этимологически связанный с ограниченным мн. числом.

В некоторых названиях животных засвидетельствованы форманты множественности *-а, -е, -аь*. Основы этих лексем в исходе имеют сонорные *-р, -л, -н*: *выгыр* «баран» — *выгр-е, гыгIр* «заяц» — *гыгIр-а* (параллельно *гыгIр-ар*), *убул* «волк» — *убл-аь, мытыл* «козленок» — *мытыл-аь, кьын* «козел» — *кьын-а*.

Апокопа *-р* в форманте множественности (*-ар > -а*) обусловлена однородностью финального согласного основы лексемы и согласного в форманте множественности или возможностью уподобления их, ср.: *выгыр* — **выгыр-ар* (*/-ер*) *выгр-е, гыгIр* — *гыгIр-ар* (кстати, последняя форма сохранилась в языке в качестве параллельной) $>$ *гыгIр-а, убул* — **убул-ар > *убул-аь > убл-аь* и т. д.

В рутульском языке особый интерес представляет оформление мн. числа в названиях парных предметов посредством сложного форманта *-аб-ыр* ($< *аб-быр$): *ул* «глаз» — *ул-аб-ыр* ($< *ул-аб-быр$), *хыл* «рука» — *хыл-аб-ыр* ($< *хыл-аб-быр$), *гьил* «нога» — *гьил-аб-ыр* ($< *гьил-аб-быр$), *гыл* «передняя нога у животных» — *гыл-аб-ыр* ($< *гыл-аб-быр$), *убур* «ухо» — *убр-аб-ыр* ($*убур-аб-быр$), *тIумI* «грудь, сосок» — *тIумI-аб-ыр* ($< *тIумI-аб-быр$). Восстановить этимологическую форму *-аб-ыр* ($< *аб-быр$) в приведенных лексемах помогают не только фонетические закономерности собственно рутульского языка (где лексемы с финальным *-б, -п* принимают формант множественности *-ыр*), но и данные родственных языков, в частности цахурского, где в двух лексемах¹² представлен формант множественности *-аппы* ($< аб-бы < *аб-быр$). Ср.: «глаз» рут. *ул* — *ул-аб-ыр* и цах. *ул'* — *ул-аппы < ул-аб-бы* ($< *ул-аб-быр$); «рука» рут. *хыл* — *хыл-аб-ыр* и цах. *хыл'* — *хыл-аппы < хыл-аб-бы* ($< *хыл-аб-быр$).

В цахурском языке *б + б, д + д, г + г* в интервокальной позиции дают геминированные *пп, тт, кк*, которые для рутульского языка не характерны¹³. Общность в оформлении мн. числа в лексемах «глаз» и «рука» в обоих языках не вызывает сомнений, хотя в каждом из них сохранились в этих лексемах различные элементы форманта *-быр*: в рутульском *-ыр* ($< -быр$), в цахурском *-ппы* ($< -быр$), которые в совокупности позволяют с полной достоверностью реконструировать в рут. *-аб-ыр* ($< *аб-быр$).

Структурный анализ рутульских лексем *ул* «глаз», *хыл* «рука», *гьил* «нога», *гыл* «передняя нога у животных», *убур* «ухо», *тIумI* «грудь, сосок» дает основание полагать, что *-аб* в их форме мн. числа является не фонетическим наращением, в настоящее время лишенным семантики, а самостоятельным формантом, некогда имевшим определенные морфологические функции. Ср. образование мн. числа в лексемах с аналогичным фонетическим строением, но не имеющих значения парности: *ил* «запах» — *ил-быр, кьул* «голова» — *кьул-быр, гал* «рот» — *гал-быр, гыбыл* «облако» — *гыбыл-быр, дур* «ложка» — *дур-быр, узур* «нитка» — *узур-быр; гьтI*

¹² По сообщению А. Е. Кибрика и И. Е. Оловяниковой в цахурском говоре селения Микик лексема *гьул'* «окно» также принимает формант множественности *-еппы* (в остальных говорах цахурского языка: *кьул'/гьул'* — *кьул-ер/гьул-ер/кьул-еппы/гьул-еппы*).

¹³ См.: N. T r u b e t z k o y, Die Konsonantensysteme der ostkaukasischen Sprachen, «Caucasica», fasc. 8, Leipzig, 1931, стр. 17.

«колос» — *гытI-быр*, где *-аб* в составе форманта множественности отсутствует. Таким образом, необусловленность *-аб-* фонетическим составом лексем очевидна.

Не поддается объяснению *-аб-* в плане синхронии и как морфологическое явление, поскольку он лишен функциональной нагрузки. В современном рутульском языке *-аб-* в форманте множественности *-аб-ыр* является избыточным, и присутствие его в форме мн. числа имен парных частей тела считается отступлением от общих норм¹⁴.

Удовлетворительное объяснение природы *-аб-* в составе форманта множественности *-аб-ыр* можно дать, однако, исходя из семантики «парности» названных лексем: именно это позволяет этимологически квалифицировать *-аб-* при именах парных частей тела как формант двойственного (или ограниченного мн.) числа.

В процессе развития рутульского языка дв. (или ограниченное мн.) число вышло из употребления¹⁵, а формант *-аб-* в одних случаях сохранился как рудимент, а в других — как избыточный элемент выпал. В родственном цахурском следе дв. числа сохранились в лексемах *ул* «глаз», *кыл* «рука» и *кьул'/гьул'* «окно».

Следы дв. (или ограниченного мн.) числа обнаруживаются также в крызском и будухском языках. Так, в крызском языке имена парных предметов независимо от фонетического состава лексемы образуют мн. число посредством сложных формантов; всего таких лексем здесь насчитывается двенадцать. Если финалью лексемы не являются сонорные *-р*, *-л*, то в форме мн. числа сохраняются оба компонента сложного форманта *-ри-ми*; это правило относится к семи лексемам: *бег* «бок» — *бег-ри-ми*, *пекI* «губа» — *пекI-ри-ми*, *заб* «рука (кисть)» — *хаб-ри-ми*, *хид* «кулак» — *хид-ри-ми*, *мам* «грудь, сосок» — *мам-ри-ми*, *чIыкь* «коса (волосы)» — *чIыкь-ри-ми*, *гьаг* «ноздря» — *гьаг-ри-ми*. Наличие в исходе основ *-р*, *-л* обуславливает редукцию маргинального *-р-* в составе форманта; это правило распространяется на четыре лексемы: *кьил* «нога» — *кьил-и-ми* (<**кьил-ли-ми* < **кьил-ри-ми*), *кыл* «рука» — *кыл-и-ми* (<**кыл-ли-ми* < **кыл-ри-ми*), *гIуьл* «глаз» — *гIуьл-и-ми* (<**гIуьл-ли-ми* < **гIуьл-ри-ми*), *ибыр* «ухо» — *ибр-и-ми* (<**ибыр-ри-ми*). К одиннадцати названным лексемам можно добавить *карч* «рог» — мн. ч. *карч-им-би*, где формант множественности *-им-би* (<**-ми-би*) по своим компонентам несколько отличается от форманта *-ри-ми*. Компонентный анализ здесь может существенно помочь при уяснении динамики развития категории числа, а также при определении природы так называемых «сложных» формантов множественности.

Употребление сложных формантов *-ри-ми* в семи лексемах, *-и-ми* в четырех лексемах и *-им-би* в одной лексеме не обусловлено фонетическим строением этих лексем. Из двенадцати лексем десять имеют структуру СГС, одна — СГСС (*карч*) и одна двусложная лексема — Г-СГС (*ибыр*); финалями этих лексем являются согласные: *-г* (2), *-кI* (1), *-б* (1), *-д* (1), *-м* (1), *-кь* (1), *-л* (3), *-р* (1), *-рч* (2). В крызском языке существуют десятки лексем с аналогичным фонетическим составом, которые образуют мн. число посредством одного из простых формантов *-ри*, *-би*, *-ар* и др.; например, *йек* «мясо» — *йек-ри*, *йикь* «спина» — *йикь-ри*, *йакI* «топор» — *йакI-ри*, *йит* «мед» — *йит-ри*, *чIел* «слово» — *чIел-иб*, *чIид* «блоха» — *чIид-ар*,

¹⁴ А. М. Д и р р, указ. соч., стр. 20.

¹⁵ В пиназском диалекте рутульского языка лексема *ул* «глаз» сохранила действующими все три числа (ед., дв. и мн.): *ул* — *ул-аб* — *ул-абыр*. Соответственно неодинаковым оказывается склонение для каждого из чисел: 1) ед. ч. им. *ул*, эрг. *ул-ура*, род. *ул-уд*, дат. *ул-ус*; 2) дв. ч. им. *улаб*, эрг. *улаб-ара*, род. *улаб-ад*, дат. *улаб-ас*; 3) мн. ч. им. *улабыр*, эрг. *улабыр-мыра*, род. *улабыр-м-ыд*, дат. *улабыр-м-ыс*.

къал «мышь» — къал-ар, лем «осел» — лем-ар, вул «овца» — вул-би, хъуб «лягушка» — хъуб-ар, илаг «железо» — илаг-ар.

В крызском языке сложные форманты множественности в названиях парных предметов имеют общую природу с соответствующими формантами в рутульском и цахурском. В строении этих формантов отражены следы некогда бытовавшей оппозиции дифференцированного употребления ед., дв. (или ограниченного мн.) и мн. (неограниченного) чисел. В частности, имена парных предметов могли иметь следующие три типа оппозиций: 1) ед. ч.: \emptyset — дв. ч.: специальный формант (простой); 2) ед. ч. \emptyset — дв. ч.: специальный формант (простой) — мн. ч.: специальный формант (сложный); 3) дв. ч.: специальный формант (простой) — мн. ч.: специальный формант (сложный)¹⁶.

Засвидетельствованные сложные форманты множественности для имен парных предметов в крызском языке этимологически представляют собой сочетание формантов дв. и мн. чисел. Видимо, исторически мн. число имен парных предметов образовывалось от формы дв. числа, и формант множественности присоединялся после форманта дв. числа.

В крызском языке синхронно представлены в основном два сложных форманта множественности: *-ри-ми*, *-им-би* (<**-ми-би*). В этих формантах выделяются три компонента: *-ри*, *-ми*, *-би*, из которых *-ми* восходит к *-би*. Компонент *-би* (>*-ми*) мог совмещать в себе рефлексы как дв. (*-б-*), так и мн. (*-бVp > би*) чисел. Компонент *-ри* включает в себе только рефлекс форманта множественности (*-бVp > -Vp/p > ри*). Сложные форманты множественности в названиях парных предметов, этимологически представляющие собой сочетания формантов дв. и мн. чисел, могут быть образованы путем различных комбинаций компонентов *-би-би*, *-би-ми*, *-ми-би*, *-би-ри*, *-ми-ри*, *-ар-би*, *-ри-ми*, но ни в коем случае не могут быть простым повторением компонентов *-ри-ри*. Это, видимо, обусловлено тем, что в крызском так же, как в рутульском и цахурском, исторически в качестве форманта дв. (или ограниченного мн.) числа скорее всего выступал *-б* (с огласовкой), а в качестве форманта множественности — *-бр* (с огласовкой). Эти форманты вместе с нулевым показателем ед. числа составляли следующие типы оппозиций (для непарных имен возможны некоторые отклонения):

1. Имена парных частей тела (здесь представлено дв. число): а) ед. ч. \emptyset — дв. ч. *-б*; б) дв. ч. *-б* — мн. ч. *-бр*; в) ед. ч. \emptyset — мн. ч. *-б-бр* (при этом следует учитывать, что мн. число имен парных частей тела исторически образовалось от формы дв. числа);

2. Непарные имена (здесь представлено ограниченное мн. число): а) ед. ч. \emptyset — ограниченное мн. ч. *-б*¹⁷; б) ед. ч. \emptyset — мн. ч. *-бр*; в) ограниченное мн. ч. *-б* — мн. ч. *-бр*.

Оппозиция ограниченного мн. и мн. (неограниченного) чисел, видимо, имела сравнительно меньшее распространение, чем оппозиция дв. и мн. чисел. Этим и можно объяснить, что в форманте множественности имен парных частей тела лучше сохранились следы дв. числа.

Лексемы «брат», «дочь» и «сын» в рутульском и цахурском имеют необычное оформление мн. числа, в котором, на наш взгляд, отражены следы ограниченного мн. числа. Ср.: «брат» рут. *шу* — *шу-ба/шуь-баь*, цах. *чодж* — *чу-ба*; «дочь» рут. *риш* — *риш-баь*, цах. *йиш* — *йиш-ба*; «сын» рут. *дух* — *дух-ра*, цах. *деж/дих* — *дух-ра/дух-ба*.

¹⁶ Здесь под «сложным формантом» имеется в виду одновременное употребление двух показателей класса в качестве форманта множественности.

¹⁷ В качестве форманта ограниченного мн. числа мог выступать также любой другой показатель класса. Причину многообразия формантов множественности, видимо, частично можно усматривать и в этом.

Можно предполагать, что следы ограниченного мн. числа в терминах родства по крови отражают семейно-бытовые отношения родовой семьи. В этом же плане интерес представляют формы мн. числа лексем «отец» (*дид* — *дид-аб-ар*) и «мать» (*нин* — *нин-аб-ар*) в рутульском языке. Возможно, в этих двух словоформах сохранилось неограниченное мн. число, восходящее к тому времени, когда в родовой семье все мужчины и женщины рода для детей являлись «отцами» и «матерями». Видимо, по кровному родству выделялись формы ограниченного мн. числа *дид-аб* (возможно, «отцы-братья») и *нин-аб* («матери-сестры»), которые в самостоятельном употреблении не сохранились.

Сложные форманты множественности засвидетельствованы в единичных именах, обозначающих непарные предметы, например, крыз. *фири* «муж» — *фири-м-би*, *ник* «нива» — *ник-им-би*, *бел* «лоб» — *бел-им-би*, *хьын* «трава» — *хьын-ар-би*, *шидир* «сестра» — *шидир-ар-би*. Некоторые из этих имен имеют параллельные формы множественности с одним формантом, ср.: *фири* — *фири-йаьр*, *хьын* — *хьын-би*, *шидир* — *шидр-ар*. Видимо, здесь отражены следы двойной оппозиции (см. оппозиции для непарных имен).

При наличии в языке действующего дв. (или ограниченного мн.) числа с его морфологическими средствами оппозиционные пары \emptyset — $-б/-\emptyset$ — $-р$, $-б$ — $-бр/-р$ — $-бр$, \emptyset — $-б$ — $-бр/\emptyset$ — $-р$ — $-бр$ не подвергаются разрушению. Утрата дв. (или ограниченного мн.) числа упрощает состав и количество оппозиционных пар и обуславливает распад форманта множественности $-бр$. С нулевым показателем ед. числа оппозицию мог составить не только сложный формант $-бр$, но и любой из его компонентов: \emptyset — $-бр$ > \emptyset — $-б/\emptyset$ — $-р$ (в крызском языке сохранились лишь следы оппозиции \emptyset — $-бр$, наиболее распространенными являются оппозиции \emptyset — $-б$, \emptyset — $-р$).

В будухском языке многообразии формантов множественности (как простых, так и сложных: $-ар$, $-аьр$, $-ер$, $-ри$, $-й-ри$, $-им$, $-бер$, $-и-бер$, $-и-мер$, $-нар$, $-рим$, $-р-бер$, $-ри-мер$, $-им-бер$, $-м-бер$ ¹⁸) для имен обусловлено также утратой дв. (или ограниченного мн.) числа. Замена сложной системы оппозиций простой (сохраняется лишь оппозиция ед. и мн. чисел) вызвала разрушение дифференцирующих средств оппозиционных пар, и прежде всего форманта множественности $-бVр$. Позиционное выпадение $-б$ в форманте $-бVр$ > $-Vр$ привело к появлению фонетических вариантов — для будухского это $-ар$, $-аьр$, $-ер$, $-ри$, употребление которых регулируется гармонией гласных.

Формант $-ар$ ($-аьр$ / $-ер$) представлен в двусложных словах, финалью которых может быть любой согласный (кроме сонорных $-л$, $-р$, $-н$), например, *абуд* «орех» — *абуд-ар*, *йилег* «железо» — *йилег-аьр*, *кIеренI* «кость» — *кIеренI-ер*. В порядке исключения посредством тех же формантов образуется мн. число лексем *сакул* «лиса» — *сакул-ар*, *шидир* «сестра» — *шидр-ар*.

Формант $-ар$ ($-аьр$ / $-ер$) засвидетельствован также в некоторых односложных именах: *рих* «дорога» — *рих-ар*, *лаьгь* «теленос» — *лаьгь-аьр*, *лем* «осел» — *лем-ер*. В порядке исключения тот же формант образует мн. число односложных имен с сонорной финалью: *хор* «собака» — *хор-ар*, *заьр* «корова» — *заьр-аьр*, *хьын* «трава» — *хьын-ар*. По действующим правилам будухского языка лексемы *сакул*, *шидир*, *хор*, *заьр*, *хьын* форму мн. числа должны были бы образовывать посредством форманта $-бVр$ (**сакул-бер*, **хор-и-бер* и т. д.). По-видимому, в указанных лексемах фор-

¹⁸ С учетом исторически предполагаемых оппозиционных противопоставлений чисел здесь и дальше этимологически сложные форманты множественности $-б-ер$, $-м-ер$, $-н-ар$, $-р-им$ в будухском приводим слитно, не выделяя их компоненты.

мант *-ар* — позднее явление, развившееся в результате активизирующегося разложения *-бVр*.

Формант *-ри* засвидетельствован только в односложных именах типа ГС и СГС с любым согласным в качестве финали (кроме сонорных *-л*, *-р*, *-н*): *еб* «волк» — *еб-ри*, *реб* «шило» — *реб-ри*, *тIам* «радуга» — *тIам-ри*, *хьад* «вода» — *хьад-ри* и т. д. Формант *-ри* в будухском, видимо, обусловлен метатезой *-бVр* (> **рыб*), произошедшей до его распада (например: *хьад* «вода» — *хьад-ри* < **хьад-риб*).

В форме мн. числа лексемы *кыл* «рука» представлен формант *-им*, входящий к форманту дв. (или ограниченного мн.) числа *-иб*, тогда как формант неограниченного мн. числа *-бер* в ней отсутствует. А в форме мн. числа лексемы *кыла* «плечо» сохранились оба форманта: *кыла* — *кыла-им-бер* (< **кыла-иб-бер*). По всей видимости, отсутствие форманта множественности *-бер* в форме мн. числа лексемы «рука» *кыл* — *кыла-им* вызвано совпадением форм. мн. числа слов «рука» и «плечо» (т. е. стремлением освободиться от омонимии), а также избыточностью употребления сложных формантов в связи с утратой дв. (или ограниченного мн.) числа.

Сравнительно ограниченное употребление в будухском языке имеют сложные форманты множественности типа: *-р-бер*, *-ри-мер*, *-м-бер*, *-им-бер*. Из них наиболее употребителен формант *-р-бер*, засвидетельствованный в двусложных и трехсложных именах с гласным исходом, например, *ада* «отец» — *ада-р-бер*, *азу* «зуб» — *азу-р-бер*, *кьусу* «старик» — *кьусар-бер*, *чербеси* «сито» — *чербесе-р-бер*, *кьемелчи* «папах» — *кьемелче-р-бер*. Формант множественности *-ри-мер* зафиксирован в нескольких односложных именах с финальными согласными *-х*, *-тI*, *-нI*: *дих* «сын» — *дих-ри-мер*, *затI* «вещь» — *затI-ри-мер*. Формант *-м-бер* представлен, помимо лексемы *кыла* «плечо» (*кыла-м-бер/кыла-им-бер*), также в слове *фури* «муж; мужчина» — (*фури-м-бер*). Формант *-им-бер* засвидетельствован в формах мн. числа четырех односложных имен: *шид* «брат» — *ший-им-бер*, *риж* «девочка» — *риж-им-бер*, *раз* «палка» — *раз-им-бер*, *кур* «река» — *кур-им-бер*. В сложных формантах множественности (типа *-р-бер*, *-ри-мер*, *-м-бер*, *-им-бер*) в будухском языке отразились следы некогда дифференцированного употребления дв. (или ограниченного мн.) и мн. чисел. Сложные форманты множественности в будухском, в отличие от рутульского, цахурского и крызского языков, лучше и полнее сохранили первичные компоненты дв. (или ограниченного мн.) и мн. чисел. Например, в лексемах «сын», «брат» и «дочь» рутульский и цахурский языки сохранили в качестве показателя множественности лишь форманты ограниченного мн. числа (*-ба*, *-ра/-йе*), а будухский — сочетание формантов ограниченного мн. (дв.) числа + мн. числа (*-ри* + *-мер*, *-им* + *-бер*).

Местоименный формант множественности *-ш* в рутульском и цахурском языках сохранился только в составе косвенной основы имен существительных (в крызском и будухском языках он не сохранился). В рутульском, где при падежном склонении имен существительных во мн. числе действует противопоставление по категориям одушевленности и неодушевленности, все одушевленные имена, обозначающие как разумные, так и неразумные существа, между финалью основы и аффиксом падежа получают формант множественности *-ш*, а неодушевленные имена — формант множественности *-м*. Ср., например:

Ед. число	Мн. число
«Отец» им. <i>дид</i>	<i>дид-абар</i>
эрг. <i>дид-аь</i>	<i>дид-абар-ш-аь</i>
род. <i>дид-ды</i>	<i>дид-абар-ш-ды</i>
дат. <i>дид-ис</i>	<i>дид-абар-ш-ис</i>

	Е д. ч и с л о	Мн. ч и с л о
«Медведь»	им. <i>си</i> (< * <i>сир</i>) эрг. <i>сир-е</i> род. <i>си-д/сир-ды</i> дат. <i>си-с/сир-ис</i>	<i>си-баъ</i> <i>си-баъ-и-аъ</i> <i>си-баъ-и-ды</i> <i>си-баъ-и-ис</i>
«Полено»	им. <i>ус</i> эрг. <i>ус-ыра</i> род. <i>ус-ыд</i> дат. <i>ус-ыс</i>	<i>ус-быр</i> <i>ус-быр-м-ыра</i> <i>ус-быр-м-ыд</i> <i>ус-быр-м-ыс</i>

В рутульском языке косвенная основа неодушевленных имен существительных во мн. числе может присоединять (иногда в трансформированном виде) или не присоединять формант множественности *-быр*. В частности, косвенная основа односложных имен типа СГС, ГС, а также двусложных имен с любой финалью, кроме *-л, -р, -н, -д*, может выступать как с формантом множественности, так и без него, например, им. *укъбыр* «травы» — эрг. *укъбыр-м-ыра/укъ-м-ыра* — род. *укъбыр-м-ыд/укъ-м-ыд*, им. *нисебыр* «сыры» — эрг. *нисебыр-м-ыра/нисе-м-ыра* — род. *нисебыр-м-ыд/нисе-м-ыд*. В косвенных основах ряда лексем указанного типа засвидетельствовано также частичное усечение *-быр* параллельно с полным отсутствием его (ср.: им. *хъсымыр* «лица» — эрг. *хъсымыр-м-ыра/хъсым-м-ыра* — род. *хъсымыр-м-ыд/хъсым-м-ыд*).

Усечение форманта множественности *-быр* в косвенной основе последовательно происходит: 1) в односложных именах типа СГСС, ГСС (им. *кантIбыр* «ножи» — эрг. *кантI-м-ыра* — род. *кантI-м-ыд*); 2) в двусложных именах с финалью *-л, -р, -н, -д* (ср.: им. *макъвалбыр* «крапивы» — эрг. *макъвал-м-ыра* — род. *макъвал-м-ыд*); 3) в именах, косвенная основа которых оформляется одним из детерминативных суффиксов *-Vл, -Vн*¹⁹ (им. *маIхвалбыр* «дубы» — эрг. *маIхвал-м-ыра* — род. *маIхвал-м-ыд*); 4) в именах, косвенная основа которых представляет собой эргатив или род. падеж (им. *аъчыбыр* «яблоки» — эрг. *ичир-м-ыра* — род. *ичир-м-ыд*). Эти изменения мотивированы, с одной стороны, избыточностью одновременного употребления двух формантов множественности — *-быр* и *-м-* — в косвенной основе, а с другой стороны — фонетическими процессами, вызванными, в частности, наличием в основе лексемы идентичных или весьма близких фонетических элементов.

Одушевленные имена во мн. числе не отличаются в рутульском многообразии форм склонения. Номинатив в косвенной основе, как правило, сохраняется без изменений (им. *дидабар* — эрг. *дидабар-и-аъ...*). При сочетании с формантом множественности *-и-* редукции подвергается *-р-* в форманте множественности *-мар*, например: им. *ург-мар* «ягнята», эрг. *ург-ма-и-аъ* (< *ургмар-и-аъ*), род. *ург-ма-и-ды* (< *ург-мар-и-ды*).

В рутульском можно наблюдать параллельное употребление формантов множественности *-и-* и *-м-* в склонении одушевленных имен, обозначающих неразумные существа. Это явление довольно частое. Ср.: им. *къарг-мар* (*-быр*) «бараны», эрг. *къарг-ма-и-аъ/къарг-м-ыра/къарг-быр-м-ыра*, род. *къарг-ма-и-ды/къарг-м-ыд/къарг-быр-м-ыд*, дат. *къарг-ма-и-ис/къарг-м-ыс/къарг-быр-м-ыс*.

Местоименный формант множественности *-и-* в цахурском языке также представлен в косвенной основе имени. Однако в отличие от рутульского,

¹⁹ Весьма редко наблюдается усечение детерминативного суффикса, посредством которого оформляется косвенная основа. В таких случаях оба форманта множественности (*-быр* и *-м-*) в косвенной основе сохраняются, ср.: им. *хвабыр* «сумки» — эрг. *хвабал-м-ыра/хвабыр-м-ыра* (< * *хвабалбыр-м-ыра*) — род. *хвабал-м-ыд/хвабыр-м-ыд* (< * *хвабал-быр-м-ыд*).

в цахурском одушевленные и неодушевленные имена во мн. числе имеют однотипное склонение, отсутствует дифференциация падежей по категориям разумности и неразумности, одушевленности и неодушевленности (например, им. *чуба* «братья» — эрг. *чуби-ш-е*, род. *чуби-ш-да/чуби-ш-ин*, дат. *чуби-ш-ис*; им. *жекГунбы*, эрг. *мекГунби-ш-е*, род. *мекГунби-ш-да/мекГунби-ш-ин*, дат. *мекГунби-ш-ис*; им. *балканар* «лошади», эрг. *балканар-ш-е*, род. *балканар-ш-ина/балканар-ш-ин*, дат. *балканар-ш-ис*²⁰; им. *сувабы* «горы», эрг. *суваби-ш-е*, род. *суваби-ш-да/суваби-ш-ин*, дат. *суваби-ш-ис*).

Различия в реализации местоименного форманта множественности *-ш-* в косвенной основе имен существительных в рутульском и цахурском языках (в частности, дифференцированное употребление *-ш-* в рутульском по признаку разумности и неразумности, а также параллельное употребление *-ш-* и *-м-* в одушевленных именах, означающих неразумные существа) позволяют предположить, что местоименный формант множественности *-ш-* этимологически связан с одушевленными именами со значением разумных существ. Это предположение подкрепляется еще тем, что личные местоимения мн. числа²¹, которые образованы посредством форманта множественности *-ш* (ср., например, в даргинском: *ну* «я» — *ну-ша* «мы», *хГу* «ты» — *хГу-ша* «вы»), также связаны с именами, обозначающими разумные существа (человека). Употребление *-ш-* в именах одушевленных «неразумных» вместо *-м-* в рутульском — вторичное явление: оно обусловлено расширением сферы употребления *-ш-* и наметившейся тенденцией к унификации склонения во мн. числе. Этот процесс завершен в цахурском языке.

Таким образом, анализ большого количества формантов мн. числа имен существительных на материале рутульского, цахурского, крызского и будухского языков подтверждает достоверность выделения двух типов формантов множественности (классного и местоименного происхождения), а также позволяет реконструировать сложную систему оппозиций дифференцированного употребления имен по признаку ограниченности (или парности) — неограниченности, разумности — неразумности (во мн. числе глаголы сохранили дифференциацию именно по признаку разумности — неразумности).

Дифференциация имен во мн. числе по признаку разумности — неразумности, видимо, передавалась оппозицией определенных показателей класса (следы такой дифференциации классных формантов множественности отмечены также в аварских диалектах²² и в ахвахском языке)²³.

Местоименные форманты множественности представлены не во всех восточнокавказских языках, к тому же функциональная нагрузка их ограничена. Из местоименных формантов множественности сравнительно большее употребление имеет *-ш-*. Местоименные форманты множественности в сочетании с классными формантами множественности образуются, как правило, сложные форманты, например, в ингушском (*-р-ч/-ар-ч*), бацбийском (*ар-ч/-а-ир-ч/-а-ил-ч*, *-р-ш*), ботлихском (*-ба-лъи*, *-да-лъи/-ди-лъи*, *б-ди-лъи*), рутульском (в косвенной основе *-б-ыр-ш/-м-ар-ш/-м-а-ш*), цахурском (в косвенной основе *-би-ш*, *-ар-ш/-а-ш*), удинском (*-м-ух*, *-ир-ух/-р-ух*, *-м-хо-х*, *-р-хо-х*) языках. В редких случаях местоименные фор-

²⁰ В некоторых цахурских диалектах перед *-ш-* выпадает формант множественности *-р*, обуславливая при этом долготу гласного (эрг. *балканā-ш-е*, род. *балканā-ш-ина/балканā-ш-ин*, дат. *балканā-ш-ис*).

²¹ Личные местоимения в восточнокавказских языках, в том числе в рутульском и цахурском, бывают 1 и 2-го лица.

²² См.: Ш. И. М и к а и л о в, указ. соч., стр. 28.

²³ См.: З. М. М а г о м е д б е к о в а, указ. соч., стр. 45.

манты множественности самостоятельно используются при образовании мн. числа имен — таковы чечен., инг., бац., гинух. *-ш-*, багв. *-лълъа* и удин. *-ух-*.

Параллельное употребление двух типов (классных и местоименных) формантов множественности в большинстве языков семантически не дифференцировано. Лишь в ругульском языке *-ш-* имеет дифференцированное употребление по признаку разумности — неразумности, в свою очередь одушевленные имена «неразумные» допускают параллельное использование *-ш-* и *-м-*. Употребление *-ш-* для дифференцированного употребления имен во мн. числе по признаку разумности — неразумности является инновацией и, видимо, обусловлено нейтрализацией этого значения у классных формантов множественности.

Итак, многоформантность мн. числа имен, характерная для подавляющего большинства восточнокавказских языков (унификация образования мн. числа за счет отдельных аффиксов в некоторых языках вторична²⁴), является наследием некогда существовавшей сложной системы дифференцированного употребления имен по признаку ограниченности — неограниченности, разумности — неразумности, а также следствием фонетических процессов, вызванных, в частности, распадом архаической системы разграничения числовых показателей имен по семантическим группам. Поиски в этом плане могут быть весьма перспективными в решении сложных вопросов, касающихся категории числа имен в восточнокавказских языках.

²⁴ См.: А. А. Магомедов. указ. соч., стр. 97.

И. Г. МЕЛИКИШВИЛИ

К ИЗУЧЕНИЮ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЕДИНИЦ
ФОНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Асимметричное, иерархическое взаимоотношение оппозитивных единиц обозначается термином «отношение маркированности». Наименьшими оппозитивными единицами фонологического уровня, отношение которых можно определить как противопоставление маркированного — немаркированного членов, являются дифференциальные признаки. Иерархическое отношение оппозитивных признаков фонем можно исследовать с различных точек зрения: как в пределах отдельных языков, так и с точки зрения языка вообще; как с синхронной, так и с диахронической точки зрения; как в функциональном, так и в фонетическом, логическом и психологическом аспектах. Эти аспекты состоят в обязательной взаимосвязи, так что результаты, полученные при исследовании одной из перечисленных сторон, можно интерпретировать и использовать при других подходах. В предлагаемой статье предпринимается попытка исследовать класс шумных фонем с точки зрения универсальных функциональных отношений, а также выявить фонетические свойства звуков, соотносимые с их функциональными особенностями.

Функциональная неравнозначность признаков состоит в их неодинаковой способности принимать участие в построении более сложных структур. Исчерпывающая функциональная характеристика оппозитивных единиц предполагает учет данных о характере соединения дифференциальных признаков в одновременные пучки — фонемы¹ и линейные последовательности. Функциональная ограниченность одного из членов противопоставления (он квалифицируется как маркированный) выражается как в абсолютных ограничениях функционирования, так и в относительных ограничениях, которые устанавливаются путем анализа частотных отношений дифференциальных признаков².

Учет частотных отношений дифференциальных признаков позволяет выявить универсальный характер функциональных взаимоотношений признаков: они проявляются в каждом языке — если не в виде абсолютных ограничений соединения признаков в пучки и последовательности, то в

¹ О распространении понятия контекста на структуру фонемы см.: R. Jakobson, *Observation sur le classement phonologique des consonnes*, в его кн.: «Selected writings», I, s-Gravenhage, 1962, стр. 272—279; ег о ж е, *Retrospect*, там же, стр. 636; ег о ж е, *Implications of language universals for linguistics*, «Universals of language», Cambridge (Mass.), 2-nd ed., 1963, стр. 265.

² Частотные отношения фонемных единиц связываются с отношением маркированности в следующих работах: R. Jakobson, E. C. Chergu, M. Halle, *Toward the logical description of languages in their phonemic aspect*, «Language», 29, 1, 1953; J. H. Greenberg, *Synchronic and diachronic universals in phonology*, «Language», 42, 2, 1966; ег о ж е, *Language universals with particular reference to feature hierarchies*, The Hague, 1966. Ср.: Н. С. Трубецкой, *Основы фонологии*, М., 1960, стр. 292.

виде относительных ограничений тех же соединений³. Закономерные отношения противопоставленных признаков можно сформулировать таким образом: если в языке есть x , в нем будет и y , а при наличии обоих функциональная нагрузка y всегда больше функциональной нагрузки x .

В качестве примера рассмотрим признак глоттализации. Он имеет довольно узкое распространение в языках мира по сравнению с другими признаками ларингальной артикуляции (звонкость, аспирация), а в тех системах, в которых он имеется, класс фонем, объединенный этим признаком, обычно характеризуется низкой частотностью по сравнению с неглоттализированными фонемами. Кроме того, во многих системах, в которых имеется признак глоттализации, отсутствует лабиальная глоттализированная фонема /p/. В тех же системах, где эта фонема имеется, она характеризуется самой низкой частотностью как в классе лабиальных взрывных, так и в классе глоттализированных взрывных.

Анализ частотных отношений противопоставленных признаков имеет значение еще с одной точки зрения: отношение маркированности имеет об у с л о в л е н н ы й характер, т. е. в одних условиях функционирования более сильной (немаркированной) единицей может оказаться один член противопоставления, а в других — второй⁴. Поэтому о б щ е е функциональное сравнение противопоставленных признаков, определение их маркированности или немаркированности независимо от условий функционирования возможно лишь на основе количественных характеристик.

*

В статье представлены результаты систематического исследования класса шумных фонем на основе двух функциональных критериев: 1) распределения пробелов в парадигматических системах и 2) частотных отношений фонем и признаков фонем. Дистрибутивные данные привлекались нами реже в качестве указания на то, что выявленные закономерности имеют соответствия и тут.

Представляется, что функциональная иерархия фонемных единиц, установленная на основе этих трех критериев, отражает все аспекты их функционирования: особенности их соединения как в пучки, так и в последовательности, и как абсолютные, так и статистические ограничения их комбинирования.

На основе этих критериев исследован класс шумных фонем в системах «иберийско-кавказского» типа, т. е. типа, обладающего довольно дифференцированным классом шумных: в системах этого типа сосуществуют признаки звонкости, аспирации, глоттализации, интенсивности. Для разграничения типологических и универсальных закономерностей полученные данные сравнивались с данными языковых систем других типов.

В классе шумных фонем исследовались признаки, принадлежащие трем основным категориям: а) признаки места артикуляции, б) признаки способа артикуляции и в) признаки ларингальной артикуляции (источника звука).

³ Ч. Хоккет считает возможным интерпретировать пробелы в парадигматических системах фонем как крайнюю степень уменьшения частотностей соответствующих фонем, как их нулевую вероятность: С. Ф. Н о с к е т т, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 142.

⁴ Допущение обусловленного характера маркированности наряду с расширением функциональной основы этого отношения является основным изменением, происшедшим в его понимании со времен Н. С. Трубецкого. Об обусловленном характере маркированности см: J. H. G r e e n b e r g, Language universals ..., стр. 24; N. C h o m s k y, M. H a l l e, The sound pattern of English, New York, 1968, стр. 404.

Таблица 1

Относительные частотности взрывных в кавказских языках¹

	b	p	p̣	d	t	ṭ	g	k	ḳ
1. Новогрузинский литератур. яз.	2,39	0,45	0,25	4,60	2,97	0,67	2,15	1,03	1,10
2. Хевсурский диалект грузинского яз.	1,90	0,15	0,09	3,92	3,01	0,86	1,91	1,25	1,05
3. Древнегрузинский яз.	1,50	0,58	0,43	6,50	4,00	0,81	1,98	0,98	1,26
4. Ушгульский говор сванского яз.	1,09	0,51	0,12	5,33	2,38	1,12	2,99	1,60	0,81
5. Лентехский диалект сванского яз.	1,46	0,62	0,28	4,10	1,22	0,70	2,40	1,65	1,95
6. Мегрельский диалект занского яз.	1,80	1,27	0,16	4,10	3,59	0,57	2,36	4,55	1,46
7. Чанский диалект занского яз. (аркабский говор)	3,14	0,80	0,54	2,94	2,18	1,04	1,25	4,28	1,89
8. Андийский яз.	4,67	1,17		5,34	0,61	0,59	1,41	0,88	0,91
9. Ахвахский яз.	2,87	0,06		4,16	0,61	0,56	2,39	1,19	1,46
10. Ботлихский яз.	4,79	0,07		5,24	1,18	0,53	1,04	1,04	1,03
11. Дидойский яз.	3,23	0,17		2,93	0,94	0,84	0,42	1,02	1,38
12. Лакский яз.	3,70	0,35	0,03	1,89	1,25	0,75	1,29	1,13	1,28
13. Кубачинский яз.	6,30	0,23	0,06	3,10	1,34	0,75	0,88	1,70	1,44
14. Табасаранский яз.	1,76	1,06	0,56	3,00	0,39	0,27	0,90	0,72	0,70
15. Вацбийский яз.	2,10	0,74	0,08	3,53	1,74	1,42	1,59	0,92	1,50
16. Аккинский диалект чечено-ингушского яз.	2,10	0,23	0,00	3,80	3,14	0,64	1,70	1,33	0,34
17. Абхазский яз.	1,70	1,25	0,48	2,72	0,89	1,77	2,13	0,92	1,41
18. Осетинский яз.	1,69	0,62	0,00	5,74	4,83	0,04	1,78	2,77	0,25
Среднее арифметическое	2,73	0,57	0,18	3,95	1,85	0,81	1,69	1,54	1,23

¹Цифры, содержащиеся в табл. 1—4, обозначают проценты. Пробелы в таблицах отражают отсутствие соответствующей единицы в инвентаре фонем языка, а частотные характеристики 0,00 — нулевую частотность фонем в выборке при их наличии в инвентаре. При выведении средних арифметических эти два типа пробелов оценивались одинаково — сумма частотностей делилась всегда на 17 (количество языковых единиц за исключением осетинского — не «иберийско-кавказского» языка кавказского ареала, данные которого не учитывались при выведении средних арифметических).

Статистические данные относительно новогрузинского языка взяты из работы: Т. Г. Гачечиладзе, А. Элиашвили, Статистика букв современного груз. лит. языка, ИАН ГрузССР, 1958, 5; данные о частотности фонем в мегрельском — из статьи: И. В. Бокучава, Статистика букв в мегрельском языке, «Груды ТГУ», 120, 1967; данные осетинского языка были любезно представлены нам Ф. Тордарсоном. Фоностатистический анализ текстов остальных языковых единиц выполнен нами. Сведения об объеме выборки и характере текстов, из которых взяты выборки, см. в статье автора «Условия маркированности признаков звонкости, глухости, лабиальности, велярности» («Вестник Отделения обществ. наук АН ГрузССР», 1970, 5, на груз. яз.). Выборки для отдельных языков брались объемом от 10 000 до 23 000 фонем.

1. Функционирование признаков ларингальной артикуляции в классах взрывных, щелинных и аффрикат. Из табл. 1—3 нетрудно вывести основную фоностатическую характеристику систем кавказских шумных: кавказский фонологический тип представляет собой пример обусловленного функционирования признаков как звонкости, так и глухости. В классе взрывных функционально самыми сильными является признак звонкости, а в классе щелинных и аффрикат большую функциональную силу имеют глухие фонемы. На основе частотных данных устанавливаются различные иерархические ряды признаков в различных подклассах шумных фонем (в качестве иллюстрации приводим средние

Таблица 2

Относительные частотности аффрикат в кавказских языках

	ʃ	с	с'	ʒ	ʒ'	ʒ̣	q	q'
1. Новогрузинский литерат. яз.	0,37	1,14	0,65	0,27	0,50	0,21		0,79
2. Хевсурский диалект грузинского яз.	0,21	1,68	0,77	0,21	0,58	0,25	0,38	1,10
3. Древнегрузинский яз.	0,61	1,40	1,08	0,24	0,38	0,10	0,20	0,91
4. Ушгульский говор сванского яз.	0,26	0,43	0,22	1,61	1,50	0,35	0,67	0,68
5. Лентехский диалект сванского яз.	0,07	0,35	0,32	0,78	2,20	0,40	0,64	0,94
6. Мегрельский диалект занского яз.	0,50	0,24	0,78	0,98	0,94	0,57		0,24
7. Чанский диалект занского яз. (аркабский говор)	0,09	0,21	1,26	1,05	1,28	0,59		
8. Андийский яз.			0,43	0,35	0,59	0,65	0,41	1,50
9. Ахвахский яз.		0,01	0,03	0,02	1,53	0,50	0,28	0,48
10. Ботлихский яз.		0,40	0,45	0,05	0,38	0,83	0,62	0,53
11. Дидойский яз.		0,64	0,17		0,33	0,67	1,30	0,29
12. Лакский яз.		1,24	0,60		0,87	0,93	1,11	0,55
13. Кубачинский яз.		0,70	0,22		1,34	0,36	0,23	0,30
14. Табасаранский яз.		0,17	0,12	1,28	0,64	0,21	0,61	0,32
15. Вацбийский яз.	0,12	1,44	1,22	0,11	0,92	0,22	1,25	0,80
16. Аккинский диалект чечено-ингушского яз.		1,40	0,45	0,14	1,06	0,14	1,59	0,74
17. Абхазский яз.	0,29	0,85	0,80	0,18	0,56	0,22	0,46	0,66
18. Осетинский яз.	0,82	7,65	0,00	0,55	0,50			
Среднее арифметическое	0,15	0,72	0,56	0,42	0,91	0,42	0,57	0,62

Таблица 3

Относительные частотности щелинных в кавказских языках

	z	s	ʒ	ʒ'	γ	x
1. Новогрузинский литературный яз.	0,63	4,48	0,04	1,22	0,61	1,75
2. Хевсурский диалект грузинского яз.	0,63	5,60	0,01	1,37	0,47	0,73
3. Древнегрузинский яз.	0,32	6,10	0,06	1,60	0,60	1,69
4. Ушгульский говор сванского яз.	0,49	3,67	0,83	2,04	0,89	4,66
5. Лентехский диалект сванского яз.	0,66	4,27	1,04	2,36	0,86	5,28
6. Мегрельский диалект занского яз.	0,17	3,17	0,41	2,98	0,82	1,56
7. Чанский диалект занского яз. (аркабский говор)	1,92	2,90	0,04	2,52	1,06	1,81
8. Андийский яз.	0,15	0,95	0,20	0,67	0,74	0,84
9. Ахвахский яз.	0,12	0,06	0,39	0,75	0,51	0,90
10. Ботлихский яз.	0,49	0,79	0,06	1,08	0,88	1,26
11. Дидойский яз.	0,80	2,10	0,94	0,34	0,42	1,52
12. Лакский яз.	0,38	0,54	0,42	0,61	0,39	0,80
13. Кубачинский яз.	0,35	3,31	1,00	0,43	0,87	1,00
14. Табасаранский яз.	2,48	2,18	0,22	1,42	3,70	1,40
15. Вацбийский яз.	0,47	2,89	0,14	1,56	0,50	2,76
16. Аккинский диалект чечено-ингушского яз.	0,83	1,45	0,55	3,70	0,80	3,81
17. Абхазский яз.	2,23	2,67	0,21	0,80	0,02	1,07
18. Осетинский яз.	2,07	4,55			0,71	2,60
Среднее арифметическое	0,77	2,77	0,38	1,49	0,83	1,93

частотные характеристики признаков). Взрывные: звонкость (8,37) — аспирация (3,96) — глоттализация (2,22); аффрикаты: аспирация (2,20) — глоттализация (1,60) — звонкость (0,57); щелинные: глухость (6,19) — звонкость (1,98) ⁵.

Дистрибуция фонем в этих языках определяется аналогичными правилами. В грузинском языке валентность звонких взрывных превосходит валентность аспирированных и глоттализированных взрывных, а в классе щелинных и аффрикат глухие с дистрибутивной точки зрения сильнее звонких ⁶.

Выведенную выше типологическую характеристику разделяет с иберийско-кавказскими языками осетинский — индоевропейский язык кавказского ареала.

Описанный фоностатистический тип языков соотносится с определенным фонетическим типом, а именно: в этих языках звонкие взрывные характеризуются слабой степенью звонкости и большей напряженностью артикуляционных органов (соответственно большей интенсивностью), чем звонкие взрывные типа русского или французского, в то время как звонкие щелинные характеризуются высокой степенью звонкости ⁷. Поэтому, хотя мы не располагаем фоностатистическими данными других языков этого типа, фонетические описания ряда языков (например, нивхского, киова-апаче, хеир) ⁸ позволяют предположить, что соответствующий типологический класс не исчерпывается языками кавказского ареала.

2. Взаимоотношение признаков места артикуляции и ларингальной артикуляции в классе взрывных. Рассмотрим взаимоотношение локальных признаков в классах звонких и глухих фонем на основе средних частотных характеристик индоевропейских (по данным Г. Ципфа) ⁹ и иберийско-кавказских взрывных (в крайних столбцах даются общие частотности локальных рядов — лабиального, дентального, велярного):

Иберийско-кавказские яз.			Индоевропейские яз.				
Лабиальные	<i>b</i> 2,73	<i>p</i> 0,57	<i>p</i> 0,18	... 3,48	<i>b</i> 1,22	<i>p</i> 2,75	... 3,97
Дентальные	<i>d</i> 3,95	<i>t</i> 1,85	<i>t</i> 0,81	... 6,61	<i>d</i> 3,14	<i>t</i> 6,36	... 9,50
Велярные	<i>g</i> 1,69	<i>k</i> 1,54	<i>k</i> 1,23	... 4,46	<i>g</i> 1,07	<i>k</i> 3,66	... 4,73

В обоих типах систем иерархия локальных рядов такова: д е н т а л ь н ы е — в е л я р н ы е — л а б и а л ь н ы е. Функциональное преимущество дентального ряда перед другими локальными рядами неоднократно

⁵ Цифры, данные в скобках, являются частотными характеристиками признаков — они представляют собой сумму средних частотностей фонем, объединенных соответствующим признаком. Например, частотность признака звонкости в классе смычных является суммой частотностей звонких смычных /b, d, g/.

⁶ См.: Р. Р. М д и в а н и, К исчислению дистрибуции фонем в современном грузинском, «Мацнэ», 1, 1966 (на груз. яз.); Ц. Х а р а ш в и л и, Дистрибутивный анализ фонем грузинского литературного языка, «Вопросы анализа речи», Тбилиси, 1969 (на груз. яз.).

⁷ Об обратной зависимости между степенью звонкости и степенью напряженности фонем см. также цитируемое в книге П. Постала наблюдение М. Халле: Р. М. Р о s t a l, Aspects of phonological theory, New York, 1968, стр. 78.

⁸ См.: Л. Р. З и н д е р, М. И. М а т у с е в и ч, Экспериментальное исследование фонем нивхского языка, в кн.: Е. А. К р е й н о в и ч, Фонетика нивхского языка, М.—Л., 1937; W. E. B i t t l e, Kiowa-Apache, studies in the Athapaskan languages, Univ. of California Press, 1963; Н. Н o i j e r, Hare phonology. A historical study, «Language», 42, 2, 1962.

⁹ См.: G. K. Z i p f, Human Behavior and the principle of least effort, Cambridge (Mass.), 1949, стр. 102.

отмечалось исследователями. Нас интересуют взаимоотношения велярного и лабиального рядов¹⁰.

Велярный ряд в языках обоих типов имеет бóльшую частотность, чем лабиальный. Такое соотношение наблюдается и в языках других типов (например, в языках американских индейцев, в тюркских, семитских, сино-тибетских, полинезийских). Однако при раздельном рассмотрении взаимоотношения локальных признаков выявляется следующая картина: в классе звонких фонем частотность звонкой лабиальной фонемы /b/ выше частотности велярной звонкой /g/¹¹, а в классе глухих наблюдается обратное соотношение, которое совпадает с общим соотношением признаков лабиальности и велярности.

Эти соотношения характеризуют глухие и звонкие фонемы всех типов: как простые, так и аспирированные и глоттализированные (имплозивные); они не зависят от функциональной силы (от маркированности — немаркированности) соответствующего класса фонем.

Соответственно этим соотношениям распределены и пробелы в парадигматических системах языков. В лабиальном ряду пробел возможен лишь на месте глухой фонемы¹², а в велярном — на месте звонкой фонемы. Изучение двучленных и трехчленных систем взрывных с противопоставлениями по признакам звонкости, аспирации и глоттализации позволяет выделить семь типов систем с пробелами¹³:

1. $b \text{ — } \downarrow$	2. $b \ p \text{ — }$	3. $b \text{ — — }$	4. $b \ p$	5. $b \ p \ p$	6. $b \text{ — }$	7. $b \ p \text{ — }$
$d \ t$	$d \ t \ t$	$d \ t \ t$	$d \ t$	$d \ t \ t$	$d \ t$	$d \ t \ t$
$g \ k$	$g \ k \ k$	$g \ k \ k$	$\text{—} \ k$	$\text{—} \ k \ k$	$\text{—} \ k$	$\text{—} \ k \ k$

Асимметричные системы типа 6 и 7 имеют параллель и в частотных отношениях. Существуют системы, в которых в лабиальном ряду частотность звонкой фонемы выше частотности глухой, а в велярном ряду частотность глухой выше частотности звонкой. Такого рода трехчленные системы взрывных имеются в ряде кавказских языковых систем: в мегрельском, чанском, дидойском, кубачинском, осетинском (см. табл. 1). В табл. 4 приведены данные некоторых двучленных асимметричных языковых систем¹⁴:

¹⁰ См., например: W. M a n c z a k, *Fréquence d'emploi des occlusives labiales, dentales et velaires*, BSLP, LIV, 1959; см. также: P. G u i r a u d, *Problèmes et méthodes de la statistique linguistique*, Paris, 1960, стр. 103—104.

¹¹ На низкую частотность *g* обращает внимание П. Гиро при сравнении теоретических и реальных частотностей смычных фонем индоевропейских языков. См.: P. G u i r a u d, указ соч., стр. 104.

¹² О частом наличии пробела на месте лабиальной глоттализированной фонемы см.: G. H. G r e e n b e r g, *Some generalizations concerning glottalic consonants especially implosives*, IJAL, 36, 2, 1970, стр. 127.

¹³ Системы с пробелами в лабиальном ряду (системы типа 1—3) представлены в монгольских, семитских, иберийско-кавказских языках, в языках американских индейцев; системы с пробелами в велярном ряду (системы типа 4—5) имеются в индоевропейских, семитских языках, в языках американских индейцев; примером системы шестого типа является классический арабский; примерами систем седьмого типа — итонама и западный мивок.

¹⁴ Статистические данные взяты из работ: P. M. L l o y d, R. D. S c h n i t z e r, *A statistical study of the structure of Spanish syllable*, «Linguistics», 37, 1967; E. V e r t e s, *Phonetischer Aufbau der ungarischen Sprache*, «Acta ling. Hung.», III, 1—2, 1953; J. C a n t i n e a u, *Essau d'une phonologie de l'hebreu biblique*, BSLP, 46, 1, 1950; N. T o m i c h e, *Le parler arabe du Caire*, Paris, 1964; B. S i g u r d, *Rank-frequency distributions for phonemes*, «Phonetica», 12, 1, 1962. Статистические характеристики турецких графем получены на следующем материале: С. С. Д ж и к и я, Турецкая хрестоматия, Тбилиси, 1965, стр. 81—87 (10 000 графем). К этому типу приближается и английский язык, см.: P. B. D e n e š, *On the statistics of spoken English*, «Zeitschrift für Phonetik», 17, 1964.

Таблица 4

Относительные частотности взрывных в двучленных асимметричных языковых системах

	b	p	d	t	g	k
Испанский	2,50	2,10	4,00	4,60	1,00	3,80
Венгерский	2,35	0,91	2,30	8,00	2,60	4,80
Древнееврейский	6,70	2,53	2,26	6,80	0,86	4,20
Арабский говор Каира	3,03		2,45	3,19	1,25	2,23
Турецкий	1,96	0,61	5,63	3,62	1,44	4,63
Каива	5,08	4,69	2,58	3,46	0,25	3,42

Итак, распределение частотностей фонем в коррелятивных сериях не всегда так симметрично, как это представлялось Г. Ципфу, однако строение асимметричных систем подчиняется строгой закономерности и так же, как строение асимметричных систем с пробелами, определяется разницей в условиях маркированности признаков звонкости, глухости, лабиальности и веллярности: оптимальные (немаркированные) сочетания образуют соединения глухости с веллярностью и звонкости с лабиальностью (/k/ и /b/), а соединение глухости с лабиальностью и звонкости с веллярностью создает функционально слабые (маркированные) единицы (/p/ и /c/). Это и определяет наличие иерархии *b — p* в системах с доминантным иерархическим рядом «глухие — звонкие» и наличие иерархии *k — g* в языках с доминантным иерархическим рядом «звонкие — глухие».

Как было показано, общая частотность веллярных взрывных выше общей частотности лабиальных взрывных. В пределах исследованного нами материала это соотношение не имеет исключений. Полученные данные противоречат положению Р. Якобсона, по мнению которого лабиальность противопоставляется веллярности как немаркированный признак маркированному¹⁵. Общие частотные характеристики локальных рядов смычных фонем свидетельствуют скорее об обратном соотношении, а условия маркированности существуют как для признака веллярности, так и для признака лабиальности.

Полученные соотношения (в классе глухих веллярная фонема имеет большую функциональную силу, чем лабиальная, а в классе звонких, наоборот, лабиальная фонема имеет функциональные преимущества перед веллярной) можно считать действительными для всей системы консонантных фонем. Они распространяются на классы щелинных¹⁶ и назальных фонем. Об этом свидетельствуют функциональные ряды: 1) *n — m — ŋ*¹⁷ и 2) *v — f*, *x — γ*, *v — γ*. Иерархический ряд *x — f*, предполагаемый так же, как и другие приведенные иерархические ряды, на основе обусловленных соотношений локальных признаков, является наименее стабильным, возможны отклонения от него: существуют языки с фонемой /f/, но без фонемы /x/, и языки, где частотность /f/ выше частотности /x/. Подобное соотношение, противоречащее иерархическому ряду *x — f*, в котором отражена большая функ-

¹⁵ R. Jakobson, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, в его кн.: «Selected Writings», I, стр. 357—358; см. также: N. Chomsky, M. Halle, указ. соч., стр. 143.

¹⁶ На возможность распространения этих соотношений на класс щелинных фонем указал Т. В. Гамкрелидзе, см. его доклад «О соотношении смычных и фрикативных в фонологической системе» («Материалы конференции по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков», М., 1972, стр. 12).

¹⁷ C. Ferguson, Assumptions about nasals. A sample study in phonological universals, «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1961, стр. 56—57.

циональная сила /x/ по сравнению с /f/, может быть объяснено следующим образом. Звонкая пара фонемы /f/ — фонема /v/ — является членом как системы щелинных, так и системы сонорных фонем, при этом сонорность /v/ ставит ее в особое положение в классе щелинных, поскольку она имеет общие с другими сонорными функциональные свойства (большую дистрибутивную свободу и высокую частотность). Фонологизация ее глухого аллофона [f] ведет к формированию соответствующей фонемы, независимой от наличия в системе веллярной щелинной /x/. Результатом этого процесса являются системы с лабиальным рядом щелинных и без веллярного ряда щелинных.

3. Признаки глоттализации и интенсивности в классах взрывных, щелинных и аффрикат. С признаком щелинности глоттализация сочетается значительно реже, чем с признаками взрывности и аффрикативности. Что же касается этих последних признаков, то в сочетании с ними глоттализация создает единицы разной функциональной силы.

В функциональной иерархии признаков как класса смычных (звонкость — аспирация — глоттализация), так и класса аффрикат (аспирация — глоттализация — звонкость), глоттализация следует за признаком аспирации. Однако в отдельных фонологических системах глоттализованная фонема может оказаться функционально более сильной единицей, чем аспирированная фонема. Удастся довольно точно определить условия, в которых данное явление может иметь место.

В классе смычных таким условием является веллярная артикуляция: частотность /k/ выше частотности /k/ в древнегрузинском, лентехском диалекте сванского языка, абхазском, бацбийском, ахвахском, дидойском, лакском языках. Почти равной частотностью обладают /k/ и /k/ в ботлихском, табасаранском, андийском (см. табл. 1).

В классе аффрикат такая локализация отклонений не представляется возможной. Частотность глоттализованной аффрикаты может оказаться выше частотности аспирированной аффрикаты как в классе свистящих, так и шипящих, фарингальных и латеральных аффрикат. Частотность /c/ выше частотности /c/ в занском, кубачинском, ботлихском (см. табл. 2), майду¹⁸. Частотность /č/ выше частотности /č/ в ботлихском, андийском, дидойском, лакском (см. табл. 2), чирикахуа¹⁹. Частотность /q/ выше частотности /q/ в древнегрузинском, хевсурском диалекте грузинского языка, сванском, андийском, ахвахском, кубачинском, абхазском; частотность /λ/ выше частотности /λ/ в андийском ($\lambda_2=0,74$ и $\lambda_2=0,67$), ботлихском (0,89 и 0,33), чирикахуа²⁰.

Распределение пробелов в парадигматических системах обычно подчиняется более строгим закономерностям, чем частотные отношения. С точки зрения распределения пробелов глоттализованная аффриката является самым стабильным членом системы аффрикат. В каждом ряду аффрикат система с пробелами может иметь только такой вид: — c; — — c²¹.

Итак наилучшим условием функционирования (условием наименьшей маркированности)

¹⁸ J. H. Greenberg, *Language universals ...*, стр. 17.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Только глоттализованной аффрикатой представлен свистящий ряд аффрикат, например, в багвалальском и кашая, латеральный ряд — в багвалальском и хуна, а также во многих атабаскских языках и в языках северо-западного апаче (см.: C. F. and F. M. Voegelin, S. Wurm, G. O'Grady, T. Natsuda, *Obtaining an index of phonological differentiation from the construction of non-existent minimax systems*, *IJAL*, 29, 1, 1963), фарингальный ряд — в грузинском и занском.

признака глоттализиции можно считать велярный ряд смычных и аффрикативность.

Здесь же рассмотрим сочетаемость признака интенсивности с другими признаками, так как этот признак проявляет большую функциональную близость с признаком глоттализиции: а) в классе смычных оптимальным условием для его функционирования является признак велярности и б) этот признак проявляет исключительную способность к функционированию в классе аффрикат. Различает эти два признака характер сочетаемости с признаком щелинности: интенсивность в отличие от глоттализиции хорошо сочетается со щелинностью²². Общим свойством признака интенсивности и глоттализиции, объясняющим их идентичные функциональные черты, является напряженная артикуляция и соответственно высокая степень интенсивности звука. Отличительной чертой признака глоттализиции, затрудняющей его соединение с признаком щелинности, является дополнительная смычка в гортани и малая длительность.

Об отклонениях. Полученные закономерности обладают разной степенью вероятности — одни являются абсолютными универсалиями, а другие имеют статистический характер. Правила, отражающие частотные отношения оппозитивных фонем, уступают в степени достоверности а) правилам, отражающим частотные отношения признаков, и б) правилам, сформулированным относительно распределения пробелов в системе²³.

Вероятность правил, отражающих частотные отношения фонем, оказалась зависимой от того, согласуются ли частотные отношения фонем с частотными отношениями соответствующих признаков. Выделяются два типа соотношений частотностей фонем: отношения, совпадающие с отношениями соответствующих признаков, и отношения, отклоняющиеся от них. Отношения первого рода обладают гораздо более высокой вероятностью (имеют гораздо меньше исключений), чем отношения второго рода. При этом во втором случае в качестве альтернативных отношений фонем выступают отношения, идентичные с отношениями признаков. Это наблюдение основывается на следующих данных:

1. Общая частотность велярных смычных выше общей частотности лабиальных. Отношение частотностей в классе глухих фонем, которое совпадает с частотным соотношением признаков, не имеет исключений в пределах нашего материала, а соотношение частотностей звонких лабиальных и велярных фонем, отличное от частотного соотношения признаков, имеет исключения.

2. В работе, специально рассматривающей класс аффрикат²⁴, мы старались показать, что соотношение свистящих и шипящих рядов фонем также имеет обусловленный характер. В классе щелинных немаркированным является свистящий ряд (см., например, общее соотношение частотностей в кавказских языках: свистящие щелинные — 3,54, шипящие — 1,87). В классе аффрикат, наоборот, шипящие являются обычно более сильными единицами системы (об этом свидетельствует как распределение пустых клеток в системе, так и частотные отношения фонем; например,

²² В ряде языков (например, в ахвахском, ботлихском, андийском, годоберийском, каратинском, тиндийском) корреляция интенсивности существует в классах щелинных, аффрикат и в велярном ряду смычных при отсутствии этого признака в лабиальном и дентальном рядах смычных.

²³ Ср.: J. H. Greenberg, *Synchronic and diachronic universals in phonology*, стр. 513.

²⁴ I. G. Melikishvili, *Einige universale Gesetzmäßigkeiten in dem System der Affrikaten*, «Theoretical problems of typology and the Northern Eurasian languages», Budapest, 1970, стр. 70.

в кавказских языках: средняя частотность свистящих аффрикат равна 1,43, а шипящих — 1,65). Соотношение свистящих и шипящих щелинных, совпадающее с соотношением признаков, почти не имеет исключений, а частотное соотношение свистящих и шипящих аффрикат, не совпадающее с соотношением признаков, имеет большее число отклонений.

3. В случае наличия в одной системе признаков аспирации и глоттализации общая частотность признака аспирации выше общей частотности признака глоттализации. В классах велярных смычных и аффрикат наблюдается обусловленное функционирование признака глоттализации. Наиболее сильно оно проявляется в классах латеральных и фарингальных аффрикат, где среднее частотное отношение изменено в пользу глоттализированных фонем (λ — 0,81; λ — 0,63). Но и здесь обусловленное соотношение не является единственным для всех языков, в некоторых системах те же фонемы связаны отношением, идентичным с отношением признаков.

Меньшая стабильность правил, отражающих частотные отношения фонем, не совпадающие с отношениями признаков, представляется нам результатом противоречия между индивидуальными функциональными свойствами элементов и общими функциональными свойствами соответствующего класса фонем.

Противоречие между индивидуальными функциональными свойствами фонемных единиц и общими функциональными свойствами соответствующего класса фонем является одним из факторов языковых изменений. Соотношения классов фонем посредством различных динамических процессов распространяется на соотношения фонем. Можно указать на ассимилятивные процессы, через которые соотношение немаркированных фонем как более сильное распространяется на соотношение маркированных фонем (как правило, с отношениями классов совпадающими оказываются отношения немаркированных фонем, а с обусловленными отношениями — отношения маркированных фонем).

В языках происходит постоянное взаимодействие этих двух типов отношений, и в отдельных языках преобладающим становится то отношение признаков (т. е. классов фонем), то обусловленное отношение фонем. С точки зрения универсальных закономерностей в некоторых случаях доминируют обусловленные отношения (первый и второй примеры в нашем изложении), причем взаимодействие с отношением признаков порождает отклонения, в других же случаях, наоборот, обусловленные отношения фонем носят характер отклонений (третий пример в нашем изложении). Таким образом, и в этом случае отклонения от эмпирических генерализаций являются результатом перекрещивания разнонаправленных универсальных соотношений.

Тот факт, что обусловленную маркированность признаков можно рассматривать как отклонение от более общих (независимых от условий функционирования) соотношений признаков, представляется нам свидетельством того, что отношение маркированности все-таки является отношением признаков фонем; в отношениях же фонем отражаются отношения признаков, модифицированные в некоторых случаях в процессе функционирования²⁵.

4. К интерпретации функциональных отношений фонемных единиц. Здесь мы укажем на некоторые факты, позволяющие предположить на-

²⁵ К постановке вопроса о том, отношением чего является маркированность — отношением фонем (т. е. сложных структур) или отношением дифференциальных признаков, см.: J. D. M. S. C. A. W. L. E. U., [рец. на кн.:] «Current trends in linguistics». III, «Language», 44, 3, 1968, стр. 566; см. также: Т. В. Г а м к р е л и д з е, указ. соч., стр. 12.

личие зависимости функциональных свойств фонемных единиц от их акустико-перцептивных свойств.

В исследованных выше типах систем функционально сильнейшими в классе смычных могут оказаться: а) полувзвонкие напряженные фонемы (в противопоставлении с ненапряженными глухими аспирированными и напряженными глухими глоттализированными — «кавказский» тип) и б) глухие напряженные фонемы (в противопоставлении с ненапряженными звонкими — господствующий в индоевропейских языках тип). Это наблюдение наводит на мысль о существовании некоторой связи между степенью напряженности (соответственно: степенью интенсивности) звуков и их функциональной нагрузкой. Интенсивность звука вместе с его длительностью при идентичных спектральных характеристиках определяет степень громкости, а также различимости звука. Можно предположить, что звуки, способствующие эффективности речевой коммуникации, обладают наибольшей функциональной нагрузкой. С точки зрения этой гипотезы малую функциональную нагрузку глоттализированных фонем, которые обладают высокой интенсивностью, можно объяснить их чрезвычайной краткостью.

В пользу высказанного предположения свидетельствуют данные экспериментов по разборчивости речи. В грузинском языке эксперимент по разборчивости речи²⁶ (сигнал/шум + 6db) показал следующую иерархию признаков с точки зрения правильной идентификации. В классе смычных: звонкость (55,8) — аспирация (49,4) — глоттализация (42,5); в классе аффрикат: аспирация (74,1) — звонкость (62,1) — глоттализация (54,4); в классе щелинных: глухость (62,8) — звонкость (49,4). Как видим, соответствие с функциональными данными является полным.

С точки зрения различимости лабиальных и велярных фонем наблюдаются отношения, параллельные функциональным. В классе звонких /b/ обладает лучшей различимостью, чем /g/, а в классах глухих фонем, наоборот, велярные смычные обладают лучшей различимостью, чем лабиальные. Таковы результаты экспериментов по разборчивости речи английского, венгерского²⁷, грузинского языков. Результаты проведенного нами эксперимента таковы:

	+ 6db	+ 10db		+ 6db	+ 10db		+ 6db	+ 10db
b	55,5	62,1	p	31,1	48,5	p	27,7	42,2
g	33,7	56,4	k	31,8	58,2	k	34,5	60,0

Примечательно, что глоттализованная велярная фонема характеризуется высокой степенью различимости, что соответствует ее особому функциональному положению в классе глоттализированных смычных. Объясняется это тем, что длительность велярных взрывных, как правило, больше длительности лабиальных взрывных²⁸.

Отношения по различимости, параллельные функциональным, проявляются и у других признаков. Так, например, признак смычности более способствует разборчивости речи, чем признак щелинности в русском²⁹ и грузинском (68,3 и 57,9) языках.

²⁶ Эксперимент проведен нами на фоне маскирующего белого шума в лаборатории экспериментальной фонетики АН Грузинской ССР.

²⁷ G. Miller, V. Nicely, Analysis of perceptual confusions among some English Consonants, JASA, 27, 2, 1955, стр. 340—341; T. Tarnóczy, Verständlichkeitsstabilität, Konfusionsmatrix und Verfehlungsindex, «Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 12, 24, 1964, стр. 335.

²⁸ См. об этом, например: Н. И. Дукельский, Принципы сегментации речевого потока, М., 1962, стр. 20.

²⁹ Л. Р. Зиндер, А. С. Штерн, Факторы, влияющие на опознание слов, «Материалы IV Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации», М., 1962.

5. Структура признаков и их функционирование. Проведенный анализ показал, что один и тот же признак может иметь различную функциональную характеристику в разных условиях реализации. Кроме того, обнаружен частичный параллелизм в функционировании некоторых признаков. Например, один и тот же признак *A* в разных условиях имеет разные функциональные свойства. При этом функционирование признака *A* в одних условиях схоже с функционированием признака *B* в тех же условиях, а в других — функционированием признака *C*. Это дает нам право заключить, что признак *A* имеет общие свойства как с признаком *B*, так и с признаком *C*, что в свою очередь означает, что признак *A* имеет определенную структуру, является соединением некоторых свойств, которые и осуществляются в его функционировании.

Так, например, в определенных условиях признаки глоттализации и интенсивности обнаруживают идентичные функциональные свойства (в сочетании с аффрикативностью и веларностью), а в других — разные (в сочетании со щелинностью). Функциональные свойства признака глоттализации определяются такими его фонетическими свойствами, как интенсивность, малая длительность, дополнительная смычка в гортани. Кроме того, глоттализованные фонемы имеют функциональные свойства, общие для всех глухих фонем.

Можно указать также и на функциональное отражение сложного строения признака звонкости. Звонкие смычные кавказского типа и звонкие смычные индоевропейского типа обнаруживают как схожие, так и разные функциональные свойства. Объединяют их взаимоотношения с фонемами разных локальных рядов; звонкие лабиальные смычные в обоих типах являются более сильными единицами, чем звонкие веларные. Однако по отношению к другим классам звуков звонкие смычные в системах этих двух типов ведут себя совершенно различно: кавказские полувзвонкие (напряженные) являются немаркированными, а звонкие ненапряженные индоевропейских и многих других языков уступают с функциональной точки зрения глухим.

Сходные функциональные свойства этих двух классов фонем в двух различных типах систем позволяют приписать их общему фонетическому свойству — звонкости, а различие — свойствам, которые их различают: немаркированные звонкие являются напряженными (интенсивными), а маркированные звонкие ненапряженными (менее интенсивными).

Итак, автоматически взаимосвязанные фонетические свойства, входящие в структуру признака и функционирующие с точки зрения смысло-различения в качестве единого целого, проявляются в особенностях соединения признаков, в их дистрибутивных и частотных отношениях. Сложная структура признаков, принимаемых описательным языкознанием за элементарные, отражается в функционировании этих признаков и, следовательно, не может не быть предметом исследования лингвистики. Тесная взаимосвязь между фонетическим строением признаков и их функционированием позволит использовать функциональные данные в целях фонетической интерпретации реконструированных систем и систем «мертвых» языков.

П. ГАРД

К ИСТОРИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ
ГЛАСНЫХ СРЕДНЕГО ПОДЪЕМА

Системам русского, украинского и белорусского¹ литературных языков свойственны только два гласных среднего подъема: *e* и *o*. Однако в диалектах наблюдается большее разнообразие. В многочисленных русских говорах, разбросанных по всем частям русской языковой территории, существует четыре гласных среднего подъема, которые находятся в оппозиции по признаку «закрытости/открытости»:

<i>ê</i>	<i>ô</i> (закрытые)
<i>e</i>	<i>o</i> (открытые)

Фонемы *ê* и *ô* реализуются либо как закрытые *e*, *o* (гласные «верхнесреднего» подъема), либо в виде дифтонгов типа *ie*, *yo*.

В северноукраинских и некоторых южнобелорусских говорах фонемы *e* и *o* входят в оппозицию с различными дифтонгическими сочетаниями, соответствующими фонеме *i* украинского литературного языка (дифтонги *ie*, *ye*, *yo* и др.²). Если обозначить эти дифтонги общими символами *ie*, *yo*, получится такая система:

<i>ie</i>	<i>yo</i>
<i>e</i>	<i>o</i>

В данной работе ставится задача проследить некоторые моменты истории развития этих гласных. Хотя эта история связана со всеми явлениями фонологических систем данных языков и говоров в целом, представляется все же, что некоторые, хотя и частные, но достоверные результаты могут быть получены путем наблюдения над внутренними соотношениями в системе этих гласных. Мы условно выделим класс «гласных среднего подъема» (т. е. неверхнего и ненижнего подъема) и проследим судьбы всех гласных, принадлежащих данному классу в различных восточнославянских языках и говорах. При этом история этих гласных до их вхождения в данный класс и после их выхода из него рассматриваться не будет. Например, на раннем этапе развития праславянского языка фонологического класса «гласных среднего подъема» не было: фонологически различались только две ступени подъема гласных: верхние гласные *и*, *ь*, *ы*, *ѣ*, *у* и неверхние *ѣ*, *e*, *a*, *o*. Проблема образования отдельного класса, включавшего *ѣ*, *e*, *o*, но не *a*, требовала бы рассмотрения всех вопросов, свя-

¹ Отдельно факты белорусского языка здесь не рассматриваются, так как ни в белорусском литературном языке, ни в говорах нет самостоятельных явлений в области интересующих нас гласных: дифтонгизация *e*, *o* в южнобелорусских говорах происходит в тех же условиях, что в северноукраинских. См.: П. Я. Черныш, Историческая грамматика русского языка, М., 1954, стр. 57; W. K u r a s z k i e w i c z, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa., 1963, стр. 76.

² W. K u r a s z k i e w i c z, указ. соч., стр. 68—69. О том же явлении в русских памятниках см., например: В. В. Иванов, Историческая грамматика русского языка, М., 1964, стр. 180—181.

занных с разложением праславянского вокализма. Этот класс исчезает в системах безударных слогов акающих говоров, которые тоже останутся за пределами нашего исследования.

Известно, что русское *e* восходит к праславянским *ĕ*, *e*, *ь*, а русское *o* — к праслав. *o* и *ъ*. Рассмотрим сначала факты, отражающие эти соответствия, которые составляют основную часть данной системы. После этого можно будет перейти к рассмотрению более частных вопросов: гласные, перешедшие из переднего в задний ряд (т. е. *o* < праслав. *e*, *ь*, русское орфографическое *ѐ*), и гласные полногласного происхождения.

1. Основная часть системы. Русский язык. В русском языке говоры с различием открытых и закрытых *e* и *o*, которые можно назвать говорами «лекинского» типа³, распространены по всем частям русской языковой территории в виде островков. Принято считать, что в прошлом это различие охватывало все русские говоры, так что лекинский тип является прямым продолжением прарусского состояния.

Во всех говорах лекинского типа различие между этими двумя классами гласных наблюдается только в ударных слогах и нейтрализуется в безударной позиции. Так как эта нейтрализация происходит одинаково как и в акающих, так и в окающих говорах, можно полагать, что это самостоятельное явление, генетически не связанное с аканьем.

Происхождение четырех данных фонем известно: 1) *ĕ* и *e*: *ĕ* происходит из праслав. *ĕ* (*бѣс*, *хлѣб*), *e* из праслав. *e* (*цѣпь*, *семьдесят*) и *ь* (*весь*, *отец*); 2) *ô* и *o*: *a* в начальном слоге *ô* происходит из праслав. *o* (*дѣбрô*, *высôк*, *гôбѣ*), *o* из *ъ* (*любовь*, *кусок*); б) в начальном слоге любое *ъ* отражается как *o* (*брови*, *дочь*, *точка*), в случае же праслав. *o* его рефлекс зависит от акцентуации данного слова: в словах со старым подвижным ударением (ударение в одних словоформах на флексии, в других на начальном слоге слова, с возможностью переноса ударения на проклитику, парадигма *c* по классификации Х. Станга⁴) праслав. *o* дает *o* (*нос*, *вор*, *ногу*, *корень*, *море*), в словах с другими типами ударения *o* дает *ô* (ударение подвижное между флексией и предыдущими слогами, тип *b* по Стангу: *дѣбрô* — *дѣврô*, *вхôдит* — *вхôжôу*; слова с постоянным ударением на основе, тип *a* по Стангу: *вбля*, *кôбуа*, *нôбука*).

Начиная с А. А. Шахматова, открывшего данное явление в лекинском говоре, это различие объяснялось старым интонационным различием циркумфлекса и нового акута⁵. Это объяснение исходило из того факта, что в долгих гласных праславянского языка, по данным всех языков, так или иначе отражающих бывшие интонационные различия, наблюдается то же соответствие между интонацией и акцентуационной парадигмой:

³ См.: А. А. Шахматов, Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии, ИОРЯС, XVIII, 4, 1913, стр. 173—220. Все примеры словоформ говоров «лекинского» типа, приведенные в настоящей статье, взяты из этой работы А. А. Шахматова. Они даются не в транскрипции оригинала, а в русской орфографии, но с употреблением знаков *ĕ*, *ô*. О лекинском говоре см. также: С. С. Висотский, О говоре д. Лека, «Материалы и исследования по русской диалектологии», 2, М., 1949. О вокализме диалектов этого типа см.: Р. И. Аванесов, Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1947, 6; е т о ж е, Очерки русской диалектологии, М., 1949.

⁴ См.: Ch. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; см. также работы В. А. Дыбо, например: В. А. Дыбо, Акцентология и словообразование в славянском, «Славянские языковые знания», М., 1968, стр. 148.

⁵ См.: Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков. К вопросу о произношении звука *o* в великорусском наречии, Л., 1929, стр. 8—9. Это объяснение стало традиционным в большинстве работ по этому вопросу; см., например: В. И. Бороковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 139—140; В. В. Иванов, Историческая фонология русского языка, М., 1968, стр. 298.

старое подвижное ударение связано с циркумфлексом в корневом слоге, тогда как ударение на слоге, предшествующем флексии (типа *двѣр*, *вхѣдит*) или суффиксу (типа *вѣля*, *нѣжака*) связано с новым акутом, еще сохранившимся в чакавском: чакав. *králj* «король», *mlátī* «молотит», *žéja* «жажда». Поэтому лекинское закрытое *ǫ* часто определяется как «акутированное *o*» или же «*o* с восходящим ударением».

Очевидное затруднение в этой гипотезе состоит в том, что бесспорные свидетельства об интонационных различиях в остальных славянских языках имеются для бывших долгих гласных, тогда как в русском языке данное противопоставление касается только *o*, т. е. бывшего краткого гласного. Загадка была разрешена Е. Куриловичем, который показал, что происхождение лекинского противопоставления двух *o* можно объяснить без обращения к интонационным различиям кратких гласных⁶. Дело в том, что в словах с подвижным ударением праславянского языка корневой слог никогда не имел ударения: в одних словоформах ударение было на флексии: *водá*, *домá*, *моря́*, другие словоформы имели только разграничительное ударение, находящееся чаще всего за пределами данного слова, на проклитике: *нѣ воду*, *из дому*, *за море*, на энклитике: старорусск. *ночѣсь*, *осенѣсь*⁷, совр. *собрался́*, *начался́* или даже на соседнем слове: нар.-поэт. *таково́ слово*, *белы́ груди*⁸, сочетания типа *четы́рнадцать*, *сего́дня* (из *четы́ре на десять*, *сего́ дня*).

Из этого можно сделать вывод, что в истории русского языка соотношения обоих *o* в начальном слоге были идентичны тем соотношениям, которые наблюдаются до сих пор в неначальных слогах в говорах лекинского типа, т. е. ударное праслав. *o* > лекин. *ǫ* закрытое, ударное праслав. *ъ* > лекин. *o* открытое.

В безударной позиции противопоставление обоих *o* нейтрализуется, так что получается всегда *o* открытое.

Любое лекинское открытое *o* в начальном слоге, происходящее из праславянского *o* (не *ъ*), представляет собой рефлекс гласного, который был безударным в праславянскую и в прарусскую эпохи и который получил ударение вторично, вследствие процесса, который можно называть «реакцентуацией»⁹ и который состоял в ограничении возможности отбрасывания ударения за пределы слова (на проклитику, энклитику или соседнее слово) и в фиксации ударения на начальном слоге бывших безударных словоформ. Если данный начальный слог содержал гласный *o* (любого происхождения), то это *o* при реакцентуации сохраняло свой открытый тембр и поэтому отождествлялось с открытым *o* из праслав. *ъ* неначальных слогов, а не с закрытым *ǫ* из праслав. *o* тех же слогов: в лекинском говоре *o* в слове *нос* звучит так же, как во втором слоге слова *кусок*, а не как во втором слоге слова *ведрѣ*.

Следовательно, формулу перехода от праславянского к прарусскому в области гласных среднего подъема заднего ряда можно свести к следующему: *o* > *ǫ* закрытое, *ъ* > *o* открытое.

Необходимо сопоставить полученную формулу с общей эволюцией системы гласных, и в первую очередь с судьбой гласных среднего же подъ-

⁶ Е. Курилович, О некоторых фикциях сравнительного языкознания, ВЯ, 1962, 1. Понятие «полнозначных слов, лишенных принудительного, неотъемлемого ударения», было введено Р. Якобсоном в работе «Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии» («American contributions to the V international congress of slavists, Sofia, 1963», The Hague, 1963, стр. 161).

⁷ Об этих формах см.: М. Долобоко, Ночь — почесь, осень — осенесь, зима — зимусь, лето — летось, «Slavia», 5, 4, 1927.

⁸ Р. Якобсон, указ. соч.

⁹ Явление «реакцентуации» безударных словоформ подробно описывается в нашей книге: Р. Гард, Histoire de l'accentuation slave (в печати).

ема переднего ряда, т. е. обоих *e*. В данной части системы соотношения следующие: праслав. $\text{ĕ} >$ прарусск. ĕ закрытое, праслав. *e* $>$ прарусск. *e* открытое, праслав. $\text{ь} >$ прарусск. *e* открытое.

Интересно, что при переходе от праславянского к прарусскому *e* совпало с ь , но *o* не совпало с ъ , т. е. совпадение бывшего краткого и бывшего сверхкраткого произошло в переднем, но не в заднем ряду. Это различие можно легко объяснить системными отношениями — наличием в переднем ряду «лишней» фонемы ĕ . Эволюцию можно представить в следующем виде.

На определенном этапе развития языка класс гласных среднего подъема состоял из трех фонем: рефлексов праслав. *o*, *e* и ĕ . В это время рефлекс праславянского «сверхкратких» ь и ъ отличались еще от этих трех фонем некоторым добавочным дистинктивным признаком¹⁰. Три фонемы данного класса распределялись так:

$$\begin{array}{l} \text{ĕ} < \text{ĕ} \\ e < e \quad o < o \end{array}$$

Гласные переднего ряда различались по признаку «открытости/закрытости», единственный гласный заднего ряда являлся нейтральным в отношении к этому признаку.

В дальнейшем дистинктивный признак, отличавший класс «сверхкратких» ь и ъ от данного класса, исчез, и оба «сверхкратких» должны были найти свое место в данной системе. Они превратились в открытые гласные среднего подъема. При этом в заднем ряду, где была только одна «нейтральная» фонема *o* (из праслав. *o*), новое открытое *o* (из праслав. ъ) противопоставилось старому «нейтральному» *o* (из *o*), которое вследствие этого перестало быть «нейтральным» в отношении к признаку «открытости/закрытости» и превратилось в закрытое ô ; в переднем ряду, где было уже два *e*, новое открытое *e* (из ь) совпало со старым открытым *e* (из *e*), и они вместе оказались в оппозиции закрытому ĕ (из ĕ).

Таким образом, получилась система с четырьмя фонемами:

$$\begin{array}{l} \text{ĕ} < \text{ĕ} \quad \text{ô} < o \\ e < e, \text{ь} \quad o < \text{ъ} \end{array}$$

Эта система непосредственно отражена в говорах лекинского типа. В ней есть та симметричность, которой не хватало системе прежнего этапа. Процесс полностью соответствует принципу экономии в фонетических изменениях, определенному А. Мартине¹¹.

У к р а и н с к и й я з ы к. В украинском языке интересующие нас праславянские фонемы имеют разные рефлексy в зависимости от того, находятся ли они в закрытом или в открытом слоге.

В закрытом слоге система украинского литературного языка следующая:

$$\begin{array}{l} i < \text{ĕ}, e, o \\ e < \text{ь} \quad o < \text{ъ} \end{array}$$

(*сѣть* $>$ *сѣть*, *печь* $>$ *пѣч*, *столь* $>$ *стѣл*, *днѣ* $>$ *днѣ*, *снѣ* $>$ *сон*).

¹⁰ В рамках настоящей работы нет возможности точно определить, какой именно дистинктивный признак отличал ь , ъ от всех остальных гласных. Очень вероятно предположение В. В. Иванова («Историческая фонология русского языка», М., 1968, стр. 55) о том, что они отличались просто «сверхкраткостью» (которую в отношении к данной эпохе следует назвать просто «краткостью», так как среди других гласных не было других количественных оппозиций).

¹¹ А. M a r t i n e t, *Economie des changements phonétiques*, Berne, 1955 (русский перевод: А. M a r t i n e t, *Принцип экономии в фонетических изменениях*, М., 1960).

Однако совпадение \dot{t} , e , с одной стороны, o , с другой, в виде украинского i — явление, свойственное только литературному языку и сходным с ним южноукраинским диалектам. В северноукраинских диалектах (а также в южнобелорусских) отражается более архаичная система, где на месте фонемы i литературного языка выступают разные дифтонгические сочетания: дифтонги переднего ряда типа ue на месте праслав. \dot{t} , e и дифтонги заднего ряда типа yo на месте праслав. o : *сиеть*, *пиеч*, но *стуол*¹². Поэтому праукраинскую систему закрытых слогов можно восстановить в следующем виде:

$$\begin{array}{l} ue < \dot{t}, e & yo < o \\ e < \dot{b} & o < \dot{z} \end{array}$$

В сравнении с этой системой вокализм открытых слогов является неполным. В нем отсутствуют рефлексы праслав. \dot{b} , \dot{z} , потому что открытые слоги украинского языка (как и остальных современных славянских языков) продолжают слоги, находившиеся в праславянском в позиции не перед \dot{b} , \dot{z} , а в этой так называемой «слабой» позиции праславянские гласные \dot{b} и \dot{z} исчезли: *дъня* > *дня*, *съна* > *сна*. Поэтому в открытых слогах находятся рефлексы только трех из пяти интересующих нас праславянских фонем: \dot{t} , e , o . Соответствия в украинском литературном языке следующие:

$$\begin{array}{l} i < \dot{t} \\ e < e & o < o, \end{array}$$

в северноукраинских говорах:

$$\begin{array}{l} ue < i \\ e < e & o < o \end{array}$$

(*сѣти* > *сити*, *сев.-укр. сиети*; *печи* > *печи*; *стола* > *стола*).

Неполнота вокализма открытых слогов, унаследованная украинским от праславянского, дает вполне удовлетворительное объяснение украинской дифтонгизации e , o в закрытых слогах и отсутствию этой дифтонгизации в открытых слогах. Дифтонгизация служит для дифференциации рефлексов бывших кратких e , o и рефлексов бывших сверхкратких \dot{b} , \dot{z} . Там, где рефлексов сверхкратких не было, т. е. в открытых слогах, не было и дифтонгизации. Эти факты обычно объясняют особенностями закрытых слогов (например, заместительным удлинением следующего слога вследствие падения \dot{b} , \dot{z} ¹³), причем не обращают должного внимания на своеобразие открытых слогов, т. е. на унаследованную неполноту их вокализма.

Для украинского следует исходить из системы с максимальной дифференциацией данных фонем, т. е. из системы закрытых слогов северноукраинских говоров:

$$\begin{array}{l} ue < e, \dot{t} & yo < o \\ e < \dot{b} & o < \dot{z} \end{array}$$

¹² Об этих дифтонгах см., например: Н. К u r y l o, Les voyelles o et e en ukrainien et leur transformation dans les syllabes fermées nouvelles, *RÉSL*, 12, 1—2, 1932, стр. 77—88.

¹³ См.: А. А. Ш а х м а т о в, К истории звуков русского языка, ИОРЯС, VII, 1, 1902, стр. 294; Z. S t i e b e r, L'allongement compensatoire dans l'ukrainien et le haut sorabe, сб. «To honor Roman Jakobson», The Hague, 1967, стр. 1935—1940. Еще менее приемлемо объяснение О. Курило (указ. соч.), согласно которому e , o в южноукраинских говорах перешли в i вследствие ассимиляции закрытому тембру слабых еров следующего слога. Очень сомнительно, что слабые еры оставались тогда еще закрытыми: ни в одном славянском языке сильные еры не имеют рефлексов более закрытых, чем e и o .

Эту систему мы будем называть «праукраинской». Сопоставим ее с определенной выше «прарусской» системой¹⁴:

«Прарусская» система		«Праукраинская» система	
$\acute{e} < \acute{b}$	$\delta < o$	$ue < \acute{b}, e$	$yo < o$
$e < e, \acute{b}$	$o < \acute{b}$	$e < \acute{b}$	$o < \acute{b}$

Как видно, между обеими системами имеется большое сходство. Разница состоит только в судьбе праслав. *e*, которое в русском совпало с *ь*, в украинском же с *ѣ*.

В связи с этим общий восточнославянский процесс можно восстановить путем некоторых уточнений русского процесса.

Начальный этап (общевосточнославянский) один и тот же: система гласных среднего подъема состоит из тех же трех единиц, которые были восстановлены для прарусского:

$$\begin{array}{l} \acute{e} < \acute{b} \\ e < e \quad o < o \end{array}$$

Эта система диссиметрична. Причины диссиметричности известны, они связаны со всей историей славянского вокализма и места фонемы в нем.

Сверхкраткие *ь* и *ѣ* еще стоят за пределами этой системы, вследствие наличия некоторого дистинктивного признака.

На промежуточном этапе (тоже еще общевосточнославянском) вследствие исчезновения этого дистинктивного признака бывшие сверхкраткие входят в систему и становятся наиболее открытыми гласными:

$$\begin{array}{l} \acute{e} < \acute{b} \\ \acute{e} < e \quad \delta < o \\ e < \acute{b} \quad o < \acute{b} \end{array}$$

На этом этапе диссиметричность сохраняется: в переднем ряду представлены три фонемы, а в заднем — только две. Такая ситуация очень неустойчива не только из-за ее диссиметричности, но также из-за наличия трех разновидностей *e*, т. е. пяти ступеней подъема.

На третьем этапе (дифференциация русского и украинского) оба языка устраняют диссиметричность и избыток гласных переднего ряда путем исчезновения фонемы, занимающей среднюю позицию, т. е. рефлекса праслав. *e*, но происходит это по-разному: в русском рефлекс *e* становится открытым и совпадает с рефлексом *ь*, в украинском же он становится закрытым и совпадает с рефлексом *ѣ*.

II. Гласные, перешедшие из переднего в задний ряд. И в русском, и в украинском языке некоторые гласные переднего ряда, происходящие из праслав. *e* и *ь*, превратились в гласные заднего ряда и отражаются чаще всего как *o*. Это явление произошло в неодинаковых условиях в обоих языках: в русском после любого мягкого согласного (*нёс, лёд, шёл, плечо, жизньё*), в украинском только после палатальных (*чоловік, жона, чорт, його*).

По отношению к оппозиции *o ~ ъ* русских говоров лекинского типа и к оппозиции *o ~ і* украинских закрытых слогов эти гласные ведут себя

¹⁴ Термины «прарусский, праукраинский» употребляются здесь условно, в смысле «совокупность диалектов древнерусского языка, лежащих в основе современного русского или украинского языка». Мы не касаемся здесь вопроса о том, к каким племенам и местностям относились эти диалекты, в каких памятниках они отражаются.

так: в русских говорах *e* и *ь* в данной позиции отражаются обычно как *o*, но не как *ѵ*: *пашол*, *дружок* (*o* < *ь*); *плечо*, *крыльцо* (*o* < *e*). В украинских закрытых слогах *ь* > *o*: *жом*, *шов*, но *e* > *i*: *жинка* (ср. *жона*), *чп* (ср. *чона*).

Эти факты можно суммировать одной общей формулой: в обоих языках гласные, перешедшие из переднего в задний ряд, стоят на одной ступени подъема с соответствующими гласными, оставшимися в переднем ряду:

«П р а р у с с к и й»

$$\begin{array}{l} e < \check{t} \\ e < e, ь \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \delta < o \\ o < \check{t}, e, ь \end{array}$$

«П р а у к р а и н с к и й»

$$\begin{array}{l} ue < \check{t}, e \\ e < ь \end{array} \quad \begin{array}{l} yo < o, e \\ o < \check{t}, ь \end{array}$$

Переход гласных из переднего в задний ряд произошел по «горизонтальной» линии, без перемены соотношений по степени открытости. Поэтому можно считать, что этот переход совершился не на предыдущих восточнославянских этапах указанных процессов, а на последнем этапе, после слияния *e* с *ь* в русском и *e* с *ѣ* в украинском. Если бы переход в задний ряд имел место на предыдущей стадии развития, до дифференциации обоих языков, то не было бы основания для различий в судьбе *e* : *o* в русском (лекин. *плечо*), но *i* из *yo* в украинском (*жинка*).

III. Гласные из полногласных сочетаний. Гласные среднего подъема восточнославянских языков происходят не только от пяти вышеуказанных праславянских фонем. Они выступают также в обоих слогах полногласных сочетаний *oro*, *ere*, *olo*, продолжающих бывшие праславянские дифтонги *or*, *er*, *ol*, *el* между двумя согласными.

Русский язык. В русском языке оппозиция между двумя разновидностями *e* и *o* выступает только в ударных слогах, так что безударные слоги не дают никаких указаний относительно места гласных из полногласных сочетаний в описанных процессах. Среди ударных слогов необходимо различать начальные и неначальные, так как данные оппозиции отражаются в них по-разному. Каждое полногласное сочетание содержит два гласных среднего подъема (два *e* или два *o*), поэтому надо проследить отдельно судьбы первого и второго гласного в этом сочетании. Второй слог сочетания, естественно, не может быть в начальном слоге. Таким образом, выделяются три типа ударных слогов полногласных сочетаний: первые начальные, первые неначальные и вторые (неначальные).

Первый гласный полногласного сочетания в начальном слоге может быть ударным или безударным: *гброд*, *гблову*, но *голова*, *корба*, *молокб*. Если он ударный, он всегда принадлежит к слову с подвижным ударением, и возможно отбрасывание ударения на проклитику: *за город*, *на голову*. Поэтому такие словоформы имели безударное полногласное сочетание в праславянском и древнерусском, и их начальные слоги всегда имеют открытое *o* в говорах лекинского типа¹⁵.

Первый гласный полногласного сочетания в нена начальном слоге никогда не носит ударения: *потолбк*, *огорбд*, *сковоробд*. Единственные исключения в современном языке составляют причастия глаголов с полногласным корнем типа *заклотый*, *перемлотый*, где оттяжка ударения со второго слога полногласного сочетания на первый — сравнительно позднее явление¹⁶.

¹⁵ См.: А. А. Шахматов, К истории звуков русского языка, примеч. 3.

¹⁶ В глаголах на *-олоть*, *-ороть* ударение падает на первый слог полногласного сочетания только в причастии прошедшего времени страдательного залога: *заклотый* и на второй во всех остальных формах: *заклбть*, *заклбл* и т. д. Это различие не может восходить к праславянской эпохе, так как тогда сочетание *коло-* было односложным. Об отражении интонационного различия в данном случае не может быть и речи, так как при циркумфлексовой интонации корневого слога ожидалось бы ударение на префиксе: * *збколотый*. Следовательно, такое различие могло появиться только после полно-

Итак, первый слог полногласного сочетания в древнерусском языке ни в начальном, ни в нена начальном слоге не мог носить ударения¹⁷. Ударные слоги полногласных сочетаний находились во втором слоге.

Второй слог полногласного сочетания обязательно находится в нена начальном слоге и может носить ударение. В говорах лекинского типа такие ударные слоги в сочетаниях *оро*, *оло* всегда имеют тембр *ô* (закрытое): *порбѣ*, *корбѣва*, *молбтишь*, *оборбт*. Поскольку в этой позиции праслав. *o* всегда отражается как *ô* (закрытое), а праслав. *ъ* как *o* (открытое), можно сделать вывод, что в русском языке *o* полногласного происхождения слилось с рефлексом праслав. *o*, а не *ъ*¹⁸.

У к р а и н с к и й я з ы к. Несколько сложнее обстоит дело в украинском языке. Здесь часть гласных полногласного происхождения в закрытых слогах претерпела изменение *o*, *e* > *i*, тогда как другая часть не подверглась этому изменению: *город*, *горох*, *поворот*, но *голів*, *сторін* (род. мн.), *голівка*, *болітце*. Л. А. Булаховский объяснил это различие бывшими интонационными оппозициями праславянского языка¹⁹. По его мнению, полногласные сочетания с переходом второго гласного в *i* в закрытом слоге соответствуют былой новоакутовой интонации, так как они вступают в тех же морфологических категориях, где и новоакутовая интонация или ее предполагаемые рефлексy в южных и западных славянских языках: род. падеж. мн. числа укр. *борід*, *голів*, *ворит*, ср. чакав. *brád*, *gláv*, *vrát*; прошедшее время глаголов укр. *волік*, *зберіг*, ср. чакав. *vlákel*, *brégel*; существительные с уменьшительными суффиксом *-к-* укр. *голівка*, ср. чеш., словац. *hlávka*, польск. *główka* и т. д. Гласные *e*, *o* без перехода в *i* наблюдаются во всех остальных случаях: циркумфлекс *вброн*, *зброд*, *хблод*; старый акут *умолбт*, *горбд* «огород», *колбв* «колел» и т. д.

Объяснение Л. А. Булаховского осложняется всеми затруднениями, связанными с признанием рефлексов былых интонаций в восточнославянском, тем более оппозиции «старого» и «нового» акутов, которые, кроме этого единственного случая, в восточнославянских языках не различаются. К тому же, как это правильно заметил Х. Якше²⁰, оно не соответствует фактам: формы *беріз*, *берізка*, *боліт*, *болітце* нельзя объяснить новым акутом, так как данные корни уже содержат старый акут. Если допустить, как это делает Булаховский, что чередования типа *болота* (им. мн.), *боліт* (род. мн.) возникли вследствие аналогии по модели *колеса*, *коліс*, тогда можно распространить это объяснение на все случаи чередования в полногласных словах: чередование *голова*, *голів* могло возникнуть по аналогии *нога*, *ніг* и т. д. Случаи такого чередования наблюдаются исключительно в известных морфологических категориях, тогда как отсутствие чередования является общим правилом. Впрочем формы типа *голов*, *сторон* без чередования отмечены в разных украинских памятниках²¹.

гласия, и оттяжка ударения в причастии произошла, вероятно, по аналогии с глаголами *на-ать* и *-нуть* (*написать*, *написанный*; *завернуть*, *завёрнутый*), в которых оттяжка ударения имеет соответствия в других славянских языках (ср. серб.-хорв. *написати*, *написан*, *дотакнути*, *дотакнут*) и, вероятно, восходит к интонационному чередованию в суффиксальном слоге. См.: Л. А. Булаховский, Об интонационных суффиксальных дублетах в праславянском языке, ИОРЯС, 31, 1926.

¹⁷ См.: Е. К у р и л о в и ч, указ. соч., стр. 35—36.

¹⁸ Ш. Ж. В е р е н к (Ch. J. V e r e n c, Histoire de la langue russe, Paris, 1970, стр. 18 и 23) считает, что гласный второго слога полногласного сочетания совпал с *ъ*, а не с *o*. Он исходит лишь из данных украинского языка и не учитывает фактов русских говоров.

¹⁹ Л. А. Булаховский. Отражения так называемой новоакутовой интонации древнейшего славянского языка в восточнославянских, сб. «Исследования по лексикологии и грамматике русского языка», М., 1961.

²⁰ Н. J a k s c h e, Slavische Akzentuation II: Slovenisch, Wiesbaden, 1965, стр. 30.

²¹ См.: З. М. В е с е л о в с к а, Наголос у східнослов'янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй, Харків, 1970, стр. 27.

Итак, первоначально в украинском языке гласные полногласных сочетаний не подвергались дифтонгизации, т. е. они вели себя так же, как рефлексы праслав. гласных *ь* и *ѣ*, но не как рефлексы праслав. *е* и *о*.

Сопоставление фактов двух языков. Если сопоставить этот результат с данными русского языка, то появляется значительное затруднение: в русском языке *о* полногласного происхождения слилось с рефлексом *о*, а не с рефлексом *ѣ* (для гласного *е* русский язык не дает никаких указаний, так как *е* и *ь* совпали); в украинском языке *е* и *о* полногласного происхождения совпали с рефлексами *ь* и *ѣ*, а не с рефлексами *е* и *о*.

Если допустить единство происхождения русских и украинских явлений и постараться восстановить «православославянскую» систему, если провести эту реконструкцию по правилам классической компаративистики, то придется признать, что в реконструируемой системе *е* и *о* полногласного происхождения представляли собой отдельные фонемы, которые отличались как от *ѣ* и *ѡ* закрытых (рефлексов *е* и *о*), так и от *е*, *о* открытых (рефлексов *ь* и *ѣ*) и которые после разрушения восточнославянского языкового единства совпали в русском с *ѣ* и *ѡ* закрытыми, в украинском же с *е* и *о* открытыми. Эти предполагаемые фонемы, принадлежащие предполагаемой третьей ступени подъема, промежуточной между *ѣ ѡ* и *е о*, условно обозначим символами *е₃* и *о₃*.

Однако предположение о существовании в православославянской системе таких фонем весьма сомнительно. В парадигматическом плане они представляют собой большую нагрузку для фонологической системы, уже насыщенной гласными. В синтагматическом плане их частотность очень невелика. Поэтому существование таких фонем невероятно.

Дистрибуция предполагаемых фонем — речь идет о вторых гласных полногласных сочетаний — такова, что фонемы *е₃* и *о₃* находятся всегда в одной и той же позиции: после плавных *л* и *р* и перед слоговой границей. Поэтому *е₃* и *о₃* не представляли собой две фонемы, но лишь одну: выбор между *е₃* и *о₃* не имел дистриктивного значения, он был предопределен тембром гласного, предшествующего плавному: после *ор* и *ол* всегда выступает *о₃*, после *ер* — *е₃*. Поэтому *е₃* и *о₃* — это аллофоны одной и той же фонемы *О₃*.

Обратим внимание на дистрибуцию сочетания плавного и *О₃*, например сочетания *рО₃*. Это сочетание выступает только в одной позиции: перед слоговой границей и после гласного полного образования (т. е. после *е*, *о*, а не после сверхкратких *ь*, *ѣ*). Вне этого сочетания *р* может выступать еще в двух позициях: н е п е р е д слоговой границей — случаи типа *перо*, *дары* (*р* после гласного), *братъ*, *простъ* (*р* после согласного), *рѣка*, *рыба* (*р* в начале слова); п е р е д слоговой границей, н о п о с л е сверхкратких *ь*, *ѣ* — *сърдце*, *търгъ*.

Бросается в глаза, что сочетание *рО₃* находится в дополнительном распределении с *р*, и поэтому надо считать его не сочетанием двух фонем, а позиционным вариантом фонемы *р*. Мы вправе сделать такой вывод, поскольку *о₃* вне таких сочетаний не выступает.

Оказывается, что фонема *р* имеет два позиционных варианта: один слоговой и один неслоговой. Слоговой вариант, который мы до сих пор обозначали знаками *рО₃*, но который можно обозначить как [*р̄*], реализуется в позиции перед слоговой границей и после гласных *е*, *о*: *гордъ*, *бергъ*; неслоговой вариант [*р*] выступает во всех остальных случаях: *перо*, *братъ*, *рѣка*, *сърдце*, *търгъ* и т. д. То же самое можно сказать о фонеме *л*: *гола*, *молю*, но *пила*, *клинь*, *лапа*, *волкъ* и т. д.

В связи с этим нет необходимости загромождать фонологическую систему правосточнославянского языка мнимой фонемой O_3 : соответствующий звук является лишь частью одного из вариантов плавных фонем $л$ и $р$. Этот звук превратился в отдельную фонему только тогда, когда его произношение отождествилось с произношением других гласных: \acute{e} и \acute{o} закрытых в русском, e и o открытых в украинском, т. е. он приобрел парадигматическую самостоятельность только тогда, когда лишился синтагматической самостоятельности. Это сравнительно поздний, не общевосточнославянский процесс, так как он совершился в обоих языках по-разному.

Относительно собственно правосточнославянской эпохи, когда будущее сочетание $ро$ в слове *городъ* было еще лишь слоговым вариантом фонемы $р$, возникает вопрос: чем данное состояние отличалось от праславянского? Этот вопрос можно также сформулировать в следующем виде: в чем состоит полногласие? Сочетание *гордъ* ничем не отличается от предположенного для праславянского сочетания *гордъ* в отношении к фонематике, так как оба сочетания состоят из одних и тех же фонем. Но оба сочетания отличаются слогоразделением: *гор-дъ* в старшей форме, *го-р-дъ* в младшей, т. е. тем, что фонема $р$ стала слоговой. Это заключение полностью совпадает с общепринятым учением о «законе открытых слогов». Форма *го-р-дъ* со слоговым $Ро$ могла служить отправным пунктом и для развития так называемой метатезы в остальных славянских языках (т. е. для появления форм типа ст.-слав. *градъ*, польск. *gród* и т. д.), так что эту «правосточнославянскую» форму можно в конечном итоге считать просто «праславянской». Особенность восточнославянской группы языков состоит только в том, что в ней эта форма сохранялась дольше, чем в остальных группах славянских языков.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Н. С. ГРИНБАУМ

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА «МИКЕНСКОГО»

(К 20-летию дешифровки М. Вентриса)

В нашей статье «Крито-микенские тексты и древнегреческие диалекты» были подведены первые итоги изучения языка найденных на Крите и греческом материке надписей XIV—XII вв. до н. э.¹ Проблема «микенского» продолжала и в последующие годы привлекать внимание исследователей. Цель настоящего обзора познакомить читателей с ходом дальнейшего обсуждения этого вопроса в научной литературе. Напомним, что спустя пять лет после дешифровки Вентриса существовало несколько точек зрения по вопросу о диалектной принадлежности и о характере микенского. М. Вентрис и Дж. Чедвик полагали, что язык крито-микенских надписей наиболее близок к аркадско-кипрской и эолийской диалектным группам². Э. Риш считал, что «микенский» весьма близок к аркадско-кипрскому и протоионийскому диалектам³. Ф. Адрадос предположил, что «микенский» — переходная ступень между ионийско-аттическим и эолийским диалектами⁴. По мнению В. Георгиева, это смешанный диалект, представляющий собой наслоение прааркадско-кипрского (эолийского) и праионийского диалектов⁵.

В 1959 г. А. Шерер в своем очерке о «микенском», включенном в переизданный им второй том работы А. Тумба, приходит к заключению о близости этого диалекта к общей праступени (Vorstufe) аркадского и кипрского⁶. Э. Вильборг в своей грамматике микенского греческого указывает, что нет серьезных доводов, мешающих рассматривать «микенский» как специфический аркадско-кипрский диалект⁷. А. Хойбек в опубликованной в «Glotta» статье становится на сторону Э. Риша, считающего, что до 1200 г. до н. э. предки аттико-ионийского и аркадско-кипрского диалектов были очень близки друг к другу, а «микенский» был близок к обоим⁸. Против Э. Риша выступает Рейх: он обращает внимание на то, что трактовка *r как op, po в микенском совпадает с аркадско-кипрским и эолийским⁹. Вопрос о месте микенского среди древнегреческих диалектов оживленно обсуждается на встречах микенологов.

¹ ВЯ, 1959, 6.

² M. Ventris, J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1956, стр. 74.

³ E. Risch, La position du dialecte mycénien, «Études mycéniennes», Paris, 1956, стр. 170.

⁴ F. R. Adrados, Achäisch, Jonisch und Mykenisch, IF, LXII, 3, 1956.

⁵ В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, стр. 69.

⁶ A. Thumb, Handbuch der griechischen Dialekte, II, hrsg. von A. Scherer, Heidelberg, 1959, стр. 326.

⁷ E. Vilborg, A tentative grammar of Mycenaean Greek, Göteborg, 1960, стр. 22.

⁸ A. Heubeck, Zur dialektologischen Einordnung des Mykenischen, «Glotta», 39, 1960—1961.

⁹ C. J. Ruijgh, Le traitement des sonantes voyelles dans les dialectes grecs et la position du mycénien, «Mnemosyne», 14, 1961.

На состоявшемся в 1961 г. в США третьем микенологическом коллоквиуме были прослушаны два специальных доклада на эту тему¹⁰. Первый, посвященный месту микенского среди прочих греческих диалектов¹¹, был сделан В. Георгиевым, второй — о положении диалекта линейного письма В — А. Товаром¹². В. Георгиев отстаивает свою гипотезу о смешанном характере «микенского», напоминающем гомеровский язык: с одной стороны, в нем встречаются явления, характерные для протоионийского, с другой, для протоэолийского. Вместе с тем «микенский» тесно связан с аркадско-кипрским. Более древним населением Пелопоннеса считает В. Георгиев во II тысячелетии до н. э. протоионийцев (явонцев), которых вытеснили или поработили пришедшие с севера протоэолийцы (айвольцы). На это указывают, в частности, топонимы, найденные в крито-микенских текстах: около 200 из них связаны с протоионийским, а не с протоэолийским. Возникший таким образом смешанный явонно-айвонский диалект преобладал на Пелопоннесе с XVI по XII вв. до н. э. Это и было протоахейское, или микенское койне. Его прямыми наследниками в I тысячелетии до н. э. являлись, по мнению В. Георгиева, гомеровский и аркадско-кипрский диалект.

А. Товар приходит к заключению, что микенский представляет собой ахейский греческий диалект и связан с южноахейскими диалектами. Отдельные ионийские формы следует считать субстратными: имеются убедительные доказательства приоритета предков ионийско-аттических племен.

Четвертый микенологический коллоквиум, собравшийся в 1965 г. в Англии, обсудил ряд сообщений, связанных с «микенским»¹³. А. Бартошек посвятил свой доклад рассмотрению гипотезы В. Георгиева о существовании микенского койне¹⁴. Признавая ее заманчивость, докладчик в то же время предположил, что это койне могло возникнуть не из простого смешения нескольких диалектов, а в виде наддиалекта на базе одного из них. В случае «микенского» этим базовым диалектом мог быть диалект, весьма близкий к аркадско-кипрскому. В. Георгиев в своем сообщении подтвердил ранее высказанное мнение о «микенском» как о протоэолийском диалекте с протоионийским субстратом, т. е. о своеобразном койне, последний этап развития которого сохранился в гомеровском и аркадско-кипрском диалектах¹⁵. Э. Риш обратил внимание в своем докладе на диалектные различия в «микенском»¹⁶. Несмотря на удивительную языковую однородность, характерную для кносских, пилосских и микенских табличек, в них встречаются в ряде случаев и параллельные формы типа: *posedaone/posedaoni* (Ποσειδάωνι), *rema/remo* (σπέρμα), *temitija/timitija* (θεμιστία). Формы, имеющиеся в большинстве табличек, могут быть отнесены к «нормальному микенскому» (дат. на -e, *remo*, *timitija*), остальные следует рассматривать как «специально микенские» (дат. на -i, *rema*, *temitija*). Первая группа явлений отличает «микенский» от исторического греческого, вторая совпадает с нормой южных и восточных греческих диа-

¹⁰ «Mycenaean studies, Proceedings of the III international colloquium for Mycenaean studies held at „Wingspread“, 4—8 September 1961», ed. by E. L. Bennett, Madison, 1964.

¹¹ V. G e o r g i e v, Mycenaean among the other Greek dialects, «Mycenaean studies...», стр. 125—140.

¹² A. T o v a r, On the position of the Linear B dialect, «Mycenaean studies...», стр. 141—146.

¹³ «Proceedings of the Cambridge colloquium on Mycenaean studies», ed. by L.R. Palmer and J. Chadwick, Cambridge, 1966.

¹⁴ A. B a r t o s z e k, Mycenaean koine reconsidered, там же, стр. 95—103.

¹⁵ V. G e o r g i e v, Mycénien et homérique: le problème du digamma, там же, стр. 105.

¹⁶ E. R i s c h, Les différences dialectales dans le mycénien, там же, стр. 150—160.

лектов. Э. Риш склонен думать, что «нормальный микенский» мог быть языком двора или аристократии, а «специальный микенский» — языком низших слоев населения. Первый исчез в связи с катастрофой, погубившей микенские дворцы, второй ее пережил. В своем выступлении К. Галлавотти дал определение «микенского» как протоэолийского диалекта, сохранившего ряд общих специфических явлений с предысторическими языками севера Балканского полуострова. Эти общие черты были выработаны в результате тесного общения эолийцев с населением северной Греции в III—II тысячелетиях до н. э.¹⁷

На микенологическом симпозиуме, состоявшемся в 1966 г. в Чехословакии, был прослушан доклад А. Бартонека «Греческая диалектология после дешифровки линейного В»¹⁸. Проанализировав развитие греческой диалектологии за последние годы, докладчик указал на наличие ряда гипотез относительно характера «микенского». Это, во-первых, минималистская теория, отождествляющая микенский с аркадско-кипрским (Адрадос, Рейх). Это, во-вторых, теория, рассматривающая микенский как диалект аркадско-кипрского и аттико-ионийского типа (Пизани, Риш, Чедвик). Это, в-третьих, теория об аркадско-кипрско-эолийском характере микенского (Палмер, Товар, Лурье). Это, в-четвертых, теория микенского койне, т. е. смешанного языка, базирующегося на ионийско-эолийском (Георгиев), ахейско-ионийском (Гринбаум). Какая из этих теорий наиболее близка к истине, пока еще определить трудно. Выяснению этого могло бы способствовать разрешение микенологами целого комплекса вопросов. Первая группа этих вопросов касается происхождения диалектных различий в древнегреческом языке, вторая — образования и характера самого «микенского», третья — возможного влияния «микенского» на диалекты классического периода. Участникам встречи в Брно была роздана анкета, составленная А. Бартонеком и включающая названные выше вопросы. Ответы ученых различных стран были опубликованы вместе с материалами симпозиума¹⁹. Оставляя в стороне вопросы первой и третьей группы, рассмотрим подробнее ответы, касающиеся происхождения и характера «микенского». Дж. Чедвик склоняется к мнению, что «микенский» был смешанным (composite) языком, выработанным как язык двора и базирующимся на более чем одном местном диалекте. В. Коугил полагает, что «микенский» связан с диалектным ареалом, включающим предков более поздних аттико-ионийского и аркадско-кипрского диалектов. М. Петрушевский считает, что носителями микенского греческого были древние ахейцы, следы которых сохранились в надписях Аркадии, Кипра и Памфилии. К. Рейх относит «микенский» к ахейскому, предку аркадского и кипрского диалектов. В. Мерлинген определяет микенский как древнейший греческий диалект, мало чем отличающийся от других; он стал письменным языком верхних слоев общества. П. Ватле предполагает, что «микенский» был общим языком, выросшим из говоров Пелопоннеса и весьма близким к диалектам Аркадии и Кипра. И. М. Тронский поддерживает теорию, согласно которой язык микенских документов представляет собой некое койне, в котором, однако, центрально греческие элементы (не тронутые еще лабиовелярные, род. падеж на -οιο и т. д.) играют весьма значительную роль. Койне при этом, по мнению Тронского, следует рассматривать как наддиалектную норму. Тронский считает возможным постулировать, наряду с документальным койне, также и поэтическое койне микенской эпохи.

¹⁷ C. Gallavotti, Quelques remarques de morphologie, там же, стр. 180—290.

¹⁸ «Studia Mycenaea, Proceedings of the Mycenaean symposium. Brno, April, 1966», ed. by A. Bartonek, Brno, 1968, стр. 37—51.

¹⁹ Там же, стр. 155—210.

На Первом международном микенологическом конгрессе в Италии в 1967 г. с докладом «Относительно греческого микенского диалекта» выступил французский исследователь М. Лежен²⁰. Он напомнил, что уже первый анализ «микенского» привел к заключению, что этот диалект не содержит ни одной специфической дорийской черты. Вместе с тем были найдены общие диалектные черты микенского, с одной стороны, и аркадско-кипрского, ионийско-аттического и эолийского — с другой. Микенское койне, по мнению М. Лежена, было искусственным языком. Это язык, которому в школах обучали микенских писцов. Он, возможно, сначала был в употреблении во дворцах, а потом распространился в качестве технического на греческий мир. Его основу составлял аркадско-кипрский диалектный тип.

О. Семереньи определил в своем докладе «микенский» как столбовой камень между индоевропейским и историческим греческим²¹. Дешифровка линейного письма В добавила полтысячелетия к документированной истории греческого языка и принесла большую лингвистическую информацию. Появилась возможность найти ответ — особенно в области морфологии — на вопрос о времени возникновения и характере ряда инноваций исторического греческого языка. О. Семереньи рассматривает наиболее важные явления «микенского» по отношению к индоевропейскому. К архаизмам он относит: 1) лабиовеларные согласные (серия *q*-); 2) активное перфектное причастие с *s*-основой (ср. *ararishwa*); 3) сравнительную степень прилагательных *s*-склонения (ср. *mezoe*, *mezoa*₂); 4) двойственное число \bar{a} -основ на *o* (ср. *topezo*); 5) первоначальное различие между инструментальным и локативно-дательным падежами; 6) сохранение некоторых *m*-основ вместо позднейших основ на *-n*; 7) глагольные окончания *-toi*, *-vtoi*; 8) лексические архаизмы: а) *i-ja-te*, *ia τ hr* вместо позднейшего *ia τ ros*, б) второй член *-dwēs* в словах *ti-ri-jo-we*, *qe-to-ro-we*, *a-no-we* доказывает, что позднейшее *oēs*, *ōtós* «ухо» имело в микенское время форму **owos*/**oweos*, а не **owos*/**owatos* (однако наличие в Кноссе прилагательного *a-no-wo-to* доказывает, что появления основы **owat* могло иметь место уже внутри греческого языка). Инновациями, обнаруженными в микенском греческом, Семереньи считает следующие факты: 1) индоевропейские звонкие придыхательные уже перешли в глухие придыхательные; 2) индоевропейское *s* уже перешло в *h*; 3) завершено развитие групп *ty*, *ky*; *dy*, *gy*; 4) начальное индоевропейское *y*- уже перешло в ζ или *h*; 5) уже закончена замена окончаний мн. числа *o/a*-основ *-ōs*, *-ās* окончаниями *-oi*, *-ai*; 6) \bar{a} -основы муж. рода уже перешли от склонения *-ā/ās* к склонению *-ās/-āo* (*-āo* из более раннего *-ājo*); 7) именной суффикс *-zōs* и соответствующий ему женский *-eja* (*ijereu/ijereja*) обнаруживают большую продуктивность; 8) формирование прилагательных с суффиксом *-went* в жен. роде на *-wessa* вместо более древнего *-Wzōz*; 9) тематические глаголы на *-zō*; 10) первые случаи появления аугмента; 11) лексической инновацией являются собственные имена типа *Κέσσανδρος*, *Ἀλεξάνδρα*. Итак, «микенский» представляет собой, безусловно, греческий язык. Характерные черты, отличающие его от других индоевропейских языков, уже совсем четко развиты.

М. Дуранте в результате рассмотрения языковых отношений в микенской и позднейшей Греции приходит к заключению, что исторические греческие диалекты являются продолжением не микенского койне, представ-

²⁰ «Atti e memorie del I Congresso Internazionale di micenologia, Roma, 27 IX — 3 X 1967», I, Roma, 1967, стр. 233—238.

²¹ О. S z e m e r e n y i, Mycenaean: a milestone between Indo-European and historical Greek, там же.

ленного в табличках, а народных диалектов микенского периода²². Междиалектное же койне обслуживало различные стороны микенской цивилизации, связанные с жизнью образованных слоев общества.

Диалектной позиции микенского отводит один из разделов своей книги «Руководство к изучению микенского» М. Дория²³. Подвергнув рассмотрению существующие по этому вопросу гипотезы, он приходит к заключению, что несмотря на некоторые совпадения с эолийскими диалектами, микенский не может быть причислен к эолийско-аркадско-кипрской системе, а принадлежит ко всей семье южных греческих диалектов.

В 1966 г. был опубликован доклад американского исследователя В. Коугила «Древнегреческая диалектология в свете микенского»²⁴. Автор полагает, что несмотря на однородность текстов, написанных линейным В, уже во II тысячелетии до н. э. имела место диалектная дифференциация в южной Греции. Не исключено наличие микенского койне, которое, однако, не устраивало внутренних диалектных различий. Ряд инноваций, неизвестных в других местах, показывает, что язык табличек не мог быть прямым предком аркадско-кипрского. К тому же в микенском царстве имелись по меньшей мере три речевых разновидности. Ионийский и аркадско-кипрский сосуществовали в микенский период. Можно предположить, что ионийский был языком правящих кругов, а аркадско-кипрский обслуживал низшие слои населения.

Вопрос о микенском как греческом диалекте был рассмотрен вновь в 1968 г. итальянским исследователем К. Галлавотти²⁵. Он отклоняет ряд высказанных другими учеными предположений. К. Галлавотти убежден в том, что «микенский» следует определить как протоэолийский диалект. Доказательства этого он видит как в сведениях греческих историков, так и в языковых особенностях. В частности, им приводятся такие общие для микенского и эолийского явления, как огласовка *o* (при обычном *α*) в *qetoro-*: эол. *πετρο-*; *u* (при обычном *ο*) в *ari-*: эол. *ἀρύ*; *i* (при обычном *ο*) в *ipe-* (*ἰπερ-*): ср. эол. *ἰφου*; прилагательные на *-ιος* (при обычном *-εος*) в *kakijo* (*χάλλιος*): ср. эол. *χρῆσιος*; окончание род. пад. ед. числа *o*-основ *-ojo/-o*: эол. (фесс.) *-οιο/-οι*; суффикс *-pi*: эол. *-φι*; патронимические прилагательные на *-ijo*: эол. *-ιος* (*etewoklewajo*, ср. *Τελαμώνιος*) и др. Ряд элементов сближает «микенский» с аркадским: глагольное окончание 3-го лица ед. числа *-tai* (при обычном *-tai*), формы *rei* (*ρεῖς*, при обычном *ρεῖσι*); *posi* (*πός*, при обычном *ποτί*). Единственным чисто ионийским (и аттическим) явлением К. Галлавотти считает союз *ote*, т. е. *ὅτε* в отличие от эол. *ὄτα*, дор. *ὄκα*. Он отмечает, что нельзя говорить отдельно об ионийцах и эолийцах в XIII — XII вв., как это принято для IX в.; однако можно предполагать, что язык микенцев нашел скорее свое продолжение в митиленском наречии Сафо и Алкея, чем в аттическом Солона и Писистрата.

В своей книге об эолийских чертах в языке греческой эпохи II. Ватле высказывает резко отрицательное отношение к гипотезе о микенском койне, ссылаясь на поразительное единство «микенского» в Пилосе, Микенах и Кноссе²⁶. Он полагает также, что «микенский» не мог быть предком

²² M. D u r a n t e, Vicende linguistiche della Grecia tra l'età Micenea e il medioevo Ellenico, там же, II.

²³ M. D o r i a, Avviamento allo studio del miceneo: struttura, problemi e testi, Roma, 1965, стр. 72—77.

²⁴ W. C o w g i l l, Ancient Greek dialectology in the light of Mycenaean, «Ancient Indo-European Dialects», Los Angeles, 1966, стр. 77—95.

²⁵ C. G a l l a v o t t i, Sulla definizione del miceneo come dialetto Greco, «Studi Micenei ed Egeo-Anatolici», V, Roma, 1968.

²⁶ P. W a t h e l e t, Les traits éoliens dans la langue de l'épopée grecque, Roma, 1970, стр. 26.]

ионийско-аттического диалекта, хотя не исключено наличие особых связей между более ранней его формой и последним. Вопрос о «микенском» рассматривается попутно и И. М. Тронским в статье, посвященной гомеровскому языку²⁷. «Реальные говоры микенской Греции», указывает он, «принадлежали к протоэолийским и к протокипрским ветвям, родственным протоионийским»²⁸. Микенский — смешение этих ветвей и не содержит в себе ничего, что не принадлежало бы по крайней мере одной из них. И. М. Тронский высказывает свое согласие с В. И. Георгиевым, определившим гомеровский язык как заключительный этап развития «крито-микенского койне». В своей последней книге «Вопросы языкового развития в античном обществе» И. М. Тронский обращает внимание на специфический характер крито-микенских памятников. В отличие от литературных и эпиграфических текстов они представляют собой редко встречающийся жанр деловой прозы, образец «хозяйственно-канцелярской подсистемы греческого языка»²⁹. В них относительно мало глагольных форм (всего около 60 финитных), редко встречаются местоимения и служебные слова, зато много нарицательных имен существительных и прилагательных, большое количество собственных имен. И. М. Тронский отмечает, что в памятниках, написанных микенским линейным письмом В, почти нет диалектных различий, «где бы эти документы ни составлялись, в Кноссе или в Пилосе, в Микенах или в Фивах». «Уже это обстоятельство, — продолжает автор, — наводит на мысль, что для документальных материалов употреблялся некий **н а д д и а л е к т**»³⁰.

Сделанный выше обзор, несмотря на его неполноту³¹, отражает в основном, как нам представляется, ход обсуждения и современное состояние проблемы «микенского». Попытаемся подвести некоторые итоги развернувшейся дискуссии.

1. Является ли микенский самостоятельным диалектом или он представляет собой смесь диалектов — своеобразное архаическое койне?

Следует заметить, что последняя гипотеза, выдвинутая впервые болгарским ученым В. Георгиевым, приобретает все больше сторонников. При этом было уточнено само понятие микенского койне: в настоящее время под ним подразумевается наддиалект, образовавшийся на базе реальных диалектов или диалектных ветвей микенского языкового ареала.

В поддержку этого предположения говорит ряд обстоятельств. Важнейшие из них — смешанный характер языка самих крито-микенских текстов, отсутствие его прямых наследников в послемикенский период. Противники теории микенского койне ссылаются на то, что все греческие диалекты микенской эпохи были в той или иной степени смешанными, а язык крито-микенских текстов един. Верно, что почти все греческие диалекты отличаются смешанным характером, но решающей является именно степень и характер смешений: «в микенском» эта степень намного выше обычной. Верно, что язык кносских и пилосских табличек един, однако очевидно и то, что этот язык неоднороден в диалектном отношении.

²⁷ И. М. Т р о н с к и й, Язык Гомера, ВЯ, 1971, 3.

²⁸ Там же, стр. 110.

²⁹ И. М. Т р о н с к и й, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 87.

³⁰ Там же, стр. 99.

³¹ Некоторые исследования остались, к сожалению, для меня недоступными, в частности: М. D o r i a, La posizione dialettale del miceneo, «Corso di filologia micenea» Trieste, 1967; L. E i r e, Panorama actual de la dialectologia griega, «Estudios Classicos», 12, 1968.

К лингвистическим соображениям И. М. Тронский добавляет и историко-социологическое, указывая, что «высокая цивилизация на обширном ареале не может обойтись без наддиалектных средств общения»³².

2. Каково происхождение и функции микенского? Ряд исследователей высказывает мнение, что микенский был искусственным образованием, созданным для нужд двора кносских и микенских царей. Другие полагают, что на нем говорили и писали высшие слои микенского общества, в то время как низшие слои пользовались народными говорами.

Несостоятельность первой точки зрения очевидна. Она основывается на бытующем еще в зарубежной литературе представлении о формировании древних диалектов и языков как сознательном и управляемом процессе. «Диалекты,— писал В. М. Жирмунский,— это социально-исторические образования, возникшие в определенных реальных условиях общественной жизни, в постоянном взаимодействии с другими, соседними родственными диалектами в процессе дифференциации и интеграции, смешения и выравнивания, а также в результате влияния посторонних субстратов, суперстратов и адстратов»³³. Несомненно, что и «микенский» не создавался для нужд двора, а объективно сложился в определенных социально-исторических условиях. Другое дело, что он оказался пригодным и был использован в функции языка хозяйственных текстов во дворцах Кносса, Пилоса и Микен. Предположение М. Лежена, что «микенский» сначала был искусственно создан во дворцах, а затем в качестве технического языка был распространен на греческий мир, представляется нам неприемлемым. Со второй гипотезой можно согласиться лишь частично. Несомненно, что складывание наддиалекта в микенское время являлось результатом усилившихся экономических, политических и культурно-религиозных связей между греческими племенами. Однако этим наддиалектом пользовалось не все население, а главным образом те его слои, которые находились в постоянном сношении с другими племенами. Это могли быть, прежде всего, представители знати, но не только. Общим наддиалектом пользовались, по-видимому, и торговцы, жрецы, придворные писари. Наличие наряду с хозяйственным и постулируемого И. М. Тронским поэтического койне предполагает в свою очередь, что им владели в совершенстве микенские поэты, тесно связанные с народной средой.

3. Каков диалектный характер «микенского»? Большинство исследователей согласно с тем, что «микенский», если его рассматривать с позиций известных нам греческих диалектов I тысячелетия до н. э., представляет собой смешанный диалект или наддиалект. Все согласны и с тем, что «микенский» не принадлежит к западногреческой диалектной группе, к которой относится дорийский. Никто из ученых не отрицает определенной близости «микенского» к аркадско-кипрскому диалекту. Основные разногласия относятся к связям «микенского» с ионийско-аттической группой, с одной, и эолийской, с другой стороны. Сторонниками каждой из этих гипотез приводятся убедительные доказательства (языковые явления, встречающиеся в крито-микенских текстах) в подтверждение своей точки зрения. Они свидетельствуют о действительном присутствии в «микенском» элементов протоэолийского, ахейского и протоионийского диалектов. Вопрос только в том, какие из них считать главными, какие второстепенными. Автор этих строк продолжает придержи-

³² И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, стр. 101.

³³ В. М. Жирмунский, Существовал ли «протогерманский» язык?, ВЯ, 1971, 3, стр. 3.

ваться мнения, высказанного в ответе на соответствующий вопрос анкеты А. Бартонека: «Микенский не является самостоятельным диалектом. Его нельзя считать и предшественником какого-либо из греческих диалектов. Это южная разновидность микенского койне, возникшего первоначально в северной Греции и распространенного впоследствии на Пелопоннес. В ее основе лежат ахейско-ионийские элементы. Первые относятся, главным образом, к области фонетики и морфологии и часть из них удается обнаружить в надписях Фессалии, вторые — больше к лексике. В отличие от северного койне, испытавшего на себе влияние эолийского диалекта, микенский подвергся определенному влиянию аркадско-кипрского, равно как и местного субстрата Пелопоннеса и о. Крита»³⁴.

³⁴ «Studia Mycenaea, Proceedings of the Mycenaean symposium. Brno, April, 1966», стр. 177—178.

В. И. ФУРАШОВ

**ПРОБЛЕМА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И СИНТАКСИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМАТИКА**

В связи с осознанием системности языка и выработкой представлений о языке как сложной, многоуровневой, иерархически организованной структуре, состоящей из определенным образом организованных элементов и правил их функционирования, естественно возникает вопрос о необходимости уточнения некоторых традиционных положений лингвистики, связанных, в частности, и с проблемой членения предложения.

Возможность различных подходов к членению предложения заложена уже в самой его природе, позволяющей рассматривать предложение не в одном, а в нескольких аспектах, нередко не опровергающих, а дополняющих и уточняющих друг друга, поскольку эта языковая единица представляется весьма сложным и многогранным образованием.

Авторы различных синтаксических концепций обычно рассматривают предложение с какой-либо одной его стороны, по их мнению, наиболее существенной. Характерно, что — при всем многообразии подходов — в предложении, как правило, обнаруживаются два компонента: своего рода «центр» и «периферия». В. Г. Адмони, анализируя синтаксические теории, приходит к выводу, что лингвистика знает, по меньшей мере, пять основных принципов выделения центрального компонента предложения, или его «ядра»: логико-грамматический, иерархический, структурный, коммуникативный и семантический¹.

Ниже речь пойдет о том принципе членения предложения, который принято называть традиционным, или логико-грамматическим, согласно которому в предложении различаются главные и второстепенные его члены.

Известно, что традиционная модель главных и второстепенных членов предложения неоднократно ставилась под сомнение в процессе развития грамматической мысли. Например, выдвигался тезис, что второстепенные члены выделяются не в собственно предложении, а в «составе подлежащего» и в «составе сказуемого», что и давало сторонникам некоторых концепций основание для «снятия» противопоставления главных членов второстепенным. Против этого положения В. В. Виноградов приводил два весьма веских, на наш взгляд, аргумента: во-первых, некоторые второстепенные члены предложения, будучи обособленными, не входят ни в состав подлежащего, ни в состав сказуемого, представляя собою своеобразные смысловые синтаксические единства в строе предложения, но грамматически оставаясь второстепенными его членами, как бы прислоненными к его основному предикативному ядру; во-вторых, известные второстепенные члены предложения (так называемые детерминанты), как и обособленные второстепенные члены, относятся ко всей остальной части

¹ В. Г. А д м о н и, Структурно-смысловое ядро предложения, в кн.: «Члены предложения в языках различных типов», Л., 1972, стр. 35—50.

предложения в целом и не связываются непосредственно ни с составом подлежащего, ни с составом сказуемого².

Действительно, многие обособленные члены предложения нельзя непосредственно отнести ни к группе подлежащего, ни к группе сказуемого, в связи с чем приходится признавать их относительно независимый статус в составе предложения. Это касается, например, обособленных определений с обстоятельными оттенками значения, особенно в тех случаях, когда указанные функционально-синтаксические оттенки находят яркое формальное обнаружение: «Глаза, *хотя* окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо» (Лермонтов, Княжна Мери); «Обед, *хотя* наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный» (Тургенев, Отцы и дети). В приведенных примерах уступительный оттенок значения, формально представленный союзом *хотя*, связывает по смыслу обособленные определительные конструкции с составом сказуемого; в то же время совершенно очевидны формальная и семантическая связи обособленных определений с подлежащими данных предложений.

Обстоятельные оттенки значения, наблюдаемые у обособленных определений, не менее ярки и прозрачны и в тех случаях, когда имеет место соотношение семантики лексических составов обособленной конструкции и группы сказуемого: «Разгоряченная шедшим впереди Гладиатором, лошадь поднялась слишком рано пред барьером» (Л. Толстой, Анна Каренина); «Довольный собственной шуткой, Шалый оглушительно расхохотался» (Шолохов, Поднятая целина), где вполне отчетливо прослеживается причинный оттенок значения.

Не вызывает сомнений и особый статус детерминирующих членов предложения. Примечательно, что тезис об отнесенности детерминирующих членов «к конструктивному ядру предложения в целом» разделяется и оппонентами Н. Ю. Шведовой³, в работах которой вопрос о детерминантах получил, как известно, наиболее подробное освещение и развитие.

Отнесенность второстепенных членов предложения одновременно к подлежащему и сказуемому наблюдается также в тех случаях, когда второстепенные члены оказываются в специфической позиции нейтрализации, т. е. обнаруживают двусторонние синтаксические связи, вследствие чего не всегда легко решить вопрос о том, к какой из традиционных рубрик второстепенных членов отнести ту или иную словоформу. Это наблюдается, например, в предложениях, где предложно-падежные формы имен существительных занимают место после таких определяемых, которые обычно не нуждаются или мало нуждаются в атрибутивных распространителях, а глагол-сказуемое обладает способностью подчинять данные предложно-падежные формы: «Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках» (Пушкин, Капитанская дочка). Ср.: *Савельич стоял передо мною со свечкою в руках.*

Если по условиям коммуникации необходимо однозначно определить ту или иную синтаксическую связь, то интонация в устной речи и соответствующие знаки препинания на письме помогают разрешить указанный синкретизм: «Народ в полях — работает» (Некрасов, Кому на Руси жить хорошо). Предложно-падежная форма *в полях* относится к подлежащему и является несогласованным определением с пространственным (обстоя-

² См.: «Грамматика русского языка», II, часть первая, М., 1960, стр. 93, 94. О детерминантах см.: Н. Ю. Ш в е д о в а, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6; е е ж е, Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения?, ВЯ, 1968, 2. Ср.: И. П. Р а с п о в, О так называемых детерминирующих членах предложения, ВЯ, 1972, 6.

³ См.: И. П. Р а с п о в, указ. соч., стр. 61.

тельственным) оттенком значения. Ср.: *Народ — в полях работает*, где та же предложно-падежная форма относится уже к глаголу-сказуемому и выражает пространственные отношения, являясь обстоятельством места.

В ряде случаев средством установления однозначности синтаксических связей служит обособление: «Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату» (Л. Толстой, *Отрочество*). Здесь предложно-падежные формы существительных выступают в функции обособленных несогласованных определений при подлежащих предложения. Ср. возможность двойного истолкования синтаксических связей в том же предложении без обособления: *Дубков и Нехлюдов в шинелях и шляпах вошли в комнату*.

Если сказуемое по своей лексической семантике не сочетается с предложно-падежной формой существительного, то синтаксическая связь устанавливается только с подлежащим: «Высокий парень в морской телняшке отвесил Кирюшке низкий поклон. . .» (С. Никитин, *Однажды летом*), где предложно-падежная форма выступает в функции несогласованного определения.

Итак, наличие обособленных второстепенных членов, относящихся ко всей остальной части предложения, а также детерминантов и второстепенных членов с двусторонними синтаксическими связями не подтверждает, а с очевидностью опровергает ту точку зрения, согласно которой второстепенные члены выделяются не в собственно предложении, а в группе подлежащего и в группе сказуемого. Поэтому надо согласиться с мнением В. В. Виноградова, который считал поспешным вывод о снятии противопоставления главных членов второстепенным, а указанную точку зрения — оторванной «от живого разнообразия конкретно-языковых синтаксических явлений»⁴.

В последнее время уязвимость традиционной модели членов предложения усматривают в том, что второстепенные члены выделяются на «неграмматических принципах»⁵, что в основе выделения второстепенных членов лежат логические и грамматические критерии. При этом обычно ссылаются на теоретическое «Введение» в академический «Синтаксис», где сказано о том, что «традиционное учение о второстепенных членах предложения нуждается в коренном пересмотре»⁶. Однако нередко как бы забывают, что пересмотр традиционного учения о второстепенных членах автор «Введения» видел вовсе не в отказе от выделения второстепенных членов предложения, а в углубленном изучении «всех видов синтаксических отношений и связей между словами как в формах словосочетаний, так и в структуре предложений», в стремлении «к детальному расчленению и грамматической характеристике тех форм синтаксических отношений и синтаксической связи, которые подводятся под категории определения, дополнения и обстоятельства, а также к описанию переходных или „синкретических“ случаев», в углубленном и всестороннем решении «вопроса о членах предложения в современном русском языке»⁷.

В ряде случаев стремление освободиться от смысловой стороны речи при описании грамматического строя языка, по существу, остается в области деклараций и приводит к необоснованному утяжелению лингвистических процедур анализа языковых явлений, что иногда принято называть «подходом фокусника», как это имело место в американской дескриптивной лингвистике.

⁴ «Грамматика русского языка», II, часть первая, стр. 93.

⁵ «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 133, 160.

⁶ «Грамматика русского языка», II, часть первая, стр. 96.

⁷ Там же, стр. 96, 97.

Стремление избавиться от логицизма в недавно предложенной модели описания синтаксического строя современного русского литературного языка⁸ и снять противопоставление главных членов второстепенным зашло настолько далеко, что самый термин «главные члены предложения», которым оперируют при описании так называемых структурных схем предложения, оказывается немотивированным, так как лишается логического основания и противопоставленности «второстепенным членам предложения», что совершенно справедливо отмечается оппонентами⁹.

Анализируя синтаксическую систему А. М. Пешковского, его стремление установить чисто грамматические признаки предложения, В. В. Виноградов не допускал возможности описания и определения грамматических категорий в полном отрыве от основных категорий мышления¹⁰.

Нельзя забывать, что синтаксические «события» разыгрываются на определенном лексико-семантическом и морфологическом субстрате, поэтому полного абстрагирования от лексической и морфологической семантики на синтаксическом уровне анализа едва ли кому-нибудь удастся добиться. Надо согласиться с мнением тех языковедов, которые предпочитают осуществлять описание структуры предложения в терминах традиционной модели синтаксических членов¹¹, поскольку эта модель «хорошо согласуется с фактами и потому едва ли может быть опровергнута, хотя, разумеется, легко может быть заменена какой-то иной гипотезой, созданной под иным углом зрения на структуру предложения»¹².

Традиционная модель членов предложения используется при разработке типологической классификации языков¹³. Эта модель не противоречит и современным представлениям о синтагматических и парадигматических отношениях между единицами языка на различных уровнях его структуры.

Остановимся на этом последнем положении и попытаемся рассмотреть — по необходимости бегло и схематично — основные понятия, связанные с интерпретацией членов предложения в аспекте синтаксической парадигматики и синтагматики.

Парадигматическая и синтагматическая концепция языка в зародыше содержится уже в докторской диссертации Н. В. Крушевского («Очерк науки о языке», Казань, 1883), который указал на то, что «каждое слово связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами по звукам, структуре и значению и столь же бесчисленными связями с разными своими спутниками во всевозможных фразах», что связи между словами бывают двух порядков — «порядка сосуществования (сходство) и порядка последовательности (смежность)»¹⁴.

⁸ См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 546—610.

⁹ А. В. Бондарко, В. И. Кудухов, О новой модели описания грамматического строя русского языка, ВЯ, 1971, 6, стр. 44.

¹⁰ В. В. Виноградов, Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противоречия, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 44.

¹¹ См.: Ю. В. Ваников, Полная синтагматическая модель предложения и типы ее реализации в тексте, в кн.: «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 53.

¹² См.: Б. Н. Голловин, К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях морфологии и синтаксиса, сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 83.

¹³ См.: «Члены предложения в языках различных типов», Л., 1972.

¹⁴ Цит. по кн.: В. А. Звегинцев, Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX веков, М., 1956, стр. 248.

Признание и распространение эта теория получила после опубликования в 1916 г. знаменитого «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, в концепции которого она органически связана с расщеплением «речевой деятельности» (*langage*) на «язык» (*langue*) и «речь» (*parole*), с осознанием системности языка. Ф. де Соссюр говорил о двух типах отношений, в которые вступают языковые единицы: отношениях синтагматических и ассоциативных¹⁵. Согласно взглядам Ф. де Соссюра, синтагматические отношения основаны «на линейном характере языка, исключающем возможность произнесения двух элементов сразу»¹⁶. В синтагматические отношения вступают слова в речи, образуя цепь. Специально подчеркивается, что синтагматические отношения не есть принадлежность только речи, но и языка¹⁷. Отношения ассоциативные характеризуются в «Курсе. . .» следующим образом: «. . . вне процесса речи слова, имеющие между собою что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма разнообразные отношения»¹⁸; эти отношения «не опираются на протяженность; их местопребывание — в мозгу; они составляют тот запас, который у каждого индивида образует язык»¹⁹.

Противопоставляя синтагматические отношения ассоциативным, Ф. де Соссюр отмечал, что синтагматические отношения всегда налицо (*in praesentia*), тогда как ассоциативные отношения соединяют элементы отсутствующие (*in absentia*) в потенциальный, мнемонический ряд²⁰.

Хотя общие понятия и определения синтагматики и парадигматики выясняются Соссюром на уровне слова, он не склонен был думать, что другие единицы языка стоят вне синтагматики и парадигматики: «Все, в чем выражено данное состояние языка, надо уметь свести к теории синтагм и к теории ассоциаций»²¹.

Синтагматическая и парадигматическая теория языка в последние десятилетия получает признание как в работах зарубежных лингвистов, так и в советском языкознании²². Правда, отмечается, что многие вопросы парадигматики (в частности, синтаксической) скорее поставлены, чем решены, нет единства в понимании как частных, так и ведущих аспектов синтаксической парадигмы; однако само направление в целом считается перспективным, способствующим выявлению специфических особенностей синтаксического уровня языка²³.

Традиционная модель членов предложения, как уже отмечалось, вполне может быть интерпретирована в аспекте синтаксической синтагматики и парадигматики. Эта модель позволяет в относительно небольшом количестве понятий и терминов более или менее адекватно действительному положению вещей описывать все многообразие связей и отношений между словами в предложении, а эти связи и отношения, в конечном счете, есть отображение тех реальных связей и отношений, которые существуют в объективной действительности.

¹⁵ Термин «парадигматические отношения» был введен в научный обиход Л. Ельмслевом. Ф. де Соссюр эти отношения называл ассоциативными, что вполне согласуется с характерной для его лингвистической концепции психологической окраской.

¹⁶ Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 121.

¹⁷ Там же, стр. 122.

¹⁸ Там же, стр. 121.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Там же, стр. 131.

²² Вопросам синтаксической парадигматики посвящен содержательный обзор Ю. М. Костинского («Вопросы синтаксической парадигматики», ВЯ, 1969, 5).

²³ См.: Ю. М. К о с т и н с к и й, указ. соч., стр. 144.

Синтаксические функции того или иного слова, являющегося принадлежностью известного лексико-грамматического класса (части речи), определяются теми связями и отношениями, в которые вступает данное слово с другими словами в предложении. Одна и та же словоформа в разных случаях ее реального употребления в зависимости от указанных связей и отношений может выполнять роль разных членов предложения; один и тот же член предложения может быть морфологически и лексически представлен весьма различно. И все же морфологическим «ядром» категории определения являются, прежде всего, формы качественных и относительных прилагательных, дополнения — формы косвенных падежей имен существительных, обстоятельства — формы наречий и деепричастий.

Противопоставление в синтаксической системе языка главных членов предложения второстепенным представляется вполне оправданным, поскольку главные члены, будучи предикативным центром предложения, определяются (в самом широком смысле этого слова) второстепенными членами. Это может осуществляться трояко: 1) второстепенные члены относятся непосредственно к членам предикативного центра, 2) второстепенные члены относятся ко всей остальной части предложения и так или иначе определяют главные члены, как это имеет место при обособлении некоторых второстепенных членов или в случаях с детерминирующими членами предложения, 3) второстепенные члены относятся к другим второстепенным членам и определяют главные члены предложения опосредованно. Примеры очевидны.

Члены предложения, подобно другим единицам языковой системы, предстают перед нами в конкретных предложениях в речи в том или ином варианте их реализации. Среди этих вариантов всегда есть такие, которые являются типичными, открывающими и возглавляющими данные ряды. Эти варианты реализации в речи определенного члена предложения как абстрактной синтаксической единицы есть типичные представители известных членов в конкретных речевых высказываниях. Член предложения как единица синтаксической системы языка не дан нам в «целом» виде в определенном предложении в речи, как нам не даны и другие языковые единицы, например, слово. Ведь слово с точки зрения языковой системы есть известный набор словоформ, которые только и являются нам в конкретных речевых актах, в текстах.

Определение как синтаксическая единица представляет собою целую систему форм и предстает перед нами в конкретных предложениях в виде различных вариантов речевых реализаций. Чтобы установить весь набор форм определения, необходимо проанализировать более или менее протяженный отрывок текста.

По мысли Л. В. Щербы, «занимаясь „языком“, мы лишь обобщаем частные случаи „речи“, которые только и даны в опыте»²⁴.

Совершенно очевидно, что система форм одного и того же члена предложения как синтаксической единицы языка представляет собою известного рода парадигму. Парадигма определения, например, открывается «типичным» определением, т. е. таким, которое имеет чисто атрибутивную функцию и предназначенные для выражения этой функции формы. Все другие элементы парадигмы связаны с этим типичным элементом общностью синтаксической функции и противопоставлены ему, поскольку при их реализации атрибутивная функция сопровождается целой гаммой функционально-синтаксических оттенков значения — обстоятельственных, объектных, пояснительных, уточнительных и др. Обособленные определения —

²⁴ Л. В. Щ е р б а, Очередные проблемы языковедения, в кн.: «Избранные работы по языковедению и фонетике», I, Л., 1958, стр. 23.

только один из элементов известного парадигматического ряда, так как обособленные определения, наряду с отношениями атрибутивными, содержат некую долю предикативности, которая связывается обычно с функцией добавочного сообщения, а также — нередко — и различного рода обстоятельственные оттенки значения (причинный, уступительный, условный, временной, способа совершения действия и др.)

Типичный элемент парадигмы определения можно назвать простым, а все остальные — осложненными, так как при их реализации всегда примешиваются добавочные функционально-синтаксические оттенки. Осложненные элементы парадигмы определения, связанные тождеством идентичной синтаксической функции с простым, типичным элементом, противопоставлены этому последнему. Дифференциальным признаком при этом является наличие функционально-синтаксических оттенков, облакающих основное атрибутивное ядро категории определения. Функционально-синтаксические оттенки делают осложненные элементы парадигмы маркированным членом данного противопоставления, тогда как простой элемент парадигмы оказывается лишенным указанной приметы, как это обычно наблюдается в привативных оппозициях.

Может показаться, что элементы парадигмы определения противопоставлены только функционально, но в действительности функция всегда предполагает форму, и наоборот. Само собою разумеется, что парадигма члена предложения представлена формально не столь ярко и зримо, как, скажем, «классические» парадигмы частей речи, однако вместе с функциональными различиями так или иначе представлены и формальные различия.

Поскольку члены предложения — единицы функциональные, постольку противопоставление элементов их парадигм наиболее отчетливо проявляется именно в плане функциональном, а не формальном, как в морфологии.

Парадигматические отношения неразрывно связаны с синтагматическими, т. е. с отношениями элементов парадигм членов предложения в речевой цепи, в конкретных реализациях в речи предложений как абстрактных синтаксических единиц языковой системы. Наблюдая за синтагматическим «поведением» имени прилагательного, например, мы обнаруживаем, что оно может занимать в предложении разные синтаксические позиции. Для того чтобы имя прилагательное могло выражать чисто атрибутивные отношения, требуется отнесенность его к имени существительному, а не к личному местоимению; надо, чтобы это прилагательное не входило в качестве компонента в состав сказуемого (допустим, составного именного), чтобы оно не обнаруживало смысловых связей со сказуемым, если относится к подлежащему, чтобы оно занимало свое обычное место впереди определяемого²⁵, с которым оно синтаксически и семантически связано, чтобы оно не было инверсированным и оторванным от определяемого, чтобы не было перегруженным зависимыми словами и т. п. Только при соблюдении известных условий имя прилагательное может быть в предложении типичным определением-атрибутом, не осложненным иными отношениями или оттенками функционально-синтаксических значений. Однако согласованные определения-прилагательные могут оказаться в предложении в такой позиции, в которой они приобретают различные функционально-синтаксические оттенки значения, например, при отнесенности к личному местоимению, в постпозиции по отношению к определяемому, при оторванности от определяемого и проч. Именно в таких синтаксических позициях в ряде случаев имеет место обособление определений,

²⁵ Об отступлениях от этого положения см.: И. И. К о в т у н о в а, Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX в., М., 1969, стр. 42—56.

которое как раз и связано с различными осложнениями выражаемых определениями атрибутивных отношений. Ср.: *Усталый мальчик быстро уснул.* — *Усталый, он быстро уснул.*

Несогласованные определения, морфологически представленные управляемыми и примыкающими частями речи, наряду с атрибутивными отношениями, имеют оттенки отношений объектных и обстоятельственных. Осложненные элементы парадигмы обычно имеют такие функционально-синтаксические оттенки, которые в целом не нарушают тождества того или иного члена предложения как синтаксической единицы. Однако иногда встречаются случаи, когда определенная словоформа совмещает значения разных членов предложения — определения и дополнения, определения и обстоятельства, дополнения и обстоятельства, причем количественно установить доли этих значений при отсутствии более или менее строгого аппарата анализа далеко не всегда возможно. Это — синкретические случаи реализации членов предложения в речи.

Второстепенные члены могут занимать в предложении как сильные, так и слабые синтаксические позиции. В сильных синтаксических позициях бывают простые, типичные элементы парадигмы того или иного второстепенного члена, в слабых — осложненные элементы парадигмы. Так, небособленные согласованные определения, представленные именами прилагательными и морфологически подобными им словами, оказываются простыми, типичными элементами парадигмы определения и занимают в предложении сильные синтаксические позиции, выражая чисто атрибутивные отношения без каких-либо функционально-синтаксических осложнений: «Сквозь *обнаженные, бурые* сучья деревьев мирно белеет *неподвижное* небо» (Тургенев, Лес и степь). Несогласованные определения, представленные управляемыми и примыкающими частями речи, обычно оказываются в предложении в слабых позициях и выражают атрибутивные отношения, осложненные функционально-синтаксическими оттенками значения (объектными и обстоятельственными). В только что приведенном предложении присубстантивная форма родительного принадлежности (*сучья деревьев*) выражает атрибутивные отношения с объектным оттенком значения, причем атрибутивные отношения оказываются здесь, несомненно, главенствующими, поскольку нарицательное имя существительное с конкретной предметной семантикой предполагает, прежде всего, атрибутивные распространители.

Обособленные второстепенные члены предложения являются осложненными элементами парадигм соответствующих членов и занимают в предложении слабые синтаксические позиции, так как обособление всегда связано с передачей добавочных оттенков значения.

Синкретические члены предложения — это в основном словоформы с двойными синтаксическими связями в предложении, о чем говорилось выше. Такие члены предложения оказываются в позиции нейтрализации, в связи с чем совмещают значения разных второстепенных членов предложения; они находятся на периферии парадигм соответствующих членов предложения и являются, так сказать, «гиперчленами».

Совершенно очевидно, что и главные члены предложения реализуются в конкретных предложениях в речи только элементами своих парадигм. Но, в отличие от второстепенных членов, главные члены всегда оказываются в предложении в сильной позиции, так что синтаксический механизм их обнаружения в текстах значительно проще механизма обнаружения второстепенных членов.

Подлежащее с точки зрения синтагматической иерархии является абсолютным определяемым в предложении. Сказуемое всегда подчиняется только подлежащему и вступает с ним в предикативные отношения. Лек-

сико-морфологические элементы парадигмы подлежащего скорее напоминают не варианты, а вариации, которые могут отличаться друг от друга стилистически, а также синтагматическими свойствами, валентностью, неодинаковой способностью подчинять себе элементы парадигм второстепенных членов. Известно, например, что подлежащее, представленное именем существительным нарицательным, обладает большими возможностями сочетаемости с атрибутивными элементами, нежели подлежащее, выраженное именем собственным или личным местоимением. Сказуемое располагает богатейшими возможностями парадигматического варьирования, но элементы парадигмы сказуемого все же никогда не нарушают его тождества как синтаксической единицы и никогда не оказываются в предложении в слабых позициях.

Следовательно, главные члены предложения противопоставляются второстепенным и позиционно: они никогда не бывают в слабых позициях, а тем более — в позициях нейтрализации. Кроме того, главные члены не бывают обособленными, не подвергаются парцелляции. Это, несомненно, связано с их особым статусом в структуре предложения.

РЕЦЕНЗИИ

«Проблемы двуязычия и многоязычия» — М., «Наука», 1972. 359 стр.

Проблематика двуязычия и языковых контактов занимает в современном языкознании все более важное место. Длительная недооценка этих явлений, свойственная вначале лингвистам младограмматического направления, а затем и ранним структуралистам, постепенно сменилась осознанием того факта, что языки неизбежно существуют не в пустоте, а в том или ином иноязычном окружении, сталкиваются и соприкасаются с другими языками, причем это соприкосновение оказывает значительное воздействие на их функционирование и развитие. Особое значение изучению данных вопросов придает их непосредственная связь с языковой политикой и языковым планированием.

Вместе с тем литература по вопросам двуязычия и языковых контактов, ставшая на протяжении XX в. и особенно за последние два десятилетия весьма обширной, отражает далеко не завершенный характер соответствующих теорий, разноречивой, все еще существующей в этой новой отрасли языкознания. Несмотря на значительный вклад, сделанный советскими исследователями в изучение рассматриваемой проблематики, ощущается настоятельная необходимость в создании работ, обобщающих опыт двуязычия и многоязычия в ареале языков народов СССР и построенных на основе марксистско-ленинской методологии.

Сказанным определяется несомненная актуальность и ценность коллективного труда «Проблемы двуязычия и многоязычия», отражающего итоги первой конференции всесоюзного значения по данным проблемам, которая была проведена Научным советом «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», Институтом языкознания АН СССР, Институтом русского языка АН СССР и Институтом языка и литературы АН Туркменской ССР в Ашхабаде в 1969 г. По широте круга поставленных вопросов, по четкости их методологического обоснования, по охвату привлеченных для анализа языков эта книга сразу же заняла особое место в научной литературе.

Материалы рецензируемой коллективной монографии, объединяющей 53 публикации 58 авторов, можно, с известной степенью условности, разделить на три цикла: наиболее общие теоретические

вопросы двуязычия, частные теоретические вопросы двуязычия и, наконец, работы, посвященные конкретному анализу языковых ситуаций и видов двуязычия в тех или иных районах Советского Союза, а отчасти и зарубежных стран.

В работах общего характера уточняется само понятие двуязычия, определяются его основные типы и аспекты, его социальное значение, устанавливаются этапы истории двуязычия, изучается соотношение языка и мышления при двуязычии, изучается сущность интерференции.

Указанные вопросы далеки от однозначного решения в мировой лингвистической литературе, поэтому включенный в монографию очерк Н. А. Катагощиной «Проблема двуязычия и многоязычия за рубежом» не только знакомит читателя с рядом работ (преимущественно англо-американских), но и позволяет полнее оценить на их фоне новые положения, содержащиеся в обсуждаемом труде. Автор выделяет три основных направления разработки проблемы двуязычия за рубежом: 1) изучение языковой ситуации в развивающихся странах; 2) постановка отдельных проблем и разработка методов изучения двуязычия; 3) исследование результатов языковых контактов, т. е. конвергенции языков.

Отмечая конструктивный характер общественно-функциональной классификации языков А. Мартине, интересной, хотя и односторонней, количественной классификации сосуществующих языков Ч. Дж. Фергюсона, доказательность утверждений Дж. Кнапперта о языковой ситуации в Уганде и др., Н. А. Катагощина в то же время справедливо указывает на тенденциозность, например, подхода Р. Ле Пажа к новым национальным языкам, на свойственную многим авторам недооценку социальной значимости двуязычия. Кроме того, обзор свидетельствует о явно недостаточной определенности ряда важнейших понятий, таких, как «язык» и «диалект», «двуязычие», «родной язык» и т. д.

Авторы коллективной монографии в понимании двуязычия исходят из того бесспорно правильного положения, сформулированного Ф. П. Филиным, что «абсолютно одинаковое владение двумя языками встречается не часто. Следовательно, при определении понятия двуязычия не следует придерживаться слишком

жестких формулировок» (стр. 25). Соответственно, двуязычие трактуется как динамическая категория, подразумевающая «знание двух языков в известных формах их существования в такой мере, чтобы выражать и излагать свои мысли в доступной для других форме...», а также умение воспринимать чужую речь, сообщения с полным пониманием (Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Основные аспекты исследования двуязычия и многоязычия, стр. 35). Подчеркивается, что при определении двуязычия следует исходить не из степени владения и, тем более, не из обязательности мышления на двух языках, а из самого факта общения носителей двух языков (К. Х. Ханазаров, Критерии двуязычия и его причины, стр. 123).

Правда, например, в статье В. А. Аврорина «Двуязычие и школа» представлена и иная точка зрения, согласно которой при двуязычии степень владения обоими языками приблизительно одинакова. Эта точка зрения квалифицируется в сборнике как лингвистическая, тогда как описанный выше подход считается социологическим. Более целесообразно в данном случае говорить о широким и узком понимании двуязычия. Приходится признать, что в случае двуязычия, как и в ряде других случаев в лингвистике, мы имеем дело с относительной по своей сути категорией, при определении которой неверно абсолютизировать какое-то одно из ее проявлений. Изучая двуязычие, как и любое относительное явление, необходимо определить его границы и выделить различные его степени, измеряя их (в тех или иных аспектах) объективными методами. В рассматриваемой книге предприняты попытки измерения эстонско-русского двуязычия (Э. Н. Пяльд и А. К. Рейцак).

Собственно многоязычие в меньшей степени, чем двуязычие, привлекло внимание авторов книги как в теоретическом, так и в практическом плане. Согласно определению В. А. Аврорина, двуязычие представляет собою разновидность многоязычия (стр. 49). Существует и противоположный подход к многоязычию как к разновидности двуязычия¹, но, впрочем, основные признаки обоих явлений в любом случае сходны, хотя у многоязычия имеется своя специфика. Иногда ее усматривают в том, что при многоязычии интерферирующее влияние на второй иностранный язык исходит не от родного, а от первого (по степени усвоенности) иностранного языка². По-видимому, вопрос еще более сложен: источники

влияния взаимодействуют, причем в случае переноса морфем и слов преобладает влияние первого иностранного языка, а в случае переноса функций преимущественно влияет родной язык полиглота³. Вместе с тем, параллелизм двуязычия и многоязычия снова свидетельствует о недопустимости абсолютизации слишком узкой их трактовки, так как при многоязычии возможность равно свободного и совершенного владения языками еще более понижается.

В литературе остается неуточненным вопрос, насколько понятие двуязычия может быть отнесено к владению разновидностями одного языка. Дело осложняется тем, что в ряде случаев существует постепенный, без отчетливых границ, переход между языками, начиная от чисто стилистических отличий до диалектных и языковых⁴. Действительно, границы этих явлений не всегда очевидны, особенно если апеллировать к прошлым состояниям языков (типа того факта, что хинди и урду ранее были стилями одного языка). Тем не менее, разграничить языки, особенно литературные, в большом числе случаев вполне возможно на основе как чисто лингвистических, так и социолингвистических критериев. В рецензируемой книге также можно встретить мнение, что владение литературной формой и диалектом одного языка является двуязычием (Л. И. Баранникова, Сущность интерференции и специфика ее проявления, стр. 95). Изучению такого русского литературно-диалектного двуязычия посвящена статья Т. С. Коготковой. Однако преобладает точка зрения, согласно которой понятие двуязычия в полном смысле этого термина относится к самостоятельным семиотическим системам, т. е. разным языкам. Необходимость разграничения языков и диалектов серьезно аргументирована в работах О. С. Ахмановой («Дихотомия „язык — диалект“ в свете проблем современного билингвизма», стр. 98—102) и Н. С. Катагощиной (стр. 69). Именно подобное двуязычие и рассматривается в подавляющем большинстве статей.

В уже упоминавшейся статье Ю. Д. Дешериева и И. Ф. Протченко дается анализ лингвистического, социологического, психологического и педагогического аспектов двуязычия. Авторы вполне обоснованно связывают лингвистический аспект билингвизма с анализом соотношения структур и структурных элементов двух языков и с языковыми контактами.

³ V. Vildomec, Multilingualism, Leyden, 1963, стр. 171.

⁴ E. Haugen, Active methods and modern aids in the teaching of foreign languages, «Papers from the X Congress of the Fédération Internationale des professeurs de langues vivantes», London, 1972.

¹ См., например: A. von Weiss, Hauptprobleme der Zweisprachigkeit, Heidelberg, 1961, стр. 19 и др.

² Л. Н. Родова, Об интерференции при изучении второго иностранного языка, сб. «Лингвистика и методика в высшей школе», IV, М., 1967, стр. 210.

Особое внимание уделено социологическому аспекту: при этом понятие двуязычия связывается с социальными функциями языков и вводятся ограничения в степени допустимой интерференции, при которой язык может выполнять те или иные функции. Говоря о месте двуязычия в жизни советского общества, авторы убедительно показывают положительную роль двуязычия как фактора развития взаимопонимания, сближения и дальнейшего расцвета советских народов.

Вопрос о типах двуязычия наиболее подробно разбирается в статье Т. А. Бертаева «Билингвизм и его равновидности в системе употребления». Автор исходит из ряда пересекающихся признаков: соприкосновения языков, степени владения вторым языком, уровня нормативности обоих языков, бытового или специального характера и, наконец, степени массовости двуязычия. Эта классификация служит еще одним доказательством относительности анализируемого явления. Кстати, исходя из классификации, можно отметить, что в монографии рассматриваются не все типы билингвизма, а преимущественно его проксимальные, активные и массовые формы, особенно распространенные в языках народов СССР.

Хотя основной пафос рецензируемой монографии состоит в изучении роли двуязычия в современности, прежде всего в советском обществе, правомерным является обращение к истории этого явления с целью выяснения специфики современного этапа. Этот малоизученный аспект билингвизма⁵ представлен в цитированной выше статье Ф. П. Филипа. Автор предложил убедительно обоснованную периодизацию двуязычия, связанную с историей общественно-экономических формаций. Тем самым становится возможным переход от абстрактной типологии двуязычия к изучению связи его реальных форм с его местом и функциями в изменяющейся общественной жизни. Работа Ф. П. Филипа доказывает несомненную зависимость от общества таких явлений, как, например, литературные языки, стили, диалекты, языковые контакты, билингвизм и мн. др., приобретающих во многом новое качество в новых социальных условиях.

По-новому поставлен вопрос о взаимоотношении категорий языка и мышления при двуязычии в одноименной статье В. З. Панфилова. Соотношение единиц

языка и единиц мышления несколько различается в разных языках. Различие структур синтаксического и логико-грамматического уровней заметнее в синтетических языках, а не в аналитических типа китайского. Неодинаково соотношение слов и понятий. Но именно в процессах интерференции при двуязычии, сближающих языки, заметна тенденция к установлению большего соответствия единиц языка и мышления. Тем самым выводы работы В. З. Панфилова принципиально опровергают релятивистские теории в языкознании. К данной работе тяготеет также заметка А. Л. Пумпянского, построенная на материале английской и русской научно-технической литературы.

Понятие интерференции рассматривается многими авторами монографии. Это естественно, если учесть важность этого понятия и в то же время недостаточную его определенность. В литературе нет единого мнения по вопросу о том, какое — положительное или отрицательное — влияние интерференции оказывает на речевую коммуникацию, каковы ее формы, в каких сферах она проявляется.

Термин «интерференция» пришел в лингвистику из разных наук и через разные языки. Основным его источником является физика, в нескольких областях которой он употребляется, начиная с середины XIX в., со значением наложения волн, ведущего к их взаимному усилению или ослаблению. В подобном значении он, вероятно, через акустику проник в языкознание, причем во французском языке он опирался и на общее значение «смешение» (как в *interférence des phénomènes différents*). Уже А. Мейе говорил о «*les interférences entre vocabulaires*»⁶; далее французская традиция распространилась, в частности, через работы А. Мартине и его ученика У. Вайнрайха. Вместе с тем, еще в XIX в. подобный термин употреблялся и в ассоциативной психологии со значением нарушения устойчивых ассоциаций, что могло относиться и к языку. Оттенки нарушения, помехи может усиливаться аналогией с английской технической, в особенности радиотерминологией. Известна также роль Пражской школы в распространении термина «интерференция»⁷.

По-видимому, в языкознании, как и в физике, интерференция может оказывать и ослабляющее, и усиливающее воздействие. В связи с этим вопросом необходимо также установить, в каких областях она способна проявляться. Авторы монографии, следуя общей традиции, от-

⁵ До настоящего времени мы располагали по этому вопросу, не считая кратких замечаний ряда авторов, только работой Г. Льюиса (G. Lewis, *Bilingualism — some aspects of its history*, в кн.: «*Bilingualism in education. Report of an International seminar*, Aberystwyth, Wales», London, 1965, стр. 64—84.

⁶ См.: A. Meillet, *Linguistique historique et linguistique générale*, 2, Paris, 1936, стр. 36—43.

⁷ См.: Б. Гавранек, К проблеме смещения языков, «*Новое в лингвистике*», VI, М., 1972, стр. 109.

носят ее то к языковой норме (М. М. Михайлов, *Двуязычие и взаимовлияние языков*, стр. 199), то к достаточно широко трактуемой структуре языка (например, Л. И. Баранникова, указ. раб., стр. 88). Но в распространенных определениях интерференции, связывающих ее с понятием нормы, норма едва ли трактуется строго терминологически. Если разграничивать в соответствии с известным членением Э. Косериу систему и норму и добавив к этому, что объективные нормативные закономерности есть не только в языке, но и в речи, то можно отнести понятие интерференции ко всем этим трем уровням.

К такому выводу в монографии приближаются Ю. Д. Дешериев и И. Ф. Протченко, а также Н. А. Баскаков, когда они называют в числе уровней, на которых — пусть в разной мере — возможны взаимовлияния языков, не только лексику, фонологию, грамматику, но и стилистику (стр. 28, 79—80). Л. И. Баранникова, впрочем, ограничивает возможность применения понятия интерференции, в частности, к лексике, так как связывает интерференцию, в отличие от заимствования, с изменением системных отношений в языке. Но такое разграничение весьма относительно, что признавал и его первый автор У. Вайпрайх. Поэтому можно согласиться с Ю. Д. Дешериевым и И. Ф. Протченко, которые отстаивают широкое понимание лингвистической интерференции (стр. 29—30).

По-видимому, еще к У. Вайпрайху восходит широко представленное в литературе, включая и рецензируемую монографию, противопоставление интерференции в языке и в речи как узуального и окказионального. Однако проблема соотношения языка и речи в данном случае более сложна. Сегодня едва ли можно согласиться с соскоровским пониманием речи как только мгновенного и индивидуального в противовес устойчивому и социальному в языке; социальное и индивидуальное, устойчивое и мгновенное диалектически сосуществуют и взаимодействуют и в самой речи. Поэтому точнее говорить об окказиональных интерференциях, затрагивающих как язык, так и объективные закономерности (норму) речи, в отличие от интерференций узуальных, ведущих к сближению систем и норм языков и норм речи.

Наконец, заметим, что при изучении интерференции внимание обычно обращается на явные ее формы, проявляющиеся во введении инноваций или в нарушениях структурных отношений. Значительно реже замечаются скрытые и косвенные проявления интерференции (нарушения традиционных вероятностно-статистических характеристик речи вплоть до полного отказа от использования некоторых элементов), хотя они могут не только сказываться на качестве речи, но

в дальнейшем и влиять на судьбу языка. В монографии также преобладают наблюдения над явными формами интерференции, хотя встречаются и замечания о косвенных ее формах: так, М. А. Габинский указывает, что в русской речи в Молдавии многие избегают употребления инфинитива, заменяя его в соответствии с общеполитической тенденцией равнозначным личным оборотом (стр. 205—206).

К более частным проблемам двуязычия, разбираемым в книге, можно отнести вопрос о взаимосвязи лексики и грамматики, о развитии семантических структур слов, об особенностях употребления терминов, собственных имен и аббревиатур при двуязычии, о влиянии билингвизма на культуру речи и др.

В основу статьи Т. П. Ломтева «Вопросы выбора глаголов при синтезировании предложения на неродном языке» положена конструктивная идея о взаимосвязи лексики и грамматики. Рассмотрев на уровне предложения валентностные и семантические связи ряда глаголов в русском, а частично и в чешском, литовском и немецком языках, Т. П. Ломтев приходит к выводу, что нередко нужно говорить не о лексической сочетаемости слов, а о законах структуры предложений и что лексическое не может быть полностью устранено из синтаксиса. Очевидно значение этих положений для двуязычия и обучения второму языку. К данной статье отчасти примыкает и конкретное исследование А. А. Давитяни, выполненное на грузинско-русском материале.

Интересный вопрос о роли двуязычия в развитии полисемии слов поднял Н. Г. Корлятух («Билингвизм и полисемантизм», стр. 125—126). То обстоятельство, что ряд звеньев в семантических структурах слов исторически отражает результаты языковых контактов, к сожалению, часто забывается семасиологами, а соответствующие исторические источники очень слабо отражаются в этимологических словарях.

А. И. Полторацкий избрал темой работы сопоставительный анализ лингвистической терминологии в английском и русском языках. Хотя сопоставительное (контрастивное) описание языков отличается от изучения двуязычия, связь обоих явлений общепризнана: сопоставление предсказывает потенциальные интерференции. Автор наметил систему соответствий терминов, разграничивая планы выражения и содержания и уделяя особое внимание интернациональным терминам. Более детальный учет отличий научных школ мог бы еще более усложнить картину соотношений терминов. Вопросу о способах передачи аббревиатур в условиях немецко-лужицкого двуязычия посвящена статья Л. И. Ройзензона и Р. И. Могилевского. Некоторые возможности переноса ономастических элементов из языка в язык рассмотрены

А. В. Суперанской. Автор останавливается на фонетико-акцентологическом освоении имен, возникновении двойной номенклатуры и др. Языковые контакты в области антропонимии описаны также на молдавско-славянском материале М. Косничану; к сожалению, здесь не показано место славянских имен в современной молдавской антропонимии.

В своей краткой заметке В. А. Ицкович и Б. С. Шварцкоф остановились на влиянии на первый язык пассивного двуязычия, при котором второй язык выступает только как средство восприятия письменной речи. Влияние, проявляющееся окказионально или узואльно в лексике, фразеологии, синтаксисе, может совпадать или не совпадать с тенденциями первого языка. Соответственно на него следует по-разному реагировать в работах по культуре речи.

Основная масса работ конкретного характера выполнена — в соответствии с главными задачами монографии — на материале языков народов СССР. Большинство авторов изучаются случаи национально-русского двуязычия, включая адыгейско-, белорусско-, бурятско-, грузинско-, калмыцко-, латышско-, литовско-, марийско-, молдавско-, нанайско-, осетинско-, таджикско-, татарско-, тофаларско-, тувинско- и туркменско-русское двуязычие. В целом эти статьи дают достаточно полную картину социальных условий, культурных и лингвистических последствий национально-русского двуязычия, правильно отражают прогрессивную роль этого вида двуязычия в советском обществе.

Здесь прежде всего выделяется ряд тщательно проведенных конкретно-социологических исследований двуязычия. Полные и хорошо обработанные данные о двуязычии и многоязычии в Латвийской ССР приводит А. И. Холмогоров (стр. 160—176). Интересны исследования, проведенные в Эстонской ССР: если Э. Пяль основывается на данных анкетного опроса билингвов, то А. К. Рейцак предлагает, кроме того, лингвистически обоснованные методы установления степени использования языков в различных коммуникативных сферах.

Собственно лингвистический аспект работ этого цикла разработан не всегда достаточно. Отличаются большей полнотой охвата фактов или свежестью приводимого фактического материала работы М. Г. Булахова об особенностях интерференции белорусского и русского языков (стр. 217—224), А. А. Дарбеевой о бурятско-русском двуязычии в условиях изолированного бурятского диалекта (стр. 191—195), А. А. Давитяни о грузинско-русской интерференции (стр. 344—356) и некот. др. В то же время многие лингвистические описания слишком кратки, их иллюстративный материал мало информативен, относится к лежащим на

поверхности фактам фонетики и лексики. В большей мере освещаются вопросы влияния русского языка, а не на русский язык. Но показательнее то, что именно авторы, изучающие русскую речь в условиях двуязычия, обращаются к более сложным для исследования вопросам синтаксиса: назовем, например, заметки А. К. Шагирова о русской речи в Кабарде, К. З. Чокаева — о русской речи в г. Грозном и т. д. Наблюдатели, интересующиеся преимущественно лексикой или даже фонетикой, приходят к тому же выводу, что и З. У. Блягоз, который констатирует, что «адыгейский язык оказывает незначительное влияние на русскую речь местного русского населения» (стр. 286). Только более широкое обращение к синтаксису и особенно — стилистике и учет скрытых и косвенных форм интерференции позволяют увидеть те местные, центробежные тенденции в функционировании русского языка, которые неизбежно сосуществуют с определяющими и основными центростремительными тенденциями, опирающимися на современную систему народного образования и массовых средств коммуникации.

При изучении национально-русского двуязычия должное внимание уделено его педагогическому аспекту. Предположение И. Эпштейна об отрицательном влиянии двуязычия на умственное развитие учащихся⁸ сегодня полностью опровергнуто. Об этом убедительно говорят факты, приводимые в монографии. В. А. Аврорин детально рассматривает вопрос о сочетании русского и местного языка в школах младописьменных малых народов Сибири. Е. Н. Ершова показывает один из путей опоры на родной язык при обучении русскому языку — использование общих для обоих языков, в частности интернациональных, элементов.

Значительный интерес представляют сравнительно менее многочисленные конкретные исследования двуязычия и многоязычия, которые построены на материале иных языков в СССР и за его пределами. Ю. С. Елисеев, опираясь на солидный статистический и социологический материал, описывает малоизвестную у нас историю возникновения финско-шведского двуязычия в Финляндии, показывает условия современного сосуществования обоих государственных языков и убедительно намечает перспективы дальнейшей финнизации страны. Оригинальный материал явно стоит также за публикациями К. М. Мусаева о развитии синтаксиса караимского языка в условиях шестивекового славянско-караимского двуязычия, И. Г. Абдуллаева о взаимовлиянии азербайджанского и иранских (курдского, талышского, татского) языков, В. Гу-

⁸ I. Epstein, La pensée et la polyglossie, Essai psychologique et didactique, Paris, 1915, стр. 86—87.

касяна об удинско-азербайджанско-руском (ранее — персидском) многоязычии в нескольких селениях Азербайджана и Грузии.

В целом книга «Проблемы двуязычия и многоязычия» представляет собой значительный шаг вперед в изучении названной проблематики. То обстоятельство, что при ее создании широко использован материал языков народов СССР и в ней

отражены достижения языкового строительства в нашей стране за пятьдесят лет, придает монографии наряду с научной ценностью несомненное общественно-политическое значение. Можно с уверенностью сказать, что выход ее будет стимулировать дальнейшее развитие исследований в этой области языкознания.

В. В. Акуленко

Chr. S. Stang. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. — Oslo — Bergen — Tromsø, Universitetsforlaget, 1972. 96 стр.

Книга норвежского языковеда профессора Хр. С. Станга в каком-то смысле является «юбилейной». Сто лет назад И. Шмидт на конгрессе филологов в Лейпциге выступил с докладом, которому потом было суждено стать одной из самых популярных книг сравнительно-исторического языкознания индоевропейских языков¹. В этой книге впервые подробно и систематически анализируются лексические соответствия германских балтийских и славянских языков и приводится 59 германо-балто-славянских слов, не отмеченных в других индоевропейских языках.

Целое столетие многие ученые изучали разные стороны отношений упомянутых языков и по отдельным вопросам часто приходили к противоречивым выводам, особенно при определении степени родства между германскими и балто-славянскими языками. Однако самый факт значительного совпадения лексики в этих языках является непреложным.

В рецензируемой книге Хр. С. Станг обобщает столетний опыт в изучении общей лексики славянских, балтийских и германских языков. По своим научным интересам и лингвистической подготовке Хр. С. Станг имеет все основания для того, чтобы взяться за эту задачу — для него и славистика, и балтистика, и германистика почти в равной мере являются «своими дисциплинами».

Написанию книги Хр. С. Станга предшествовали два издания на сходную тему, вышедшие в США и в Болгарии — Ф. Шерера² и Е. Георгиева³.

В книге Хр. С. Станга обсуждается около 300 славяно-балто-германских лексических соответствий. По степени надеж-

ности данные соответствия автор разделяет на три группы: 1) верные или почти верные (annähernd sicheren), 2) сомнительные, но нуждающиеся в обсуждении, 3) неверные, но допускающие обсуждение.

В этимологической работе такая «трехступенчатая» группировка очень себя оправдывает. Подобную группировку применял и советский лингвист В. В. Мартынов⁴.

К первой группе соответствий Хр. С. Станг относит 188 слов; из них 68 встречаются во всех трех группах языков, 66 являются только балто-германскими, а 54 — только славяно-германскими соответствиями. После рассмотрения общей славяно-балто-германской лексики в алфавитном порядке автор распределяет эту лексику по семантическим группам и пытается делать некоторые выводы более общего характера. Например, он замечает, что среди соответствий почти отсутствуют религиозные понятия, а также слова, связанные с абстрактным мышлением; не встречаются и термины родства. Слова, относящиеся к социальным явлениям, не многочисленны, но обозначают важные понятия, такие как «село», «люди», «товарищ по работе». Сравнительно много соответствий отмечено в области технической культуры; особенно многочисленны общие названия для орудий и предметов из дерева.

Автор не пытается дать подробную хронологическую классификацию совпадающей лексики и ограничивается лишь замечанием, что славяно-балто-германские соответствия не одинаковы по давности, но все относятся к той поре, когда предшественники балтийских, славянских и германских языков находились в соседстве и между ними существовали не языковые, а скорее лишь диалектные различия.

На наш взгляд, значителен вывод автора о древнепрорусско-германских лексических соответствиях. В последнее время

¹ J Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872.

² P. H. Scherer, Germanic-Balto-Slavic etyma, Baltimore, 1941.

³ Е. Георгиев, Балто-славянско-германското родство, «Известия на семинара по славянска филология при Университета в София», кн. VIII—IX, 1948.

⁴ В. В. Мартынов, Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры, Минск, 1963.

некоторые исследователи утверждают, что «большинство изоглосс связывает германские языки лишь с литовским и латышским языками, а германо-прусские исконные лексические связи ограничены несколькими примерами»⁵. Хр. С. Станг выделяет 8 надежных древнепрусско-германских соответствий, а это совсем немало, если иметь в виду общий объем сохранившейся лексики древнепрусского языка⁶. Говоря о близости древнепрусской и германской лексики, нельзя упускать из виду и тот факт, что существует ряд изоглосс, которые, при отсутствии их в литовском и латышском языках, сближают древнепрусский язык с германскими и некоторыми другими индоевропейскими языками.

Как этимологические сопоставления, так и общие выводы автор делает очень осторожно, и, по мере возможности, хорошо их мотивирует. Эта черта характерна вообще для всех работ Хр. С. Станга.

Само собой разумеется, что в этимологической работе не исключена известная доля субъективности и наличия спорных моментов. Постараемся здесь отметить такие места, хотя заранее надо признаться, что наши замечания по поводу того или другого факта также могут быть спорными.

К числу надежных соответствий, обнаруживаемых во всех трех группах языков, наряду с ст.-слав. *drogъ*, польск. *drag* «шест, жердь, рычаг», др.-исл. *drangr* «камень, торчащий из земли» (ср. стр. 19, 72), автор относит и литов. *drānga* «жердь, шест; вага; грядка (телеги)» (ср. также литов. *drāngos* «грядки; телега (или сани) для навоза; задняя часть телеги»). Однако литовское слово — технический термин, по всей вероятности, заимствовано из польского языка⁷. В других балтийских языках это слово не встречается.

Литов. *pūodas* «горшок», латыш. *puods* связывается с др.-в.-нем. *faz* «бочка, сосуд, ящик, шкаф» (ср. стр. 43—44, 73). Эта старая этимология до сих пор принималась многими исследователями, но не так давно О. Н. Трубачев, нам кажется, очень убедительно показал, что эти слова не имеют ничего общего⁸. Дело в том,

что балтийские слова как термины гончарного дела неотделимы от литов. *pādas* «под деча, топ (в гуме)», в то время как др.-в.-нем. *faz* относится к совсем другому семантическому полю.

Как надежное славяно-балто-германское соответствие в книге дается литов. *dailyti* «делать», ст.-слав. *dělъ* «часть», *děliti*, гот. *dails* «часть» (ср. стр. 17, 74, 77). Что касается этой этимологии, то интересно было бы узнать мнение автора относительно попытки прагерм. **dailo* вывести из праслав. **dělъ*⁹.

Др.-прусск. *dalbian* (*dalptan*) нельзя безоговорочно связывать как исконно родственное с русск. *долбить* и др. (ср. стр. 17), так как древнепрусское слово может быть заимствованием из древнепольского языка¹⁰.

Сопоставление др.-прусск. *nowis* «туловище, тело» с латыш. *nāve* «смерть», русск. *навъ* «мертвец» (ср. стр. 39) вызывает трудности семантического характера. Еще Я. Эндзелин возражал против тех, кто «совершенно произвольно» древнепрусскому слову придавал значение «мертвое тело»¹¹. В данном случае несущественно, что древнепрусское слово, как и соответствующие славянские слова, имеет основу на -i-: дело в том, что в Эльбингском словаре, где это слово засвидетельствовано, даже такие слова, как *dejuis* «бог» (ср. *deivas* в других источниках), *wilkis* «волк» (ср. топоним *Wilkas-kaymen*, литов. *vilkas*) передаются как слова с основой на -i-.

Наверное, есть некоторое основание латыш. *kāuns* «стыд, позор», гот. *hains* «низкий, смиренный» считать специфическим соответствием балтийских и германских языков (ср. стр. 27). И все же при сравнении данных слов не следовало оставлять без внимания существующую еще со времен А. Фика попытку связывать эти слова с греч. *καυός* (хотя и довольно неясным¹²).

При семантическом сопоставлении русск. *голый* с латыш. *gāle* «тонкая корка льда» (ср. стр. 24) можно было упомянуть и др.-русск. *голотъ* «гололедица».

Литов. *traukai* «посуда» (ср. стр. 59, 73), кроме словаря М. Межиниса, ни в каких других памятниках литовского языка не засвидетельствовано; вероятнее всего, оно является заимствованием из латышского языка.

Кстати, литов. *balgnas*, употребляемое Й. Бреткунасом (ср. стр. 14), являет-

⁵ «Сравнительная грамматика германских языков», I, М., 1962, стр. 78—79.

⁶ Ср. также: J. E n d z e l i n s, Senprūšu valoda, Rīgā, 1945, стр. 12, 14; «Filologu biedrības raksti», XI, Rīgā, 1931, стр. 190—191; Ch r. S t a n g, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, Oslo — Bergen — Tromsø, 1966, стр. 13.

⁷ P. S k a r d ž i u s, [рец. на кн.]: E. Fraenkel, Litaunisches etymologisches Wörterbuch, ZfsIph, 27, 1959, стр. 437.

⁸ О. Н. Трубачев, Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции), М., 1966, стр. 207—209.

⁹ В. В. Мартынов, указ. соч., стр. 112—116.

¹⁰ О. Н. Трубачев, указ. соч., стр. 153—154.

¹¹ J. E n d z e l i n s, Senprūšu valoda, стр. 217.

¹² Ср.: P. Ch a n t r a i n e, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, II, Paris, 1970, стр. 506.

ся заимствованием из древнепрусского языка.

Нам кажется, было бы уместно в книге остановиться и на таких лексических параллелях, как литов. *dervà* «смола», латыш. *darva* — др.-исл. *tjara*, др.-англ. *tierce*, литов. *kėrdžius* «старший пастух» — др.-в.-нем. *hirti* «пастух».

Действительно, в последнее время все больше ученых утверждает, что литов. *alūs* «пиво», латыш. *alus*, др.-прусск. *alu* являются исконно родственными с соответствующими названиями пива в славянских и германских языках. Все же не слишком ли смело относить это соответствие к изоглоссам, не вызывающим сомнений? Нам кажется, К. Буга не без основания литов. *alūs*, как и литов. *midūs*, «мед (напиток)», считал заимствованиями из германских языков¹³.

¹³ К. В ū g a, *Rinktiniai raštai*, I—III, Vilnius, 1958—1961, II, стр. 84—86, III, стр. 426—427.

М. М. Маковский. Теория лексической аттракции (Опыт функциональной типологии лексико-семантических систем). — М., «Наука», 1971. 250 стр.

Рецензируемая книга является итогом многолетней работы автора, который широко известен в специальной литературе серией работ; посвященных германской диалектологии, лексикологии, семантике, этнонимике и топонимике. На первый взгляд может показаться, что перед нами исследование по английской исторической диалектологии (такие работы появляются у нас крайне редко). Однако тематика рецензируемой книги гораздо шире — это исследование механизма структурных и функциональных соотношений между лексическими единицами и семантикой в системе языка; вместе с тем это и сравнительно-историческое исследование: обсуждение общетеоретических проблем на материале лингвистического прошлого является необходимой предпосылкой для понимания законов синхронного существования языка.

До самого последнего времени существовала традиция, согласно которой к сопоставительному сравнительно-историческому и ареально-лингвистическому анализу привлекались только элементы фонологического и морфологического уровней, имеющие вполне обозримый (количественно и качественно) характер. Элементы же лексического уровня, воспринимаемые как «открытое множество», сравнительно легко и быстро поддающиеся изменениям, не использовались в подобных исследованиях.

В заключение хотелось бы обратить внимание на недавно опубликованную интересную попытку Ю. В. Откущико-ва как «возможно, родственные» слова связывать балт. **klaibas*/**klaipas*/**kleipas* — праслав. **xlěbъ* — прагерм. **xlaibaz*¹⁴.

Когда-то Хр. С. Станг образно сравнил науку с диалогом. Новая его книга, разумеется, не поставила точку в диалоге о славяно-балто-германских лексических соответствиях. Но она очень удачно продолжила его, обогатила интересными мыслями, замечаниями и в каком-то смысле резюмировала все то, что участниками этого диалога было высказано на протяжении последнего столетия.

А. Ю. Сабалаускас

¹⁴ Ю. В. Откущиков, О древнем названии хлеба в балтийском, славянском и германском. «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 1973, 2 (307), стр. 84—89.

Преодоление такого подхода началось в XX в. с требования равноправия для лексики в лингвистическом анализе (ср. работы Р. Боненбергера, Э. Кранцмайера, Э. А. Макаева). Именно с начала XX в. лингвисты стали осознавать, что языковой статус лексики обуславливается ее соотношениями с другими уровнями языка. Однако признание того, что лексический материал может и должен представлять самостоятельный интерес, например, для сравнительно-исторических исследований, еще не означает, что атомарность в таких разысканиях была полностью преодолена: теперь разобственно рассматривались отдельные лексемы, например, в зависимости от того, в каких памятниках или в каком лингвогеографическом ареале они встречаются. Иначе говоря, ареальное и хронологическое отождествление каждой лексемы производилось независимо от других.

Еще одно препятствие, которое приходится преодолевать исследователю лексики, — это распространенное мнение о том, что лексика якобы не может быть подвергнута анализу в полном смысле слова, так как она представляет собой «неупорядоченный континуум». Внешне не связанные друг с другом проявления системности в лексике, обнаруженные рядом исследователей, не позволяли им выйти из круга привычных представлений о лингвистической системности и схем,

полученных при изучении фонологического уровня¹.

М. М. Маковский разработал и обосновал плодотворную лингвистическую концепцию — теорию лексической аттракции, вскрывающую внутреннюю природу, характер, механизм развития и синхронного существования лексико-семантической системы в различных ее аспектах. Он исходит, прежде всего, из того, что лексика всякого языка представляет собой систему; причем системные отношения в лексике имеют качественно иной характер по сравнению с системностью в фонетике и морфологии. Лексическая система построена не на оппозициях, как фонологическая и морфологическая системы, — здесь решающими являются не различные парадигматические отношения, а вхождение лексемы, с одной стороны, в определенный, структурно ограниченный лексико-семантический макронабор, а с другой — в тот или иной микроряд данного набора, т. е. место данной лексемы (центральное или периферийное положение), в том или ином лексико-семантическом макронаборе или микроряду. Лексеме, как и вообще любой языковой феномен, предлагается рассматривать не только в плане ее синхронного статуса, но главным образом с точки зрения того диахронического переплетения и взаимодействия явлений различных уровней, которое привело именно к данному синхронному языковому состоянию, с точки зрения влияния явлений одного уровня на последовательные изменения в другом.

Термин «аттракция» давно используется в лингвистике, при этом разные лингвисты употребляют его по-своему². Исходя из того, что лексическая микроструктура — это известная совокупность лексем, употребляемых в определенных значениях на том или ином этапе языкового развития (в том смысле, что элементы этих совокупностей образуют линейный ряд и системно связаны друг с другом), М. М. Маковский называет лексической аттракцией те функционально-динамиче-

ские процессы, благодаря которым отдельные элементы этих микроструктур в той или иной мере связываются друг с другом, взаимообуславливаются и на определенном отрезке времени образуют дискретные лексико-семантические наборы. При этом автор особо подчеркивает, что выделяемые им лексико-семантические наборы не имеют ничего общего с семантическим полем Й. Трира, которое «является произвольным и умозрительным построением, основанным на логических связях» (стр. 49).

Таким образом, лексический состав языка понимается как строго организованная макросистема ряда сосуществующих и пересекающихся микросистем различной протяженности, элементы которых группируются по диахронической преемственности целостного лексико-семантического континуума. Хотя лексико-семантические континуумы отличаются строгой структурной организацией, протяженность их в каждом отдельном случае не является фиксированной. Структурный момент является первичным для синхронного и диахронического существования лексических наборов, а функциональный — вторичным. Все элементы подгруппы самой мелкой лексической системы (микроряда) структурно организованы вокруг «ядерной» подгруппы, требующей для своего существования наличия всех без исключения подгрупп микроряда, элементы которых предствлены в них только в определенных значениях. Все остальные группы микроряда располагаются вокруг «ядерной» подгруппы в порядке убывающей валентности, т. е. в зависимости от количества лексических подгрупп данного ряда, необходимых для их существования в пределах данной подсистемы. Относительное равновесие и стабильность в пределах элементов лексического микроряда создается на основе своего рода ценной связи между всеми его компонентами³. Величина валентности обратно пропорциональна стабильности того или иного элемента ряда. В каждом ряду существуют элементы, обладающие нулевой валентностью; такие элементы одновременно представлены в нескольких лексических микрорядах (лексические константы). Понятие лексического ядра и вообще понятие опорности той или иной лексемы является относительным. Синхронное существование и диахроническое развитие лексических структур подчиняется строгим правилам, но протяженность структур, их количество и различная комбинация элементов внутри каждой из них — беспредельны.

³ См.: М. М. Маковский, Принцип равновесия в лексике и семантике, «Ин. яз. в шк.», 1972, 3. Эта работа является своеобразным дополнением к рецензируемой монографии автора.

¹ См., например: R. Hallig, Zum Aufbau eines Ordnungsschemas für Wortschatzdarstellungen, ZfomPh, LXX, 1954; F. Hiorth, Zur Ordnung des Wortschatzes, «Studia linguistica», Lund — Copenhague, XIV, 1960.

² Ср., например: J. Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872; H. Sperber, Einführung in die Bedeutungslehre, Bonn — Leipzig, 1923; O. Duchacek, L'attraction lexicale, «Philologia Pragensia», VII, 1, 1964; Г. С. Щур, О некоторых основных понятиях теоретического языкознания, «Уч. зап. Омск. гос. пед. ин-та», 65, 1972; его же, Теории поля в лингвистике, М. — Л., 1974.

Теория лексической аттракции исследует всевозможные структурные законы, управляющие наличием или отсутствием определенного набора слов или значений (и отдельных слов и значений) и корреляцией этих факторов диахронически и диатопически (стр. 19, 47, 51, 52, 58, 98, 104, 105, 106, 114 и др.).

Во «Введении» автор, отмечая отличие своей книги от традиционных лексико-этимологических и ареально-лингвистических исследований, подчеркивает, что его цель — на основе структурно-диахронической методики «выявить те внутренние процессы и „рычаги“ языкового механизма, которые объединяют и разъединяют отдельные слова и словарные „массивы“ в ходе истории языка, независимо от их вхождения в понятийные поля и словообразовательных сходств и различий» (стр. 9).

Отвлекаясь от разного рода лингвистических факторов, М. М. Маковский исследует чисто языковые предпосылки синхронного существования и изменения лексико-семантических систем и вскрывает «механизм тех движущих сил, которые, возникшая в глубинах языковой структуры, замедляют или, наоборот, ускоряют процессы развития той или иной языковой системы, вызывая к жизни новые, ранее не существовавшие силы воздействия на состав, семантику и позицию языковых элементов, как бы „включая“, „выключая“ и „переключая“ друг друга в зависимости от окружения в системе» (там же).

В применении к конкретному материалу перед исследователем, с точки зрения теории лексической аттракции, ставятся следующие задачи: изучить свойства и вскрыть причинную взаимообусловленность и закономерности поведения отдельных (как крупных, так и мелких) звеньев словарного состава в синхронии и диахронии; выделить и описать «сильные» звенья и позиции тех или иных компонентов лексики, которые могут оказывать определенное воздействие на те или иные признаки и позиции «слабых» лексем в данном лексико-семантическом ряду или удерживать их в этих позициях и с этими признаками. Без такого теоретического осмысления сущности, свойств и взаимоотношения лексических и семантических инвариантов и вариантов вряд ли можно делать какие-либо объективные выводы.

Уже сама композиция рецензируемой книги свидетельствует о ее методологической целостности. В гл. I обсуждаются общие свойства лексико-семантических систем. Выясняется языковой статус лексики в структуре языка, наличие и сущность соотношений и связей между отдельными лексическими элементами, возможности и закономерности их синхрон-

ного существования и диахронического изменения. Особенно пристально рассматриваются условия, приводящие к тому, что различные элементы лексики структурно, или «топологически», изменяются.

В главе обсуждаются также возможности определить и предсказать характеристики одной лексико-семантической подсистемы на основе закономерностей, свойственных другой подсистеме того же языка, реакции лексико-семантических систем на разного рода изменения, на внутренние и внешние импульсы, в связи с чем рассматриваются такие явления, как подвижные формативы, валентность лексико-семантических единиц (это понятие у автора никак не перекликается с традиционной синтаксической валентностью, например, у Хельбига), лексико-семантическая изотопия и варьирование и др.

В результате анализа ряда микроструктур автор приходит к важным выводам о сущности и свойствах лексического состава языка как ряда «связанных друг с другом лексических микроструктур, каждая из которых является конечной по своему составу для данного этапа языкового развития» (стр. 42).

Интересно, что одну из важнейших задач лексикографии автор видит в исследовании конкретного состава наиболее типичных лексических микроструктур различных языков в синхронии и диахронии, а также в составлении соответствующих таблиц. Это даст практическую возможность установить функциональную зависимость между отдельной изолированной лексемой и ее принадлежностью к определенной микроструктуре (нескольким микроструктурам) или невозможностью существования ее в том или ином окружении. Такие данные необходимы для этимологии, диалектологии, истории языка. Таблицы указанного типа дадут также возможность провести сравнительную характеристику манифестаций (или отсутствия) того или иного слова в различных хронологических, ареальных и социально-стилистических вариантах в пределах распространения изучаемых родственных языков и выявить свойства и закономерности, характерные для каждого из этих вариантов. Наконец, станет возможным — а это особенно важно для анализа древних этапов развития языка — определить наличие в тех или иных микроструктурах лексических звеньев, не засвидетельствованных письменностью. Таким образом, в гл. I также показан диапазон и возможности применения предложенных методик в этимологическом и типологическом исследованиях.

В гл. II «Теория лексической аттракции и этимология» устанавливается генетическое тождество или различие (т. е. соответственно идентификация или неидентификация) слов, которые в преде-

лах близко- и неблизкородственных языков внешне выступают (синхронно и/или диахронически) как фонетически и семантически сходные. Это является необходимым условием для решения ряда центральных лингвистических проблем (ареальный, топонимический и сравнительно-исторический анализ, выделение реликтов и инноваций и др.). На материале ряда индоевропейских и восточных языков — всего в работе используется более 110 языков — проблема идентификации лексики рассматривается структурно. Обращение к теории лексической аттракции способствует решению целого ряда этимологических проблем, ибо «синхронный облик слова, его наличие или отсутствие на определенном этапе развития языка отражают весь исторический ход его развития в одном и том же или в различных лексических окружениях» (стр. 48—49). В гл. II дается ряд взаимообусловленных и взаимосвязанных правил идентификации слов при сопоставительном анализе (например, в связи с положением автора о том, что лексико-семантические константы не могут идентифицироваться между собой, др.-англ. *gefynde* — лат. *sarax* нельзя связывать с нем. *finden* или с гот. *fijan*, нем. *Feind*, как это обычно делается, а следует сопоставить только с дат. *fyndig* «powerful», совр. англ. диалектн. *findy* «firm, solid» — стр. 56), а приложением к ней служит список англо-германо-норских этимологических параллелей (стр. 61—92). Исследуя обширный и свежий фактический материал английских и немецких диалектов, ранее не приводившийся в специальных исследованиях, автор убедительно доказывает важное для германистики и общего языковедения положение о связи северной древнеанглийской (англской) лексико-семантической системы с лексико-семантической системой современного швейцарского диалекта немецкого языка, т. е. возможность соотношения определенных лексико-семантических «массивов», не только различных территориально, но и не сходных по своему временному статусу (в том числе и этимологически разошедшихся). Приводимый автором диалектный материал не только дает возможность корректировать (или отвергнуть) ряд традиционных этимологий многих германских и индоевропейских лексем, но и этимологизировать слова с ранее неясными семасиологическими связями.

В гл. III «Теория лексической аттракции и типология лексико-семантических систем» рассматриваются некоторые аспекты одного из важнейших процессов существования и развития языка, а именно процесса экстраполяции на лексико-семантическом уровне. При этом исследовались три плана экстраполяции: 1) между отрезками нескольких сосу-

ществующих лексико-семантических континуумов, реакции между которыми дает изоморфные единицы, хотя до отображения рассматриваемые единицы не были изоморфными; 2) между отрезками одного и того же лексико-семантического ряда, реакции между которыми являются основной предпосылкой возможности межсистемных отражений, и, наконец, 3) между одинаково структурированными (изоморфными) и различно структурированными (алломорфными) континуумами» (стр. 120). Учет закономерностей экстраполяции дает возможность по-новому подойти к проблеме лингвистического времени. В этой связи важно вводимое автором понятие коэффициента лингвистического времени, на основе которого он строит ряд правил, вскрывающих различные проявления фактора лингвистического времени на эволюцию языка (стр. 121 и сл.). Автор подчеркивает, что не всякое явление синхронии представляет собой отражение диахронических процессов и не всякое явление диахронии обязательно отражается в синхронии.

Значительной теоретически и полезной практически является гл. IV, посвященная проблеме механизма заимствования в свете теории лексической аттракции. Требование этой теории учитывать, что внешние и внутренние факторы языковой системы могут взаимообуславливаться и перекрещиваться, тем более относится к рассматриваемой проблеме, что лингвистическая природа заимствований, условия вхождения и выхода слов и значений в различных языках, методы установления заимствованного или исконного характера слов в том или ином языке мало изучены⁴. До сих пор нет даже единого определения заимствований.

Изучая языки различного строя, М. М. Маковский вскрыл ряд общих структурных закономерностей контактирования языков на лексико-семантическом уровне и определил теоретические предпосылки системного анализа заимствований. К гл. IV приложен краткий словарь «ложных друзей переводчика». Обычно такие словари являются двуязычными⁵. Это не дает возможности для широких сопоставлений семьи языков или внутри определенного ареала. В предлагаемом автором словаре за исходные берутся слова современного

⁴ См.: L. D e t o u, L'emprunt linguistique, Paris, 1956; E. H a u g e n, The analysis of linguistic borrowing, «Language», 26, 2, 1950.

⁵ Ср.: В. А к у л е н к о и др., Словарь „ложных друзей переводчика“, М., 1969; M. R e i n h e i m e r, Les faux amis du vocabulaire allemand-français, Lausanne, 1952; L. D u p o n t, Les faux amis espagnols, Genève — Paris, 1961.

русского языка и на основе синхронно-сопоставительного рассмотрения лексем русского, английского, французского и немецкого языков составляется своеобразная таблица, позволяющая установить семантические, грамматические и стилистические особенности соответствующих иностранных слов по сравнению с русскими (приводимые автором английские примеры не совпадают с теми, которые даются в словаре Акуленко). Например: русск. *паркет*, но франц. *parquet* «прокуратура; собрание биржевых маклеров», англ. (амер.) *parquet* «передние ряды партера», нем. *Parkett* «партер»; русск. *док*, но англ. *dock* «щавель; скамья подсудимых»; русск. *болт*, но англ. *bolt* «стрела; сито; вязанка хвороста», русск. *фреза*, но франц. *fraise* «клубника; фреза» и др. Среди неточностей в словаре следует отметить, например, что на стр. 162 франц. *tulle* приводится в значениях, которые в действительности свойственны слову *tuile*.

Нельзя не обратить внимание на вдумчивый подход автора к отбору словника — в свете теории регионализмов, излагаемой во втором приложении к гл. IV, в словарь в первую очередь были включены сходные по своему фонологическому и семантическому составу лексемы, распространенные на более или менее широкой территории независимо от изначальной принадлежности к единому корню. Словарь, состоящий из 177 словарных статей, — одно из бесспорных достоинств книги.

Собственно диалектологическим проблемам посвящена гл. V «Теория лексической аттракции и лингвогеография». Возможности применения методики исследования древних диалектов (в частности — проблемы определения диалектной принадлежности лексических элементов в древних письменных памятниках) показаны на конкретном материале древнеанглийских диалектов, изучаемых на фоне гипотетической лексико-семантической системы общегерманской лексики (см. приложение «Англо-германские лексико-семантические параллели в свете лингвогеографии», стр. 195—232). Работа заканчивается списком использованной литературы (стр. 233—241), который включает 252 названия, не считая списка источников (стр. 242—246).

В работе, посвященной лексико-семантическому анализу, естественно, не может не быть спорных или, по край-

ней [мере, дискуссионных моментов. Основным недостатком рецензируемой книги является то, что в ряде случаев теоретические положения, высказываемые автором, даются в виде своего рода аксиом, не сопровождаемых доказательными и не иллюстрируемыми фактами языка (см., например, стр. 121). Правда, во многих случаях эти положения можно вывести из материала, приводимого в приложениях, но это потребовало бы дополнительного исследования со стороны читателя. Нельзя, однако, в этой связи забывать слова Ф. де Соссюра о том, что «странным и поразительным свойством языка является то, что в нем не даны различимые на первый взгляд сущности (факты), в наличии которых между тем усомниться нельзя, так как именно их взаимодействие образует язык. В этом и лежит та черта, которая отличает язык от всех прочих семиологических систем»⁶.

Не все из приводимых в приложениях лексем можно с полным правом отнести к англо-германским соответствиям: в ряде случаев перед нами, очевидно, просто общегерманские лексемы (например, *fahs, bel, bidan, bremman*).

Количество опечаток (особенно в иностранном тексте) далеко не исчерпывается списком, приложенным к книге.

Главным достоинством рецензируемой монографии, содержащей много полезных сведений как о древних, так и о современных языках, является ее теоретическая основа, дающая возможность построить систему методик, охватывающих различные аспекты семасиологического и лексикологического исследований. Автор указывает на произвольность и несостоятельность таких «модных» теорий, как анализ по семантическому полю и компонентный анализ. В связи с этим следует подчеркнуть, что излагаемая автором теория не является в а р и а н т о м указанных концепций, как это часто случается, а носит с а м о с т о я т е л ь н ы й характер. Теория лексической аттракции позволяет преодолеть традиционный атомизм в семасиологии и лексикологии и дает возможность изучать закономерности и взаимодействия языковых континуумов, не навязывая языку чуждых ему категорий.

Э. М. Медникова

⁶ Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 108—109.

*E. F. K. Koerner, Bibliographia Saussureana 1870 — 1970. An annotated, classified bibliography on the background, development and actual relevance of Ferdinand de Saussure's general theory of language. — New York, The Scarecrow Press, 1972. 406 стр.; ego же. Contribution au débat post-saussurien sur le signe linguistique. Introduction générale et bibliographie annotée. — The Hague-Paris, Mouton, 1972. 103 стр. **

Обе аннотированные библиографии Э. Кёрнера дополняют одна другую и их целесообразно рассмотреть вместе.

Тематика рецензируемых книг весьма интересна, так как, во-первых, развитие структурализма, непосредственно связанного с соссюрской доктриной, привело к появлению огромной литературы, которая до настоящего времени не была сведена воедино, а, во-вторых, после опубликования в 1957 г. книги Р. Годеля «Рукописные источники „Курса общей лингвистики“ Ф. де Соссюра»¹ чрезвычайно повысился интерес к оценке теории Соссюра, чему способствовало сводное издание Р. Энглером всех текстов записей соссюрских лекций, сопоставленное с каноническим изданием «Курса...»².

Библиографии Кёрнера выходят за рамки справочных ретроспективных изданий, так как все их разделы снабжены вводными заметками, в которых даны оценки соответствующих работ и их соотношение, сведения о степени разработанности проблем и их истоках, а также выражены взгляды составителя, что сближает эти книги с историографией науки о языке.

Книги Кёрнера выгодно характеризуются тем, что он стремился к объективному охвату литературы, и, в отличие от библиографических списков в некоторых сборниках³, постарался широко представить литературу, вышедшую в СССР, описав ее очень тщательно вплоть до полного имени и отчества авторов⁴, что не делается даже в наших справочниках. Следует также отметить скрупулезно сделанные библиографические описания и аннотирование.

В целом следует считать выход обеих книг Кёрнера важным событием в истории языкознания, так как до настоящего времени еще не публиковались моногра-

фические библиографии, посвященные одному ученому.

«Библиография-соссюрлана», насчитывающая более 2500 названий, состоит из трех частей, которым предпосланы небольшое предисловие (стр. VII—X) и три списка сокращений, принятых в книге (стр. XI—XIII), а в конце дан алфавитный индекс авторов (стр. 395—406).

Первая часть (стр. 45—214, 1254 названия) наиболее интересна, и на ней мы остановимся подробнее. В ней даны: 1) описание биографических источников, 2) список трудов Соссюра и их переводов, 3) списки рецензий на «Курс...», на издания Р. Энглера и работы, специально посвященные анализу теории Соссюра, и 4) труды, в которых рассматриваются принципиальные пункты его теории: синхрония и диахрония, язык и речь, теория лингвистического знака — билатеральность, произвольность, понятие ценности (значимости), семантика и семиотика, язык как система отношений, система и структура, соотношение формы и субстанции и другие понятия.

Первые три главы первой части — это *подлинная соссюрлана*. В первой главе Кёрнер собрал все имеющиеся источники (44 названия), по которым можно восстановить биографию Соссюра, хотя и сейчас не все факты ее ясны⁵.

Во второй главе дан список прижизненных публикаций (62 названия) трудов Соссюра, который дополнен посмертными публикациями «Курса общей лингвистики» Ш. Балли и А. Сешез (1916—1922 гг.) и Р. Энглера (1967—1968 гг.), а также недавно обнаруженных материалами: записями курсов лекций, заметками, письмами и т. п. (21 название). Кроме того, Кёрнер приводит список переводов «Курса...» на разные языки и многочисленных отрывков из него, помещенных в различных сборниках и хрестоматиях.

В третьей главе сначала представлены два списка, содержащие рецензии и общие обзоры трудов Соссюра по сравнительно-историческому языкознанию (14 названий) и «Курса...» (70 названий). За пределами этих списков остались, однако, следующие издания: V. Vinjia «F. de Saussure: Kurs opče linguistike i sociološka škola» («Suvremena linguistika», 2,

* В дальнейшем соответственно — BS и С.

¹ R. Godel, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure, Genève — Paris, 1957 (см. рец. Н. А. Слюсаревой, ВЯ, 1960, 2).

² F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Edition critique par R. Engler, Wiesbaden, fasc. 1, 1967; fasc. 2—3, 1968 (см. обзор Н. А. Слюсаревой, ФН, 1972, 4).

³ См. например.: сб. «New horizons in linguistics», ed. by J. Lyons, London, 1971.

⁴ К сожалению, в транскрипции русских слов и имен есть много опечаток, а иногда и ошибок.

⁵ Наиболее полная биография Соссюра составлена Т. де Мауро в его заметках к итальянскому изданию «Курса общей лингвистики» — 1967 (см. французский перевод в кн.: F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1972, стр. 319—358).

Zagreb, 1966); Е. Е. Kaelin «F. de Saussure's general linguistics» («An existentialist aesthetic», Madison, 1962); Г. О. Винокур «Культура языка» (М., 1925), Р. О. Шор «Комментарии к русскому изданию «Курса...» (М., 1933); С. Д. Кацнельсон «Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра» (сб. «Вопросы общего языкознания», Л., 1967); З. А. Толмачева «Ф. де Соссюр. Истоки и следствия его лингвистической теории» (Рига, 1967); А. А. Ветров «Краткий анализ взглядов Ф. де Соссюра на язык» (в кн. «Семиотика и ее основные проблемы», М., 1968, стр. 123—127; эта книга включена в другой список Кёрнера, но этот раздел целесообразно было упомянуть и здесь). Сюда же должны были быть включены № 259, 260, 272, 288. Кёрнер верно замечает, что почти все крупные лингвисты — современники Соссюра (Граммон, Есперсен, Мейе, Шухардт) откликнулись на выход в свет «Курса...», однако их отзывы «были не столь благожелательны, как можно было бы предполагать» (BS, 69) и лишь в рецензии Блумфилда (1924) идеи Соссюра были поняты и оценены по достоинству.

Далее, третья глава посвящена общим и специальным работам, в которых затрагивались идеи Соссюра (92 названия). Это собрание является весьма пестрым: с одной стороны, в него включены труды, действительно посвященные анализу развития сосюрской теории, как, например, № 246 — Э. Бенвенист «Соссюр через полвека»⁶ и № 251 — Э. Бюиссанс «Зарождение идей синхронической лингвистики у Соссюра»⁷ и т. п., а, с другой стороны, в него попали такие статьи, как № 240 «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке» В. И. Абаева, лишь косвенно затрагивающие идеи Соссюра (также № 245, 258, 286, 292, 294, 309), поскольку в них рассматривается общее положение лингвистики, или статьи слишком узкого содержания, в которых идеи Соссюра служат общим фоном решения проблем (№ 291, 296). Думается, что два последние типа статей целесообразно было включать в эту книгу, так как это уводит далеко за пределы сосюрологии. Последний список этой главы — рецензии на издания Р. Энглера (20 названий) лучше было объединить с рецензиями на основное издание «Курса...».

Заключительная глава первой части, самая емкая (921 название), содержит библиографию работ, посвященных основным принципам сосюрской теории. Она начинается с раздела, в котором собраны работы, рассматривающие дихото-

мию «синхрония — диахрония» (144 названия), поскольку, по мнению Кёрнера, это разграничение было противопоставлено младограмматической доктрине и «...без сомнения, явилось тем принципом, который в наибольшей степени обусловил развитие структурной лингвистики» (BS, 92). Кёрнер замечает, однако, что это разграничение «висело в воздухе» на рубеже веков, так как оно намечено еще Г. Паулем, выделявшим науки исторические и описательные, а также явно выражено В. Эттмайером в 1910 г. (№ 367) и В. Матезиусом в 1911 г. (№ 424).

Следует заметить, что истоки сосюрского разграничения синхронии и диахронии несомненно связаны с трудами Бодуэна де Куртене⁸, имя которого следовало упомянуть во введении к данному разделу, а не в одной из аннотаций (№ 412). Что же касается философских работ, оказавших влияние на концепцию Соссюра, то, по-видимому, уместно было также указать в этой связи на выделение социальной статистики и динамики у О. Конта.

В список первого раздела в основном вошли труды, непосредственно отражающие дискуссии по данной проблеме, типа статей Е. С. Кудряковой (№ 405), Б. Мальмберга (№ 418). Однако довольно большое количество работ попало в этот список лишь только на основе использования в заглавиях терминов Соссюра, но по своему содержанию в большей мере относящихся не к его теории, например, № 352 и 475, поскольку в них мы сталкиваемся с развитием идей Хомского, а не Соссюра; лишь косвенно соотносимы с теорией Соссюра и работы по диахронической фонологии (№ 351, 360, 369, 380, 381, 389, 390, 392, 400, 417 449, 459—461, 474), по частным проблемам истории и теории отдельных языков, включая и № 421 — книгу Г. Марчанда «Категории и типы словообразования в современном английском языке. Синхронно-диахронный подход» (также № 395, 397, 410, 415, 425, 426, 429, 431, 450, 469, 470).

Во втором разделе собраны работы (113 названий), посвященные разграничению понятий языка, речи и речевой деятельности (langue — parole — langage). В вводных замечаниях Кёрнер верно указывает, что большинство ученых занималось соотношением двух первых компо-

⁶ E. Benveniste, Saussure après un demi-siècle, CFS, 20, 1963.

⁷ E. Buysens, Origine de la linguistique synchronique de Saussure CFS, 18, 1961.

⁸ Эта связь неоднократно отмечалась С. И. Бернштейном, Г. О. Винокуром, Л. В. Щербой, В. В. Виноградовым, А. А. Леонтьевым, Ф. М. Березиным, Н. А. Слюсаревой и др. В личной библиотеке Соссюра были дарственные экземпляры программ Бодуэна и других его работ (см.: D. G a m b a r a, La bibliothèque de F. de Saussure, «Genava», XX, Cenève, 1972, стр. 328).

нентов, сведя трихотомию к дихотомии (Балли, Дорешевский, Фрей, Гардинер, Горалек, Ельмслев и др.), тогда как другие, приняв трихотомию, отказались от *langage* в соссюрском смысле и заменили его понятием нормы (Косериу, Кстану и др.). Кёрнер прав и в том, что Соссюр, хотя и не развернул лингвистическую речь, «... в завуалированном виде обратился к ней в своей трактовке синтагматики, речевой цепи, линейности означающего и других понятий» (BS, 111). Далее Кёрнер отмечает, что лингвисты-теоретики больше занимались языком, а лингвисты-практики больше занимались речью, что, наконец, привело к противопоставлению компетенции и исполнения (*competence/performance*) у Хомского. Что же касается становления этой теории у Соссюра, то Кёрнер полагает, что трихотомия предвосхищена у Г. Габеленца, хотя многие связывают соссюрскую дихотомию с разграничением *ergon/energeia* у В. Гумбольдта.

Список работ данного раздела, так же как и предыдущий, включает известные работы Балли, Бюиссанса, Дорешевского, Гардинера, Косериу и других, но наряду с ними и труды, лишь по названию соотносимые с теорией Соссюра и посвященные либо частным исследованиям (№ 506а, 517, 549, 558а, 578, 587а), либо критике и рецензированию таких работ, как «Внутренняя форма немецкого языка» Г. Глинца (№ 483), «Три соссюрские лингвистики» А. Сешё (№ 554), обсуждению теории А. Гардинера (№ 551) и т. п. Неправильный перевод названия статьи А. И. Смирницкого «К вопросу о слове. Проблема тождества слова»⁹ привел к включению сюда этой работы, что тоже неверно.

Самым большим разделом этой главы является теория лингвистического знака, в который включены труды по семантике и семиотике—415 названий, что на 164 названия меньше, чем во второй рецензируемой книге, специально посвященной данной теме.

Книга «Вклад в послесоссюрскую дискуссию о лингвистическом знаке» начинается с небольшого предисловия (стр. 9—10), в котором отмечено, что через 20 лет после работы Г. Спанг-Ханссена¹⁰ ощущается необходимость обзорной работы и по возможности полной библиографии по теории лингвистического знака. Затем следует теоретическая часть — «Введение в библиографию» (стр. 11—31), в которой рассматривается становление теории знака в концепции Соссюра, а также все дискуссии соссю-

ровских положений о двойственном характере знака и его произвольности, которые имели место с 1916 по 1957 гг. Особо выделено обсуждение теории знака после 1957 г., а также добавлены заметки по другим близким проблемам. После небольшого списка сокращений (стр. 32—34) приведен основной библиографический список (стр. 35—94; 525 названий) и дополнительный список публикаций за 1969—1971 гг. (стр. 95—103; 54 названия).

Содержание большого теоретического «Введения» в книге «Вклад...» в сильно сокращенном виде представлено и в «Соссюриане» (BS, 127—129). Кёрнер прав, что из всех положений соссюрской теории проблема лингвистического знака обсуждалась больше всего (BS, 127; С, 11), однако следует подчеркнуть, что причиной этого является интерес к ней не только языковедов, но и философов, и логиков, и психологов, идеи которых не зависели от теории Соссюра. Кёрнер не включил на этом основании известных трудов Карнапа, Рассела, Морриса, Фреге, но в его список попали работы Котарбинской (№ 799), Шаффа (№ 905—910), Резникова (№ 894—896), Ветрова (С, 90) и других философов (№ 593, 758, 823, 865, 881, 914, 948, 1003), которые уместны в книге «Вклад...», но излишни в «Соссюриане», где важнее было сосредоточить внимание на непосредственном развитии идей Соссюра. В обзоре дискуссий о лингвистическом знаке после 1957 г. Кёрнер называет симпозиум по семиотике в Варшаве в 1965 г. (С, 23—25), который лишь очень относительно связан с соссюрской линией, и ничего не говорит о дискуссии о лингвистическом знаке на страницах «Вопросов философии» в 1959—1960 гг., хотя приводит одну из работ, опубликованных там (С, 91). Из философских трудов в список «Вклада...» надо было ввести и работы М. Мерло-Понти, упомянутые во «Введении...» (С, 24), поскольку они созданы под влиянием идей Соссюра.

Во «Введении» Кёрнер пишет, что при исследовании вопроса о становлении теории лингвистического знака в концепции Соссюра надо обращать внимание прежде всего на лингвистов, а не на специалистов в других областях (С, 19) и называет в качестве непосредственного вдохновителя имя американского ученого У. Д. Уитнея (С, 13—16).

Главными чертами концепции Соссюра Кёрнер считает: 1) то, что языковой знак объединяет понятие и акустический образ, и 2) то, что связь между ними произвольна (BS, 127; С, 20—21). Следует, однако, возразить, отметив, что, во-первых, эти положения были известны еще в дососсюрской философии, и в этом плане автор «Курса общей лингвистики» означает введением данных положений в языкознание; во-вторых, главным в его

⁹ Вместо «On the question of parole. The problem of equivalence of speech» — следовало перевести: «On the question of word. The problem of word identity».

¹⁰ См.: Н. S p a n g - H a n s s e n, Recent theories on the nature of language sign, Copenhagen, 1954.

концепции является открытие ценности (valeur) языковых единиц, т. е. обнаружение реляционных свойств у них.

Наибольшую трудность для составителя подобной библиографии представляет собой не столько ограничение философских и прочих работ от лингвистических, сколько отбор в пределах последних. На том основании, что Соссюр рассматривал именно слово как лингвистический знак (С, 27—28), Кёрнер включил в данный список труды по теории слова Бирвиша (№ 635), Болинджера (№ 638а), Хегера (№ 739), Смирницкого (№ 925—926), Уфимцевой (№ 958а), В. В. Виноградова (№ 979— «О типах лексических значений слова»), Ульмана (№ 958—964), Звегинцева (№ 1004—1006) и др. Однако, если брать только эту теорию, то, во-первых, этот список является недостаточно полным: в нем отсутствуют известные работы Р. А. Будагова (названо лишь резюме доклада к X конгрессу лингвистов — С, 42), С. Д. Кацнельсона, И. В. Арнольд, О. С. Ахмановой и многих других, а, во-вторых, весьма произвольно составленным, поскольку исходит из презумпции, что любое учение о слове есть развитие соссюровской теории лингвистического знака, что не соответствует действительности; как в нашей отечественной научной традиции, так и во Франции и Германии теория слова складывалась и развивалась самостоятельно. То же самое можно сказать и о работах по теории морфемы или фонемы.

Думается, что, как и в предыдущих разделах «Соссюрианых», излишними являются рецензии и критические статьи по поводу работ Ульмана, Дамуретта и Пишона, Бюисанса, Ельмслева и др. (№ 670, 671, 692, 694, 703, 720, 777 и т. п.), хотя во «Вкладе...» они вполне уместны.

Особо следует возразить против включения в этот раздел трудов по теории валентности Г. Хельбига и др. (№ 743—747). Эта теория, за последние годы привлекающая все большее и большее внимание, весьма далеко отошла от концепции Соссюра, и лишь с очень большой натяжкой ее можно сопоставить с развитием идей синтагматических отношений. Эти работы надо было поместить в другой раздел, где названы труды Л. Теньера, и добавив работы С. Д. Кацнельсона и др. Теорию валентности (valency, valence) нельзя смешивать, по нашему мнению, с теорией ценности (значимости = valeur).

Кроме этого, в список данного раздела попали и узкоспециальные работы (№ 605, 662—664, 721, 759, 776, 778, 782—783, 870, 873, 988) и работы по истории проблемы (№ 645—646, 922), последние лучше было бы включить во вторую часть.

В целом, по нашему мнению, список «Вклада...», надо было представить в

ином виде по сравнению с «Соссюрианой», выделить работы по философии, семиотике и психологии, а в пределах лингвистических работ отделить общие работы по теории знака от работ по теории синтагмы, слова, морфемы, фонемы, а также по лингвистической семантике, тогда рецензируемая книга приобрела бы большую самостоятельность и больший вес.

Возвращаясь к «Соссюриане», обратимся к следующему разделу четвертой главы: «Язык как система отношений (синтагматических и ассоциативных) и противопоставление системы и структуры в языке», — включающему 131 название. Во вступительных замечаниях (BS, 180—181) Кёрнер пишет, что после теории лингвистического знака теория системы является наиболее важным аспектом доктрины Соссюра, который он противопоставил атомизму младограмматиков. Затем Кёрнер останавливается на современных трактовках терминов «структура» и «система», указав, что в свою библиографию он, естественно, не включил все то, что написано по структурной лингвистике, так как это — особая тема.

Список данного раздела достаточно полон: в него вошли известные работы Н. Д. Арутюновой и Г. А. Климова (№ 1011), сборник под ред. Р. Бастида (№ 1015), Э. Бенвениста (№ 1018), В. Брэндаля (№ 1021—1024), Р. А. Будагова (№ 1025), Э. Косерчу (№ 1031) А. Мартине (№ 1075) и др. Целый ряд работ включен лишь на том основании, что в них обсуждается теория синтагмы, в связи с чем удивляет включение слишком большого, по сравнению с другими учеными, числа работ Ф. Микуша (№ 1080—1094) и всех, кто вел с ним полемику. Неправоммерно и включение статьи В. В. Виноградова (№ 1135), так как в ней развивается линия Л. В. Щербы, который использует термин «синтагма» в ином плане, чем Соссюр. Противоположны соссюровским идеям и работы М. Коэна (№ 1030), на что следовало обратить внимание в аннотации, а таковая не дана.

Два последних раздела данной главы посвящены отношению формы и субстанции в лингвистике (44 названия) и теории оппозиций (69 названий). Думается, что выделение этих разделов было излишним. Весь материал первого с успехом мог быть включен в теорию лингвистического знака, поскольку многие работы и тем более все труды Л. Ельмслева (№ 1160—1162а) трактуют проблему содержания и выражения, которая соотносима с учением о двух сторонах знака и его семантике (например, № 1141, 1142, 1153 и др.), а материал второго раздела следовало включить туда, где трактовалась теория отношений, так как ученые об оппозициях и есть не что иное, как ее развитие.

Вторую часть своей книги (стр. 215—352; 1062 названия), состоящую из трех

глав, Кёрнер отвел работам, которые он трактует как фон и истоки концепции Соссюра, ограничив их знаменательными для истории языкознания датами: 1816—1916 гг. Эта часть, как говорит сам автор, «является первой попыткой подойти к более общей эпистемологии той интеллектуальной сферы, во временных границах которой развивались идеи Соссюра» (BS, VII).

Две первые главы отведены лингвистическим трудам, а третья — философии, психологии, социологии и различным отраслям естественных наук. Первая глава охватывает лингвистические работы до 1870 г. (161 название) и включает главным образом известные произведения по различным аспектам науки о языке, включая индоевропеистику (К. Беккер, Бенфей, Бопп, Grimm, Хейзе, Гумбольдт, М. Мюллер, Пикте, Раск и т. д.) и другие языки (Бётлинг, Кастрен и др.), но нет ни одной работы русских языковедов (Востокова, Буслаева и др.) в этом списке, по сравнению с предыдущей частью.

Вторая глава состоит из двух разделов: а) работы противников младограмматического направления и независимых лингвистов (639 названий) и б) работы младограмматиков и их адептов (91 название), кстати, непонятна такая последовательность, а не обратная. Эти два раздела сами по себе представляют значительный интерес: несмотря на то, что за последнее десятилетие не раз говорилось о кризисе младограмматиков и преодолении его в XX в., в сущности, еще не появились достаточно глубокие работы, посвященные анализу этого направления. В этом плане списки Кёрнера являются весьма ценным пособием. В вводных замечаниях Кёрнер отмечает, что нет даже единого мнения, кого следует причислять к «лейпцигской школе», поскольку последующие поколения восприняли ее принципы в достаточно вольной интерпретации (BS, 314), и что возражения против младограмматической доктрины шли как от лингвистов предыдущего поколения (Асколи, Курциуса, Фика, Потта, Уитнея), так и от современников (Коллিতца, И. Шмидта, Шухардта). Кёрнер выступает против мнения, что Бодуэн де Куртене и Крушевский не разделяли основные понятия младограмматике (BS, 242), но он сам включил их труды в первый раздел, причислив этих ученых, по-видимому, к независимым лингвистам (№ 1455—1483 и 1741—1748).

В отличие от первой части, куда внесено довольно много работ советских языковедов, в этой части наша отечественная лингвистика представлена чрезвычайно скудно: нет имен ни А. А. Потемки, ни А. А. Шахматова, ни М. М. Покровского, ни раннего Л. В. Щербы. Ф. Ф. Фортунатов представлен всего двумя работами на немецком языке (№ 1622—1623),

В. А. Богородицкий — одной (№ 1509), В. К. Поржезинский — одной (№ 1872).

Во вступительных заметках к третьей главе сказано, что данные списки являются весьма приблизительными. Поскольку известно, что Соссюр хорошо знал не только лингвистику, но и главные направления в других областях научной мысли своего времени, Кёрнеру хотелось обрисовать и их. Кроме того, и это важно подчеркнуть, Кёрнер стремился показать, что «лингвистика вообще отражает интеллектуальные направления своей эпохи» (BS, 327). В списках Кёрнера (по всем разделам — 167 названий) мы находим известные труды Конта, Дюркгейма, Буля, Гегеля, Спенсера и др. Среди этих имен нет, однако, ни А. Бергсона, ни К. Маркса.

В общем, вторая часть книги представляется излишней в «Соссюриане», хотя лингвистические ее разделы, сами по себе интересны.

Зато третья часть, как и первая, это в полном смысле «соссюриан» — 199 названий работ по истории языкознания, его отраслей и структурализма, в которых затрагивается теория Соссюра. Эта часть, как отмечает и сам составитель, представляет собой почти полную библиографию по истории лингвистики до 1970 г. (BS, 354), в чем ее несомненная ценность. Анализ истории науки свидетельствует о достижениях ею своей зрелости.

Еще одно замечание целесообразно сделать в связи с повторением одних и тех же работ в разных разделах под особыми номерами с полным библиографическим описанием, хотя можно было ограничиться отсылкой к номеру первого упоминания (например, 229 = 559; 230 = 441 = 561; и т. п.). Точно так же и переводы работ целесообразно было дать под одним номером (например, 674 и 676; 792 и 793; 806 и 807; 740 и 741). Отметим, что опечатки незначительны, кроме транскрипции кириллицы.

Мы указали на некоторые недочеты библиографий Кёрнера и высказали ряд соображений по поводу их состава и теоретических обоснований, но в основном наши замечания носят дискуссионный характер. Достоинство рецензируемых работ не вызывает сомнений, к ним еще долгое время будет обращаться все, интересующиеся как историей, так и теорией науки о языке¹¹.

Н. А. Слюсарева

¹¹ Когда данная рецензия была уже в наборе, мы познакомились с книгой Кёрнера, в которой детально изложены все его идеи, вкратце представленные в «Соссюриане» (см.: E. F. K. K o e n e r, Ferdinand de Saussure, Origin and development of his linguistic thought in Western studies of language, Braunschweig, 1973, 428 стр.).

А. Л. Грюнберг. Языки восточного Гиндукуша. Мунджанский язык (тексты, словарь, грамматический очерк). — Л., ЛО издательства «Наука», 1972. 474 стр., 4 л. фотографий, карта.

Рецензируемую книгу открывает подробная карта Мунджана, высокогорной области в Восточном Гиндукуше (Афганистан), в которую до А. Л. Грюнберга не ступала нога лингвиста. Фрагментарные и не всегда достоверные сведения о мунджанском (равно как и близком к нему языке йидга) записывались предшествующими исследователями у выходцев из Мунджана вне района распространения этого языка (работы Г. Моргенштерне, И. И. Зарубина, Р. Готье и других исследователей, краткий обзор которых есть в предисловии к рецензируемой работе, стр. 11—15).

Уже первые отрывочные известия о мунджанском показали, что этот язык, наряду с другими бесписьменными восточноиранскими языками памирско-гиндукушского этнолингвистического региона (шугнано-рушанская группа языков-диалектов, язгулямский, ваханский, ишкашимский), может дать весьма ценный материал для сравнительно-исторического иранского языковедения и для индоевропейстики в целом (работы Р. Б. Шоу, В. Томашека, Ван ден Гейна, В. Гейгера). Сохраненная мунджанским лексика поразительно близка авестийской даже по своему фонетическому облику: мундж. *xšāwa*, авест. *xšapa-* «ночь»; мундж. *xšīrā*, авест. *xšīra-* «молоко»; мундж. *γolv*, авест. *gadwa-* «собака». После открытия памятников бактрийского языка именно в мунджанском обнаружился его ближайший родственник, и имевшиеся скудные йидго-мунджанские материалы в известной степени способствовали дешифровке бактрийского письма (ср. бактр. *καλδο ... μαλο αχαδο*, мундж. *kāla māla āχdy*... «когда сюда пришел...»). Однако всесторонняя разработка авестийско-мунджанских и бактрийско-мунджанских историко-диалектологических отношений была до сих пор невозможна по причине отсутствия обширных и достоверных мунджанских материалов, записанных фонетической транскрипцией (имевшиеся в наличии были записаны крайне приблизительной транскрипцией). С выходом книги А. Л. Грюнберга такие материалы поступили в распоряжение исследователей.

То, что мунджанский язык оставался до сих пор малоизученным, объясняется не отсутствием интереса к нему (наоборот, несовершенные мунджанские материалы привлекались лингвистами, может быть, чаще, чем они того заслуживали), а чрезвычайной труднодоступностью района распространения этого языка. Автору рецензируемой работы удалось успешно преодолеть многочисленные сложности, связанные с путешествием в географически малоисследованный и труднодоступ-

ный район, и это, разумеется, необходимо иметь в виду при оценке полученных им сведений.

Большую часть книги занимают тексты с переводом (стр. 18—265). Для бесписьменного языка, каким является мунджанский, тексты — это не исходный пункт, а завершение важного этапа исследования. Представление о сборе полевых материалов как о некоем пассивном процессе (сам термин «сбор» подразумевает процесс пассивной регистрации) — неверно. Аналогия между диалектологической работой и фиксацией бесписьменного языка также ограничена: в одном случае регистрируются отклонения от условного эталона, в другом — исследователь начинает фиксацию от нуля и имеет дело с потоком неизвестной речи, который требуется расчленить на языковые единицы. После записи и соответствующей обработки тексты в свою очередь становятся объектом самых разнообразных штудий: синхронных, типологических, сравнительно-исторических. Исходя из текстов, можно подвергать проверке выводы самого фиксатора относительно фонетической и морфологической структуры описываемого языка. Тексты, таким образом, имеют абсолютную ценность, поэтому место, отведенное им в рецензируемой книге, вполне заслужено, а грамматический очерк как менее существенная часть исследования, составление которой (по опубликованным текстам) доступно и другим лингвистам, помещен в конце работы.

Половину корпуса текстов составляют сказки. Сюжеты мунджанских сказок неоригинальны, они общи для многих народов памирско-гиндукушского региона. Наиболее ценную часть корпуса текстов составляют рассказы этнографического содержания. В иранистической работе такого типа привлечение большого количества этнографических рассказов, разнообразных по содержанию, осуществлено впервые. Эти рассказы охватывают практически все стороны жизни мунджанцев: занятия, обряды и праздники, религию, пищу, народную медицину. Вот заголовки некоторых рассказов: «Скотоводство в Мунджане», «Земледелие», «Строительство дома», «Рождение сына и обрезание», «Сватовство и свадьба», «Похороны». В части рассказов повествуется о жизни и обычаях соседних индоарийских племен Нуристана (прасунских кафиров, вайгальцев, калашей). Некоторые рассказы обладают определенными литературными достоинствами и увлекательным сюжетом: «Приезд ходжи», «Ссора из-за женщины», «На лазуритовом руднике», «Снежная лавина в Гандалукшоле». Чтобы записать и перевести такой, например, рассказ, как «Приезд

ходжи» (исмаилитского наставника), требуется не только хорошее знание языка и местных реалий, но и умение расположить к себе информатора, поскольку исмаилизм — одно из самых засекреченных сектантских верований ислама, и исмаилиты (каковыми являются и мунджанцы) предпочитают не распространяться о своих религиозных взглядах и обычаях.

Этнографические рассказы значительно расширяют сферу фиксируемой лексики (язык фольклора достаточно однообразен), к тому же они содержат исключительно ценные сведения по этнографии Мунджана и прилегающих районов, которые остаются пока малоисследованными в этом аспекте. Соединение данных языка и этнографии будет способствовать выяснению истории этого региона, поскольку данные письменных источников, особенно для более отдаленных периодов, крайне отрывочны.

Важно отметить, что А. Л. Грюнберг выступает в этом разделе своей работы не просто как поставщик материалов для историков и этнографов. Большинство публикуемых им текстов имеет подстрочные комментарии, в которых приводятся аналогии и разъяснения из существующей этнографической и исторической литературы по Западному Памиру и Восточному Гиндукушу.

Словарь мунджанского языка, содержащийся в работе (стр. 266—397), насчитывает около 2500 слов. Новых мунджанских слов зафиксировано А. Л. Грюнбергом не так уж и много (около 500, из них исконно мунджанских, очевидно, не многим более полутора сотен), однако основная заслуга автора состоит, во-первых, в том, что впервые мунджанские слова даются в фонологической транскрипции, а также в том, что установлены четкие говорные различия внутри мунджанского языка. Выяснение фонемного состава мунджанского будет способствовать созданию правильной картины исторического развития этого языка, что было ранее невозможно, особенно в области вокализма. При наличии же обширных связанных текстов, представляющих все мунджанские говоры, можно быть вполне уверенным в том, что основной пласт мунджанской лексики теперь надежно зафиксирован.

В словарь включены также мунджанские материалы из работ Г. Моргенштерне (1938), И. И. Зарубина (1927) и некоторые другие материалы (топонимы с крупномасштабных карт, лексика из работ этнографов) и, таким образом, можно считать, что словарь А. Л. Грюнберга включает в себя всю известную на сегодняшний день мунджанскую лексику. Ко многим мунджанским словам приводятся параллели из языка йидга (по материалам Г. Моргенштерне). Здесь можно, однако, отметить пропуски; так, нет параллелей

(имеющихся в работе Г. Моргенштерне) к таким мунджанским словам: *wiǰiǰa* «лягушка» (йидга *azizyo*), *wiškəno* «амбар для соломы» (*uščəno*), *wišk* «сухой» (*ušk*), *wišow* «звать» (*ušā-*), *wižār-* «смотреть» (*užer-*) и др.

Из известных ныне 2500 мунджанских основ около 900 могут быть отнесены к исконному фонду или же к ранним заимствованиям, по крайней мере именно такое количество основ может потребовать специальных этимологических разъяснений. Остальную массу составляют заимствования из персидского. (Из «персидских» говорю северного Афганистана. В рецензируемой работе автор в предисловии обещает именовать эти говоры «персидскими», однако в процессе последующего изложения иногда именует их и «таджикскими».) Из указанных 900 основ — более 400 имеют хорошие иранские этимологии, около 100 могут быть отнесены к ранним заимствованиям (преимущественно из персидского или индоарийских языков), а остальные остаются пока неразъясненными или же предложенные этимологии малоубедительны.

Среди исконно мунджанских слов, впервые зафиксированных А. Л. Грюнбергом, некоторые представляются чрезвычайно важными в плане сравнительно-исторического изучения иранских языков. К таким словам принадлежит в первую очередь предлог направления *kə*, который может быть сближен со славянским *kъ(н)* (русск. *к, ко*). Среди иранских языков родственный предлог засвидетельствован еще в согдийском (согд. (?) *kw*, ср. авест. *qam*). Важная ирано-славянская изоглосса получила теперь еще одно подтверждение.

Вот еще несколько этимологий новых мунджанских слов:

fəyū «молозиво». **fiyūša*, др.-инд. *piyūṣa-*, вах. *piyī* «молозиво».

frōta «основа (ткацк.)», **fra-vrta-*, ср. ягн. *wert-* «натягивать основу», \sqrt{vart} . *mal-* : *mist-* «подниматься (о тесте)».

**mad-*. В большинстве иранских языков этот корень получает значение «скисать (о молоке)»: вах. *mod-* «скисать», ягн. *nimodīn* «заквашенное молоко» и др. *nəm-* : *nəmd-* «нагибаться». **nam-*, авест. *nam-* id.

pārižna «рама окна в крыше». **pari-raučana-*, ср. **raučana* > тадж. *rawzān*, вах. *ricn*, язг. *rəfōn* «окно в крыше для выхода дыма и освещения».

pilǰiya «ветры». **pard-*.

san- : *sanoy-* «подниматься». **san-*, согд. *sn-*, хотанск. *san-*, парф. *sn-*, ишк., вах., ягн. *san-* «подниматься».

šilǰeya «яловая». **starīn(i)-*, ср. др.-инд. *starī-*, пугн. *sitiṛ*, вах. *strin* «яловая, нестельная».

tən- : *təd-* «натягивать основу». **tan-*, авест. *tan-* «тянуть» и проч.

wurān «мельничное колесо (турбина)». **varḡana-*, $\sqrt{\text{var}}$, ср. тадж. *navārd* «вращающийся вал», пушг. *warḡān* «мельничный вал».

ēin : *ēinoi* «строить стену». **ēin(v)-*. Предлагаемая этимология позволяет проследить семантическое развитие двух древнеиранских корней *ēin(v)* «собирать» (так в большинстве иранских: тадж. *ēin-* и др.) и *daiz* «строить» (авест. *daēz-* «строить», согд. *duz*, тадж. *diz*, *dez* «крепость; стена»), но ср. мундж. *diz* : *dizd-* «собирать, сгребать».

По количеству слов исконной лексики с хорошими иранскими этимологиями мунджанский определенно претендует на одно из первых мест среди других восточноиранских языков памирско-гиндукушского региона (во всяком случае, опережает ишканимский и ваханский).

К числу недостатков словаря; следуют отнести, во-первых, пропуски. Ряд слов, засвидетельствованных в текстах (преимущественно, правда, заимствования из персидского и географические названия), в словарь не включен. К числу существенных пропусков относятся *nāwāy* «черный», *nāmež* «молитва, намаз». Кроме того, «по соображениям экономии места» (стр. 268) в отдельные статьи не вынесены варианты слов, встречающиеся в текстах. С одной стороны, хорошо, что тексты не нормализованы, как нередко бывало до сих пор в иранистических работах, но, с другой стороны, отсутствие статей на варианты затрудняет чтение текстов.

Заемствования из персидского даются в словаре с пометой «перс.», что является возрождением принципа, применявшегося И. И. Зарубиным в его первых работах по восточноиранским языкам этого региона (его помета: «заимств.»), преданного впоследствии забвению нашими иранистами. Действительно, не всегда бывает легко отделить заимствованную лексику от исконной, тем более, что заимствуется лексика родственного языка, поэтому осторожнее, как это и делает А. Л. Грюнберг (стр. 268), говорить об одинаковой употребительности некоторых слов как в персидском (таджикском) местном говоре, так и в соответствующем восточноиранском языке. В рецензируемом словаре помета «перс.» не всегда употреблена уместно. Неясно, например, почему получили эту помету такие слова, как *owd* «озеро», *pīsten* «вымя». С другой стороны, не имеют пометы «перс.» такие общепотребительные во всех персидских (таджикских) говорах Бадахшана слова: *bānā* «семья, клан», *yūr* «незрелый», *kurūt* «вид сыра», *kuṭāx* «вид творога», *kuṭal* «под уздцы», *pārčowga* «запор мельничного желоба», *rakobi* «маленькая миска», *šak* «иной», *šāl* «сухорукий, хромой», *šalxā* «щавель», *tāmūs* «жаркое время года»,

tārāy «гнедой» и многие другие¹. Недостатком объясняется двукратное повторение статьи на основы *wuzn-*, *wəzn-* «мыть, стирать».

Работу завершает краткий грамматический очерк мунджанского языка (стр. 398—471). Очерк отличается четкостью и лаконичностью, но вместе с тем он достаточно полон и, несмотря на свой лаконизм, может представить интерес и с методической стороны. Так, впервые в иранистике система мунджанского вокализма трактуется как гетерогенная, состоящая из двух подсистем: собственно мунджанского вокализма и вокализма заимствованных слов. Традиционная схема вокализма в восточноиранских языках этого региона, в которой как элементы одной системы рассматривались все звучания гласных в зарегистрированных словах (более того, заимствования как таковые даже особо не оговаривались), на самом деле, видимо, не отражает действительного положения. В условиях двуязычия к вокализму, как к сфере фонетики, наиболее неустойчивой и подверженной взаимопроникновению, следует подходить иначе. В очерке А. Л. Грюнберга, по необходимости, нашли отражение лишь некоторые наметки нового похода к вокализму восточноиранских языков этого района, однако сама идея представляется не только верной, но и исключительно плодотворной.

Следует отметить, что простота грамматического строя восточноиранских языков памирско-гиндукушского региона чисто кажущаяся. В действительности, довольно трудно разобраться в сложных рядах омонимических местоимений, образующих слитные формы с многочисленными предлогами, в различии спряжений переходных и непереходных глаголов, в типах причастий. А. Л. Грюнбергу удалось начертать четкую и ясную схему мунджанской грамматики, которая может явиться надежной основой для дальнейших более углубленных разысканий. По имевшимся ранее материалам составить даже такой краткий очерк грамматики мунджанского языка было бы невозможно.

В грамматическом очерке обращает на себя внимание большое число таблиц, особенно в разделе, посвященном глаголу (10 таблиц). Система образования глагольных форм в мунджанском довольно сложна, но, благодаря таблицам,

¹ В приложении к вышедшей позднее книге В. С. Соколовой «Генетические отношения мунджанского языка и пушна-но-язгулянской группы» (Л., 1973, стр. 244—246) А. Л. Грюнберг приводит дополнения и исправления к рецензируемой работе, в частности, списки слов с пропущенными пометами «перс.», отсутствующие параллели из йида, уточненные написания отдельных слов.

содержащим классификацию всех зафиксированных простых глаголов, эта часть мунджанской морфологии освещается достаточно понятно (§§ 105—110, стр. 434—444). Вместе с тем можно заметить, что раздел о морфологии перфектных форм, пожалуй, чрезмерно лаконичен (§§ 100—104, стр. 433—434). В этом разделе в табл. 15 не указаны возможные типы конструкций перфекта с неоформленным прямым дополнением в 1 и 2-м лице. В § 103, предворяющем табл. 16, очевидно, опечатка — следует читать: непереходного глагола. Эта опечатка тем более досадна, поскольку примеры, приводимые и в табл. 15 и в табл. 16, даются без перевода.

Большим достижением является выделение в мунджанском четких говорных различий. Выделяемые автором три говора именуются, правда, не всегда единообразно. Так, в очерке они называются: нижний, центральный и верхний, а на прилагаемой карте обозначены соответственно как северный, центральный и южный.

В целом можно утверждать, что книга А. Л. Грюнберга полноценно и достоверно

представляет мунджанский язык, к которому теперь уже нельзя прибавлять эпитет «малойсследованный».

Судя по заголовку, автор намеревается посвятить описанию языков Восточного Гиндукуша целую серию, которая по представленным в ней материалам и качеству их интерпретации (как видно по рецензируемой книге) обещает превзойти хорошо известную серию Г. Моргенштерне «Indo-Iranian Frontier Languages» (Oslo, 1929—1956).

В этой связи можно еще раз напомнить, что вряд ли у лингвистов есть в настоящее время более неотложная задача, чем фиксация исчезающих языков и диалектов. В условиях нарастающего двуязычия процесс отмирания исконной лексики, обеднения морфологии и уподобления фонетических и синтаксических структур происходит стремительно и неотвратимо. Так, А. Л. Грюнберг уже не застал в мунджанском некоторых слов, которые фиксировались его предшественниками несколько десятилетий тому назад.

И. М. Стеблин-Каменский

3. Ю. Кумахова. Развитие адыгских литературных языков. — М., «Наука», 1972. 280 стр.

История развития и становления литературных языков народов СССР и зарубежных стран разрабатывается достаточно широко, и тем не менее до сих пор в лингвистической литературе не получили однозначного решения многие проблемы, касающиеся литературных языков. Более того, само понятие литературного языка продолжает оставаться недостаточно четким. Нередко наблюдается отождествление понятий «литературный язык» и «письменный язык». Указывая, что, с одной стороны, это приводит к расширительному толкованию понятия «литературный язык» (поскольку под этим термином иногда понимается любой графически запечатленный текст речи), а с другой, рамки литературного языка сужаются (ограничиваются только письменной формой существования языка), автор рецензируемой монографии придерживается мнения, что литературный язык функционирует в двух разновидностях — устной и письменной.

Изучение вопросов развития и становления адыгских литературных языков фактически началось с момента создания письменности на этих языках. Тем не менее, многие из этих вопросов оставались не освещенными в адыгском языкознании. В монографии З. Ю. Кумаховой на широком фактическом материале рассматриваются фонетические, морфологические, синтаксические и лексические явления адыгских литературных языков в их развитии и становлении. Значитель-

ное место отводится вопросам нормы, социальной дифференциации адыгских языков, соотношения различных форм их существования («Введение», стр. 5—11, гл. I «Создание письменности», стр. 12—28). Автор уделяет особое внимание проблеме вариантности на разных уровнях языковой структуры, подробно исследует иноязычный вклад в адыгских языках, рассматривает принципы разработки алфавитов, орфографии и терминологии, выявляет их достоинства и недостатки (гл. II «Вопросы алфавитов, орфографии и терминологии», стр. 29—54).

В гл. III «Фонетика» (стр. 55—101) З. Ю. Кумахова отмечает, что многие вопросы фонетики адыгских литературных языков до сих пор не получили однозначного решения. К ним относится, например, вопрос о количестве фонем в этих языках. На основе анализа исконной адыгской лексики здесь выделяется 54 согласных фонемы в адыгском литературном языке и 47 согласных фонем в кабардино-черкесском литературном языке. На характеристике консонантизма следовало бы остановиться более подробно, но ограничиваясь ссылкой на ранее опубликованную статью¹.

¹ З. Ю. Кумахова, К фонологической интерпретации консонантизма в адыгских языках, сб. «Вопросы исторической фонетики и фонологии горских иберийско-кавказских языков. Тезисы докладов», Тбилиси, 1967.

Остается спорным вопрос о ларингальном / в кабардинском языке. Автор рассматривает ларингальный / как самостоятельную консонантную фонему в адыгских языках. Однако в кабардинском этот согласный встречается только в позиции перед гласными (*Ja, Ia, Iy, Ie, Iu, Iy*). Поэтому самостоятельность этого согласного можно поставить под сомнение: очевидно, здесь представлено такое же явление, которое известно в немецком языке под названием «сильного приступа»².

В отношении вокализма принимается точка зрения, согласно которой в адыгских языках имеется всего три простых гласных фонемы: краткая *y*, средняя *e* и долгая *a* (как известно, число гласных фонем адыгских литературных языков, по определению различных исследователей, колеблется от восьми до нуля).

Касаясь все еще нерешенного вопроса о заимствованных фонемах, представленных в объемистом лексическом слое заимствований из русского или через русский язык, З. Ю. Кумахова полагает, что речь должна идти о степени адаптации иноязычных фонологических подсистем. Разграничиваются два этапа адаптации иноязычных фонем. На первом этапе такие фонемы в составе заимствования употребляются в определенных стилях речи. На втором этапе фонема проникает в фонологическую систему языка. В адыгских литературных языках следует говорить о существовании различных фонологических подсистем в пределах всей лексики (исконной и заимствованной). Адаптация иноязычной фонемы происходит в определенных условиях. Так, при наличии изолированных фонем могут образоваться бинарные оппозиции путем заполнения пустых клеток. Примером может служить оппозиция *e : ѓ* в адыгейском литературном языке, которая реализуется в пределах поздней заимствованной лексики. Путем заполнения пустой клетки образовалась и пара *k : zь* в адыгских языках, причем звонкий ларингал усвоен из арабских заимствований. В книге освещаются другие пути усвоения иноязычной фонемы, а также закономерности фонетической адаптации заимствованной лексики и вопросы орфоэпии.

В гл. IV «Морфология» (стр. 102—144) рассматриваются морфологические изменения в адыгских литературных языках, происходящие под действием внутренних и внешних факторов, причем последние нередко переплетаются между собой. В развитии морфологической системы адыгских литературных языков обнаруживаются разнонаправленные тенденции. С од-

ной стороны, в морфологии наблюдается усиление элементов синтетизма: таково, например, слияние указательного местоимения *a* «этот» с глагольной формой. С другой стороны, наблюдается усиление элементов аналитизма, распространяющегося в основном на парадигматику заимствованных слов. Для кабардино-черкесского, как и для других адыгских языков, характерна, например, нейтрализация противопоставления им. и эргат. падежей для многих групп иноязычной лексики. Это явление, как и отсутствие противопоставления им. и эргат. падежей во многих топонимических названиях, З. Ю. Кумахова относит к инновациям.

Считая, в частности, подобное различие падежей во многих фамилиях иноязычного происхождения (например: *Пушкин итхац* вместо *Пушкиным итхац* «Пушкин написал») новообразованием, автор не учитывает, однако, возможность и другого объяснения этого явления. Дело в том, что исконные имена и фамилии в адыгских языках обладают разными словоизменительными парадигмами: имена не различают им. и эргат. падежей, в то время как в адыгских фамилиях эти падежи последовательно противопоставляются друг другу. В случаях типа *Пушкин итхац* «Пушкин написал» не исключена возможность действия грамматической аналогии; если принять это предположение, то здесь происходит парадигматическое выравнивание под давлением системы словоизменения собственно адыгских личных имен (носитель языка может воспринимать *Пушкин* как имя; к этому следует добавить, что в адыгских языках фамилии типа *Чапеев, Буденный* нередко используются как личные имена).

Существенной чертой адыгских литературных языков в рецензируемой книге признается вариантность морфологических форм, вопрос о которой до сих пор не ставился в адыгском языкознании. Между тем варианты формы многообразны по своему происхождению (в монографии они показаны на большом фактическом материале) и играют важную роль в развитии адыгских литературных языков.

В гл. V «Синтаксис» (стр. 145—175) освещаются явления, обусловленные как внутрисистемными факторами, так и образованием по иноязычным синтаксическим моделям. Синтаксис письменной разновидности адыгских литературных языков испытывает влияние русского языка. С этим влиянием связано, например, формирование некоторых типов сложных предложений с новыми подчинительными союзами в адыгских языках. Точно так же влиянием иноязычных (русских) синтаксических моделей объясняется активизация различных типов сложносочиненных предложений с сочинительными союзами, широкое распростра-

² См. об этом: А. Х. Шарданов, Фонетические заметки, «Уч. зап. [Кабардино-Балкарск. гос. ун-та]», 7, Нальчик, 1960.

нение конструкций с вводными словами, предложений с группой однородных членов. То же самое объяснение дается в рецензируемой книге и некоторым типам сложноподчиненного предложения, как и способам построения прямой и косвенной речи в адыгских литературных языках. В результате взаимодействия разноструктурных языков происходит развитие и некоторых существующих в языке конструкций. Важное место среди синтаксических инноваций, исследуемых З. Ю. Кумаховой, занимает инверсия. В разделе о синтаксических вариантах особое внимание уделяется новым формам согласования.

В гл. VI «Лексика» (стр. 176—266) подробно рассматриваются изменения в лексическом составе адыгских литературных языков с учетом того, что в разные периоды развития лексики этих языков действовали различные тенденции и по-разному решались вопросы соотношения исконной и заимствованной лексики, проблемы образования новых слов, калькирования и т. д. В рецензируемой книге показана неравномерность развития отдельных лексических групп, роль старых заимствований, освещена судьба неологизмов 20—30-х годов, переосмысле-

ние исконных и заимствованных слов, динамика собственных имен и т. д.

В целом З. Ю. Кумаховой исследуется большой круг ранее неразработанных проблем развития адыгских литературных языков, критически и объективно оцениваются существующие взгляды и мнения по многим вопросам³ и почти во всех случаях предлагается свое решение. Ряд проблем, рассматриваемых в рецензируемой книге, в том числе степень проницаемости разных уровней языка, условия образования новых фонологических оппозиций, разнонаправленность тенденций развития морфологической системы, возникновение синтаксических конструкций под влиянием иной языковой среды и др., имеет общелингвистическое значение. Все это позволяет считать исследование З. Ю. Кумаховой новым шагом вперед в изучении адыгских литературных языков.

А. Х. Шарданов

³ Обширен список привлеченной литературы, см. стр. 267—275 (стр. 276—278—сокращения названий тех изданий на адыгском языке которые были использованы в качестве материала для исследования).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

12 и 13 января 1973 г. в Париже проходил коллоквиум «О структуре французской орфографии». Организованный Национальным центром научных исследований, он был оформлен как заседание круглого стола, на котором собрались не только французские ученые, но и представители Бельгии, Канады, Италии и Советского Союза. Председателем была Н. Каташ, автор многих работ по французской орфографии, возглавляющая в Центре научных исследований сектор, в котором занимаются изучением графической формы языкового знака.

На двух первых заседаниях были рассмотрены проблемы графической системы французского языка: соотношение графической и акустической форм знака, отличительные признаки графем. Затем собравшиеся перешли к вопросам прикладного характера, связанным с преподаванием и реформой орфографии, обсуждению которых были отведены два других заседания.

Открывая коллоквиум, директор Центра научных исследований Б. Потье в своем выступлении остановился на лингвистическом аспекте проблемы, — он говорил о месте орфографии в системе графической репрезентации языковых единиц, о понятии графемы и ее соотношении с фонемой и морфемой. Докладчик отметил необходимость рассмотреть термин «просодема» и начать поиски его графических эквивалентов.

Н. Каташ предложила конкретные темы обсуждения: 1) к какому типу следует отнести французскую орфографию — считать ее фиксацией мысли (семов) или звуков? 2) как определить минимальную единицу этой системы?

С докладом, озаглавленным «Можно ли говорить о графической системе французского языка?», выступил сотрудник Центра научных исследований А. Порке. Автор считает, что такая система существует и что ее следует охарактеризовать как буквенно-звуковую и морфо-семантическую одновременно. Отношения между фонемами и графемами в языке не однозначны: одной фонеме соответствует несколько графем и, наоборот, соотношение: «одна графема — одна фонема» встречается наряду с соотношением «одна графема — несколько фонем».

Ж. М. Клинкеберг, профессор Университета в Льеже (Бельгия), автор статьи «Является ли системой французская орфография?», которая не так давно вызвала много споров, резюмировал существующие в современной науке определения орфографии: звуковая и морфосемантическая (Порке, Каташ), связанная со звуком и связанная со смыслом (Эмбс), звуковое письмо с элементами идеографии (Шервель и Бланш — Бенвенист), звукографические константы и аналогичные серии (Тимоше). Эти определения убеждают, что речь идет о явлении, включающем элементы нескольких кодов и столь неоднородном, что термин «система» может быть применен к нему с большими оговорками.

Н. Каташ, напротив, подчеркнула, что орфографию можно считать системой. В основе связей эта система фонологична, так как служит для передачи звучащей речи: 75—80% графических знаков входят в группу акустико-графических соответствий (отношение: фонема — графема); однако графические символы не являются простой фиксацией звучащей речи, они сообщают дополнительную информацию. Существует пять видов отношений между графемами и фонемами: 1) фонологические, 2) морфологические или, точнее, морфосемантические, 3) смысловоразличительные, 4) этимологические, 5) исторические. 4 и 5 виды имеют отношение только к диахронии, 3 вид не является постоянно действующим, в то время как первые два являются для системы определяющими. Вот почему автор предлагает определить систему французского языка как фономорфологическую.

На втором заседании обсуждались вопросы об определении графемы и об отношении орфографии к другим подсистемам языка.

Доклад «Звукбуквенный алфавит французского языка» прочел Р. Тимоше. При обсуждении доклада Е. Юнг, преподаватель Лицея в Буксвилле (Эльзас), охарактеризовал основные тенденции в фонологической системе современного языка. Ж.-М. Клинкеберг отметил, что описание соотношений между фонемами и графемами, предложенное Р. Тимоше, убеждает, что обе системы асимметричны, ибо для каждого звука существует до 15 графических вариантов.

С докладом «Акустико-графические отношения в морфологической системе современного французского языка» выступил Г. Сегуэн, профессор Университета в Оттаве (Канада). Изложение касалось вопросов, связанных с морфологией рода прилагательных и спряжения глаголов.

О другом компоненте графической системы говорила Л. Г. Веденина (Москва) в докладе «Французская пунктуация и ее отношение к другим подсистемам языка». Положение о том, что в современном языке пунктуация, коррелируя с синтаксисом, является не частью орфографии, а самостоятельным разделом графической системы, вызвало оживленную дискуссию. Выступавшие (М. Коэн, Н. Каташ, Е. Деко, Э. Юнг, Д. Бонфанте) отметили, что во французской лингвистике сложилась традиция считать пунктуацию явлением факультативным, передающим лишь стилистические оттенки речи. Историки языка, однако, знают, что разделение фактов языка на грамматические и стилистические весьма относительно: известно, например, что перед тем как стать грамматической, орфография долгое время была стилистической. В настоящий момент грамматическая роль пунктуации не вызывает сомнения, и это должно найти свое отражение в грамматиках и учебниках.

Доклад Е. Юнга «Порождающая орфография и программирование» содержал описание машины для перевода речи звучащей в речь письменную.

В докладе Н. Каташ «Графемы и архиграфемы современного французского языка» было предложено определение графемы. Графическую систему языка можно описать с помощью наиболее устойчивых ее элементов. Таковыми являются архиграфемы, они составляют основной фонд графической системы языка.

На третьем заседании рассматривались вопросы, связанные с преподаванием орфографии. С докладом «Учебный фонологический алфавит для школ» выступил заведующий кафедрой общего языковедения Парижского университета А. Мартине. Он предложил систему графических знаков для записи звучащей речи.

В докладе «Обучение алфавиту и визуально-акустические соотношения» Н. Каташ предложила свою классификацию графических символов французского алфавита. Классификация построена в направлении от письма к речи, исходит из архиграфем и учитывает дистрибуцию графем. Она более экономична по сравнению с фонологической. Классификация предназначена для учителей, которые будут перестраивать обучение в соответствии с требованиями времени и данными лингвистической теории.

При обсуждении столкнулись два мнения: одни считали такой алфавит более привычным, отвечающим разным типам произношения и поэтому более рациональным (Л. Паск, Ж. Бонфанте, Е. Деко), другие (А. Мартине) отдавали предпочтение алфавиту фонологическому, полагая графическую форму условностью, которую язык принимает или отклоняет на определенных этапах развития.

На последнем заседании коллоквиума обсуждался вопрос о реформе орфографии. Был прослушан доклад А. Покре «Основные предложения по реформированию орфографии», который обобщил дискуссию, уже пять десятилетий не прекращающуюся во Франции. А. Покре охарактеризовал три основные точки зрения по этому вопросу: 1) фонетическая (или фонологическая) — наиболее революционная — стремится максимально упростить отношения между звуком и графическим знаком и считает излишней морфологическую функцию письма; 2) другое течение — диаметрально противоположное фонетистам и наиболее консервативное — предлагает сохранить неизменной современную орфографию, «приведя в систему» некоторые частные случаи, и видит решение всех противоречий в улучшении методов преподавания; 3) третья группа придерживается более умеренных взглядов, считая возможным частично упростить отношения между акустическими и графическими знаками, а также в какой-то степени систематизировать отношения внутри графической системы. Сторонники этой точки зрения предлагают проводить реформу постепенно, в несколько этапов.

Во время дискуссии было отмечено, что реформу желательно проводить в следующем порядке: на начальном этапе упростить отношения между графической и звуковой формами (Н. Каташ), а затем после тщательных исследований перейти к реформированию так называемой орфографии морфологической (Е. Юнг), которая, по мнению педагогов, в отличие от традиционной орфографии не является трудной (у школьников 75% орфографических ошибок, в то время как грамматических ошибок 33% — 20%, по данным Ф. Терса).

Н. Каташ вынесла на обсуждение следующие предложения по реформированию орфографии: 1) реформа должна протекать в границах определенной языковой сферы; 2) она должна быть направлена вглубь и касаться всех категорий рассматриваемого класса; 3) она должна основываться на всестороннем изучении графической системы; 4) описание графической системы языка должно быть коллективным, в этой работе должны участвовать люди разных профессий, в том числе педагоги и работники типографий и издательств; 5) наметки общий план проведения реформы и конкретные

его этапы, следует следить за неукоснительным выполнением этого порядка; 6) желательны начать реформу с преобразований, по поводу которых нет существенных разногласий; 7) не вводить новых типографских знаков; 8) во всех преобразованиях стремиться не усложнять, а максимально упрощать систему; 9) частичными преобразованиями не нарушать общей схемы; 10) обращать внимание на крупные серии и большие группы в противоположность мелким преобразованиям, которыми занималась Академия; 11) в интересах сохранения поэтической традиции стараться не изменять количества слогов в слове; 12) максимально сократить варианты для различения омонимов, учитывая смыслообразительную роль контекста; 13) сократить количество вариантов (правила употребления дефиса, вспомогательных символов; правила написания прилагательных, обозначающих цвет; имена собственных и т. д.).

Г. Сегуэн предложил дополнить эту программу пунктом о необходимости учитывать интересы и особенности франкоговорящих стран. Эти 14 предложений были поставлены на голосование и одобрены присутствующими.

В речи на закрытии коллоквиума Н. Катарш подвела итоги: в процессе работы удалось найти определение графической системы языка и выявить отличительные признаки графем; собравшиеся пришли к общему мнению о необходимости изменить преподавание орфографии в школе и к выводу о современности реформы, наметив пути ее проведения.

Л. Г. Веденина (Москва)

*

14—16 июня 1973 г. в Томском гос. пед. ин-те им. Ленинского комсомола состоялась III Всесоюзная научная конференция «Происхождение аборигенов Сибири и их языков», посвященная памяти лауреата Государственной премии СССР проф. А. П. Дульзона, который положил начало комплексному изучению обсуждавшейся на конференции проблемы.

На пленарных заседаниях были обсуждены доклады К. Ф. Гриценко и О. А. Осиповой (Томск) «А. П. Дульзон — исследователь истории аборигенов Сибири и их языков», В. А. Зибарева (Томск) — «Народы Северной Сибири к 50-летию СССР», Г. И. Пелых (Томск) «Ретроспективные возможности этнографии», В. И. Матющенко (Томск) «Итоги и задачи исследования бронзового века Западной Сибири», Н. М. Терещенко (Ленинград) «Обоснование исконного родства языков са-

модийской группы», Г. А. Меновщикова (Ленинград) «Эскимосско-алеутская языковая общность и ее отношение к другим языкам»¹, А. Н. Дьячкова (Якутск) «Современное представление об этногенезе якутов», Вяч. Вс. Иванов (Москва) «Типологическое и генетическое истолкование сходств между кетским и американскими индейскими мифами о разорителе орлиных гнезд», М. Н. Вали Г. К. Вернера (Таганрог) «Об истоках падежной системы в енисейских языках».

В докладе К. Ф. Гриценко и О. А. Осиповой внимание уделялось, в первую очередь, методике исследовательской работы А. П. Дульзона, а также заслугам ученого в решении лингвистического аспекта проблемы происхождения аборигенов Сибири и их языков (кетский, хантыйский, мансийский, шорский, нганасанский, эвенкийский, чулымско-тюркский, нижнетомско-тюркский, селькупский). Особо подчеркивалось, что А. П. Дульзон исследовал различные аспекты кетского языка, сыгравшего, как теперь известно, большую роль в этногенезе народов Сибири.

В докладе Н. М. Терещенко отмечалось, что объективные трудности в обосновании родства самодийских языков обуславливаются не только отсутствием древних письменных памятников (первоначальные отрывочные записи восходят не далее XVII в.), но и недостаточностью публикаций текстовых записей и других материалов по всем самодийским языкам и прежде всего — нганасанскому и энецкому языкам, нарымскому наречию селькупского языка. В связи с этим большую роль должно сыграть рационально поставленное исследование отдельных языков и их диалектов, производимое на основе полевых материалов, собранных в различных районах расселения самодийских народностей. Остановившись на структурно-типологической характеристике самодийских языков, в плане сравнительно-генетического исследования, Н. В. Терещенко приходит к выводу о большей близости между собой ненецкого, энецкого, нганасанского языков и известной отдаленности от них селькупского.

Вяч. Вс. Иванов установил, что кетский миф о разорителе орлиных гнезд, записанный в свое время А. П. Дульзоном, аналогичен мифу американских индейцев, определенному К. Леви-Строссом как центральный в мифологии американских индейцев как по своему построению, так и по составу описываемых событий. По мнению докладчика, целый ряд сходных черт может быть обоснован не только типологически, но и генетически, что имеет несомненное значение как для исследования происхождения

¹ См.: ВЯ, 1974, 1.

кетов, так и для выяснения древнейших связей народов Сибири.

В докладе М. Н. Валл и Г. К. Вернера высказано предположение о возникновении склонения существительных в енисейских языках на основе местоименного склонения с использованием противопоставления двух рядов личных местоимений — активного (при обозначении активного субъекта действия) и инактивного (при обозначении состояния субъекта).

Работа конференции проходила по следующим секциям: 1) лингвистика, 2) топонимика, 3) древняя история и этнография.

Наиболее представительной была секция лингвистики, на которой было прослушано и обсуждено 24 доклада.

Продолжая изучение слоговых тонов в енисейских языках, Г. К. Вернер в докладе «Отражение слоговых тонов в записях по енисейским языкам XVIII в.» рассмотрел проблему на основании взаимодействия между тонами и звуковой системой в современных кетских диалектах при несомненном условии такого взаимодействия также и в диалектах XVIII в.

В докладе А. И. Кузьминой (Новосибирск) «К вопросу о категории множественности в селькупском языке» категория мн. числа имени существительного селькупского языка исследовалась в свете общей теории множества в языке и в плане сопоставительного изучения языков.

Детальному рассмотрению особенностей образования мн. числа существительных двух родственных языков — кетского и котского — был посвящен доклад Т. И. Портовой (Томск) «Кетско-котские параллели в области числа существительных».

Доклад В. М. Наделеева (Новосибирск) «Фарингализация гласных» был посвящен вопросу о фонологической значимости фарингализации гласных в различных языках Сибири.

А. Кюннап (Тарту) в докладе «О соотношении словоизменения и словообразования в самодийских языках» (на материале селькупского языка) попытался объяснить отсутствие в самодийских языках общих для них формантов наклонений и времен тем, что система наклонений и времен в этих языках — явление сравнительно позднее.

В докладе Э. Г. Беккер (Томск) «Функциональная направленность родительного падежа в селькупском языке» этот падеж характеризовался как один из древнейших и универсальных падежей в селькупской системе склонения, о чем свидетельствует, как сфера употребления, так и многообразие (порой — архаичность) функционального содержания имени в род. падеже. Словоформа

род. падежа, долгое время оставаясь морфологически недифференцированной в отношении относительного и притяжательного признаков определения, и в настоящее время продолжает иногда совмещать в себе оба этих признака в связи с тем, что процесс морфологического разграничения категорий относительности и притяжательности, которое претерпел селькупский язык, не завершился.

На секции топонимики особый интерес вызвали доклады И. А. Воробьева (Томск) «Русская адаптация субстратных топонимов Западной Сибири», К. Ф. Гриценко (Томск) «Иноязычные топонимы на территории Якутии», А. А. Бонюхова (Новокузнецк) «Дифференциальные признаки шорских топонимов», С. Н. Муратова (Ленинград) «К этимологии слова „Сибирь“».

И. А. Воробьева считает, что надежность этимологизирования топонимов аборигенных народов Сибири зависит, прежде всего, от степени изученности вопросов русской адаптации иноязычных географических имен; при этом важно учитывать, какими способами заимствованные топонимы включаются в грамматическую систему русского языка.

В докладе К. Ф. Гриценко сделана попытка этимологизировать иноязычные топонимы Якутии на основе материалов современных тунгусских, чукотского, якугирского и русского языков.

При анализе шорских топонимов А. А. Бонюхов учитывает совокупность их дифференциальных признаков — структурных, семантических и фонетических.

В докладе С. Н. Муратова название Сибирь связывалось с др.-тюрк. *сибир* /*сигур*/ *сийир* «земля, территория, местность, охотничье угодье», которое сохранилось в современном якутском слове *сибиир* «земля».

На заседании секции древней истории и этнографии было прослушано 11 докладов. Наибольший интерес вызвали доклады Д. Г. Савинова (Томск) «К этнической принадлежности сrostкинской культуры», М. И. Боргоякова (Абакан) «О кайдынцах и их языке», Н. Б. Киле (Владивосток) «Антропонимия у нанайцев», Н. А. Томилова (Томск) «О некоторых этногенетических и историко-культурных связях барабинских татар (по данным материальной культуры)».

На заключительном пленарном заседании был заслушан доклад О. А. Осиповой (Томск) «История проведения экспедиции к малым народам Севера под руководством профессора А. П. Дудьлзона».

Т. И. Портова, Э. Г. Беккер (Томск)

CONTENTS

Towards the 250-th anniversary of the Academy of Sciences of the USSR: F. P. Filin (Moscow). On the origins of the Russian literary language; F. M. Berezin (Moscow). Theoretical linguistics in the Russian Academy of Sciences; V. I. Kodukhov (Leningrad). The development of linguistic theory in the Academy of Sciences of the USSR; A. N. Kononov (Leningrad). Turkic linguistics in the Academy of Sciences; S. P. Mordvinova, G. Y. Romanova (Moscow). On the sources of the Russian word-stock of the XI—XVII centuries; Discussions: V. V. Lopatin, I. S. Ulukhanov (Moscow). Some controversial problems of Russian derivative morphonology; I. A. Perelmutter (Leningrad). On the opposition «transitivity-intransitivity» in the Indo-European verb system; Materials and notes: G. H. Ibragimov (Makhačkala). On the polyinflectional character of the noun-plural in Eastern Caucasian languages; I. G. Melikišvili (Tbilisi). The study of hierarchic relations of phonological units; P. Gardé (Aix). On the history of East-Slavonic mid-open vowels; **Reviews.**

SOMMAIRE

A l'occasion de 250-me anniversaire de l'Académie des Sciences de l'URSS: F. P. Filin (Moscou). Sur les sources de la langue littéraire russe; F. M. Berezin (Moscou). Linguistique théorique à l'Académie des Sciences de Russie; V. I. Kodukhov (Léningrad). Le développement de la théorie linguistique à l'Académie des Sciences de l'URSS; A. N. Kononov (Léningrad). Linguistique turque à l'Académie des Sciences; S. P. Mordvinova, G. Y. Romanova (Moscou). Sur les sources du lexique de la langue russe des XI—XVII siècles; Discussions: V. V. Lopatin, I. S. Ulykhanov (Moscou). Quelques points de discussion de la morphologie dérivative russe; I. A. Perelmutter (Léningrad). Sur l'opposition «transitivité-intransitivité» du verbe indo-européen; Matériaux et notices: G. H. Ibragimov (Makhačkala). A propos du caractère polyflexionnel du pluriel des substantifs dans les langues caucasiennes; I. G. Melikišvili (Tbilisi). Étude des rapports des unités du niveau phonologique; P. Gardé (Aix). L'évolution des voyelles d'aperture moyenne en slave oriental; **Comptes-rendus.**

Технический редактор *Т. В. Ванкова*

Сдано в набор 28/II-1974 г. Т-06552 Подписано к печати 5/V-1974 г. Тираж 7475 экз.
Зак. 247 Формат бумаги 70×108^{1/4} Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5,0 Уч.-изд. л. 16,0

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10